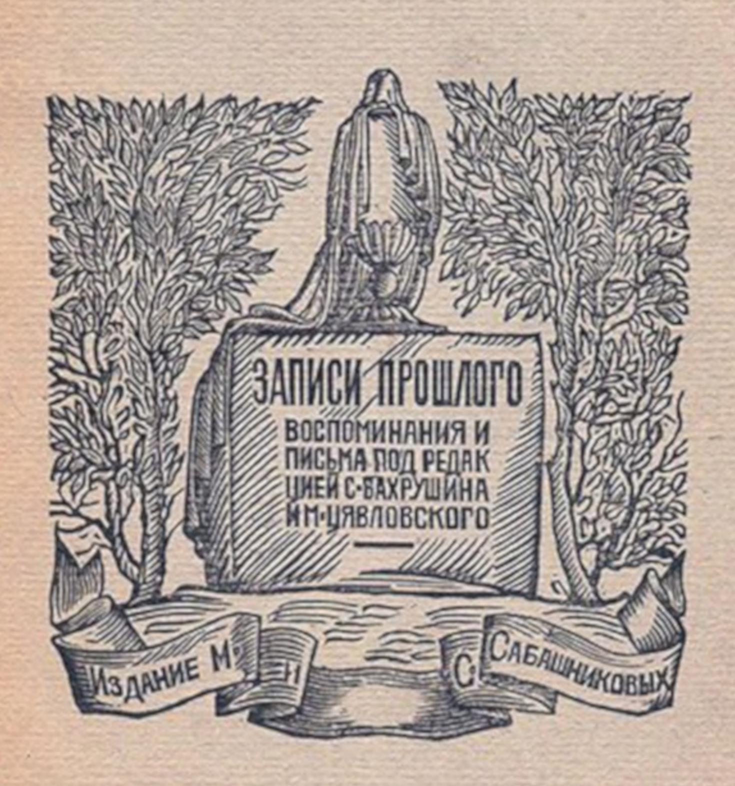
Е. А. МАСАЛЬСКАЯ

ПОВЕСТЬ О БРАТЕ МОЕМ А. А. ШАХМАТОВЕ

„ЛЕГЕНДАРНЫЙ МАЛЬЧИК“



ЗАПИСИ ПРОШЛОГО

ВОСПОМИНАНИЯ И ПИСЬМА

ПОД РЕДАКЦИЕИ

С. В. БАХРУШИНА и М. А. ЦЯВЛОВСКОГО

Е. А. МАСАЛЬСКАЯ

ПОВЕСТЬ О БРАТЕ МОЕМ А. А. ШАХМАТОВЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ „ЛЕГЕНДАРНЫЙ МАЛЬЧИК“

ПРЕДИСЛОВИЕ
М. А. ЦЯВЛОВСКОГО

ИЗДАНИЕ М. и С. САБАШНИКОВЫХ
1929

Мосполиграф—10-я типогр.
„Заря Коммунизма"
Чистые пруды, д. 8
Главлит № А 25625.
Зак. № 417. Тир. 4000 экз.

Обложка гравирована на дереве
А. Кравченко.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Герой „Повести о брате“—один из замечательнейших русских ученых Алексей Александрович Шахматов. В ореоле легенды вышел он в ряды ученых, когда в 1882 году восемнадцатилетним гимназистом выступил на диспуте А. И. Соболевского в Московском университете. Слух об этом необычном выступлении „легендарного мальчика“, как тогда его называли, распространился не только среди московских кругов, близких к университету, но и в Петербурге. Но это не было легендой, как не легенда и то, что двенадцати лет Алексей Александрович „занимался в Мюнхенской университетской библиотеке Страбоном и Помпонием Мелой для извлечения из них данных о древнейших обитателях России“, как писал он в своей автобиографии.

Необычны и дальнейшие этапы его ученой карьеры. В 1893 году Шахматов за диссертацию представленную на степень магистра получил сразу звание доктора, а в 1894 году, тридцати лет, избирается в Академию. Этими „знаками отличия“ справедливо отмечались исключительные научные заслуги Алексея Александровича.

Академик Н. К. Никольский в своей речи о Шахматове хорошо сказал: „Если бы в наше время продолжались старинные погодные записи, которыми с таким увлечением занимался А. А., то летописец без колебания и преувеличения был бы в праве отметить его кончину словами: „такового не бысть на Руси преже, и по нем не вем, будет ли таков“ (Никон. летопись, под 1089 годом)“.

Как ученый, Шахматов являл собою необычайно гармоническое сочетание изумительных по силе и глубине аналитических способностей с даром широчайших обобщений.

Тонкий, глубокий и разносторонний лингвист, обладавший огромными знаниями, он на основе их создавал смелые гипотезы, подкупающие прежде всего какой-то артистичностью, виртуозностью—в лучшем смысле слова—своего построения.

Автор трудов, которые создали эпоху, которыми гордится русская филология, А. А. Шахматов и как человек был явление необычайное.

О кристальной чистоте его нравственного облика свидетельствуют все знавшие покойного. И когда читаешь или слушаешь рассказы о нем, об его благородстве, о „голубиной нежности к людям“, об обаятельной искренности и поразительной простоте, это все звучит, как легенда, как одно из тех сказаний, гениальным исследователем которых он был.

Печатаемая „Повесть о брате“, принадлежащая перу ныне здравствующей Евгении Александровны Масальской, рожденной Шахматовой, сестры Алексея Александровича. Воспоминания распадаются на 3 части: „Легендарный мальчик“, „Аряш. Наташейка“ и „На пути к Академии“, которые составят три отдельных выпуска „Записей Прошлого“. Алфавитный указатель имен с примечаниями, составленными С. А. и Б. И. Коплан, будет приложен в конце 3-ей части.

Печатаемая „Повесть о брате“ начинает изложение событий с 1871 года. На основании непечатаемых глав, предшествующих первой главе настоящей книги, даем краткий пересказ их содержания.

Алексей Александрович Шахматов по отцу происходил из старинного рода саратовских дворян. Характеристику его предков XVII и XVIII веков читатель найдет в IV и V главах настоящей книги.

Мать Алексея Александровича (1838—1870) была из обрусевшего, не то немецкого, не то польского рода Козен. Отец ее, Федор Андреевич Козен (ум. 1840 г.), служивший в Егерь-

ском полку и раненый в 1812 году под Бородиным, впоследствии был директором Инженерного училища. Женат он был на эстляндской дворянке Евгении Федоровне Бистром (ум. 1858 г.) Дочь их Марья Федоровна, окончившая в 1856 году Екатерининский институт в Петербурге, в 1861 году (8 января) вышла замуж за Александра Алексеевича Шахматова. Поступив двенадцати лет в Училище Правоведения и кончив в нем курс в мае 1867 года, А. А. Шахматов был определен младшим помощником секретаря Сената. Прослужив во время Севастопольской кампании ординарцем у начальника саратовского ополчения П. Х. Граббе, Александр Алексеевич снова перешел в Сенат и только в октябре 1857 года был назначен прокурором в Смоленск, откуда в 1861 году переведен в Пензу. Здесь, в качестве собственника небольшого имения в Пензенской губернии, Шахматов принимал участие в деле освобождения крестьян, которого он был горячим сторонником.

Не сойдясь в Пензе с губернатором и предводителем дворянства, Александр Алексеевич перевелся в мае 1862 года в Воронеж, но и здесь губернатор и дворяне невзлюбили либерального прокурора, в ряде судебных дел бравшего сторону крестьян. Пришлось покинуть и Воронеж и перевестись в Харьков. В марте 1864 года Марья Федоровна с годовалой дочерью, автором печатаемой хроники, поехала к родным в Петербург, откуда скоро переехала в Нарву, к сестрам ее деда Федора Антоновича Бистром. В доме этих тетушек Бистром у Марьи Федоровны 5 июня и родился сын Алексей.

Приехав с детьми осенью в Харьков, М. Ф. Шахматова прожила здесь зиму и в начале лета переехала в имение своей родственницы по матери Марии Павловны Бистром, Никольское (Тамбовской губернии), на зиму же 1865—1866 гг. в имение Ширковых (в их доме Шахматовы жили в Харькове), Хатню (Волчанского уезда Харьковской губернии).

Семья Ширковых состояла из вдовы Александры Григорьевны, рожденной Зарудной (1806—1896), двух сыновей студентов и двух дочерей. Семья была талантливая и образованная. В их роскошном доме-дворце с зимним садом много занимались музыкой, чтением вслух, и Марья Федоровна, унаследовавшая от отца способности к языкам, изучала с старшим

Ширковым испанский язык и литературу. Здесь Шахматова с детьми прожила и все лето 1866 года, и осенью уехала в Москву, куда еще в мае был переведен Александр Алексеевич—товарищем прокурора Судебной Палаты и инспектором Московских Судебных Установлений, торжественное открытие которых состоялось 17 апреля 1867 года.

По окончании торжеств, Шахматов отвез семью в Саратов к своему слепому отцу Алексею Александровичу (1797—1868), овдовевшему в октябре 1865 года. Сам Александр Алексеевич не мог остаться в Саратове, так как в Москве обязан был исполнять должность уехавшего по болезни в отпуск прокурора Московской Судебной Палаты Д. А. Равинского.

В первых числах июня Марья Федоровна с детьми переехала в имение младшего брата своего мужа, Алексея Алексеевича Шахматова (1832—1880) Губаревку (в 30-ти верстах от Саратова), где 17 июля родилась у нее дочь Ольга. Алексей Алексеевич, у которого впоследствии воспитывались дети его брата, женился против воли отца в 1862 году на своей двоюродной сестре Ольге Николаевне Челюсткиной (1840—1919) и, продав данное ему отцом „на прокорм" до женитьбы имение, Ульяновку, уехал с женой в Париж. Музыкально одаренный, беспечный и независимый, он не мог быть ни человеком служебного долга, как брат, ни хозяином, как отец. В Париже, где он прожил четыре года, Алексей Алексеевич много читал, составил себе прекрасную библиотеку, которую привез в Россию, серьезно занимался музыкой, изучал контрапункт у известного преподавателя Симьо, сочинял романсы, имевшие успех у французов и духовные песнопения. Вернулись Шахматовы из-за границы весной 1867 года. Отец, наконец, простил их и дал им запущенное после смерти матери Алексея Алексеевича (Варвары Петровны, рожд. Столыпиной) имение, Губаревку, которое они горячо принялись приводить в порядок. Когда сюда приехала с детьми Марья Федоровна, усадьба еще была далеко от благоустройства, и только детям нравилось играть в больших клумбах сирени, разбросанных по широкому лугу-скверу, отделявшему дом от надворных построек и рабочего двора. Налево было „царство" трехлетнего Лели, направо—его четырехлетней сестры.

Между тем в служебной карьере их отца произошла важная перемена. В конце июля министр юстиции гр. К. И. Пален вызвал Александра Алексеевича и объявил ему о назначении его прокурором Харьковской Судебной Палаты. Это было тем более неожиданно и лестно, что таких постов было в то время всего три, причем два из них были заняты такими корифеями судебного дела, как Д. А. Ровинский и Тизенгаузен. Новая должность представляла обширную деятельность, захватывая почти шесть губерний.

В сентябре 1867 года А. А. Шахматов выехал из Москвы в Харьков, где ему отвели казенный дом, и тотчас же поехал по округу. Семье же его не пришлось на зиму переехать в Харьков. Старик Шахматов, обвороженный кротостью, деликатностью и умом невестки, не хотел ее отпускать от себя, и Марья Федоровна осталась зимовать в его саратовском доме (где позже была Уездная Земская Управа, на углу Александровской и Аничковской улиц). В эту зиму жил в доме отца второй его сын Григорий (1830—1878) служивший в гвардии, вышедший в отставку тридцати четырехлетним генерал-майором и, после неудачной попытки жениться, томившийся без дела и цели жизни, равнодушный ко всему и всем. К Рождеству приехала старшая сестра А. А. Шахматова Наталья Алексеевна с мужем Владимиром Григорьевичем Трироговым, с сыном Алешой [1], которому, как Леле Шахматову, шел четвертый год, и шестнадцатилетней сестрой мужа Софьей Григорьевной, впоследствии известной певицей Логиновой. Приезд Трироговых внес большое оживление в дом старика Шахматова, и только Марья Федоровна, мало принимавшая участия в детской жизни, скучала в разлуке с мужем, который все хотел приехать к своей семье и все не мог этого сделать, занятый разъездами по службе. Целые дни проводила она за рукоделиями, чтением французского писателя Аллана Кардека и изучением турецкого языка, занимаясь со своим зятем Трироговым, окончившим факультет восточных языков Петербургского университета.

---

[1] Алексей Владимирович Трирогов впоследствии женился на дочери Д. И. Менделеева от первого брака—Ольге Дмитриевне.

Весной 1868 года Наталья Алексеевна увезла Марью Федоровну с детьми в свое имение Аряш (Кузнецкого уезда Саратовской губернии), куда в первых числах июня, ненадолго приезжал Александр Алексеевич, ехавший в Петербург закладывать Хмелевку (главное родовое имение Шахматовых). В Петербурге он получил телеграмму о смерти старика Шахматова 28 июня. Вернувшись из Петербурга в Харьков, Александр Алексеевич должен был с гр. К. И. Паленом объезжать Харьковский Судебный Округ и, только проводив министра до Полтавы, он поехал в Саратов, где собралась вся семья, и был подписан семейный раздел. На долю Александра Алексеевича досталась усадьба Хмелевка и Липяги, имение без усадьбы в Пензенском уезде.

В сентябре 1868 года Шахматовы покинули Саратов и переехали в Харьков. Но не успели они здесь водвориться, как телеграмма министра вновь вызвала Александра Алексеевича в Петербург. Здесь Пален объявил ему, что он производится в тайные советники и назначается старшим председателем Одесской Судебной Палаты. Снова пришлось укладываться и переезжать на новое место. В Одессе, как и в Харькове, Александр Алексеевич очень много времени проводил в разъездах по округу, открывая новые суды. Когда в конце апреля 1869 года ему нужно было поехать в Крым, он взял и семью. Здоровье Марьи Федоровны, пошатнувшееся еще в Саратове, сильно ухудшилось, и доктора предписали ей кумыс и виноград в Феодосии. Из Севастополя Александр Алексеевич поехал в Симферополь и дальше, а семья, проведя около трех недель в Бахчисарайском ханском дворце, переехала в Феодосию, где поселилась на даче Новосельского, в двух верстах от города. „Пятьдесят лет спустя, незадолго до своей смерти,—пишет Е. А. Масальская,—Леля стал вспоминать Феодосию и говорил, что дал бы многое, чтобы съездить именно на дачу в Феодосию, где мы провели лето 1869 года, что его, просто тянет туда. Быть может, именно на этой даче, где ему в июне минуло пять лет, он впервые сознал свое бытие.

„В конце сентября Александр Алексеевич приехал в Феодосию, и 1 октября Шахматовы вернулись в Одессу. Крым нисколько не помог Марье Федоровне — напротив, климат

Феодосии и постоянные сквозняки на даче окончательно ее погубили: доктора определили у нее чахотку. Но все же зима 1869—1870 гг. прошла для Шахматовых приятно, Марья Федоровна, хотя и реже, много выезжала. Бывая в обществе, концертах и опере, Шахматовы, несмотря на слабость здоровья Марьи Федоровны, устраивали приемы, обеды и вечера.

О брате в это время Е. А. Масальская пишет: „Лелю поместили в детский сад. Каждое утро с сумочкой за спиной он отправлялся учиться. Это ученье и фребелевские игры вовсе не нравились ему. Мама жаловалась в одном из своих писем к папе: „У Лели натура ленивая („indolent et paresseux“), но в то же время он очень вспыльчив и настойчив“. Каждый день мы с гувернанткой Идой шли в „киндергартен“ за Лелей. Позже он говорил мне, что ему противны даже всякие бутерброды, потому что напоминают ему эту школу. И помню, как не раз его утром уводили в школу, а в три часа за руку тащили обратно всего в слезах. Он не любил своего детского сада, он не хотел плести ковриков и учиться песенкам, он хотел быть девочкой и учиться дома...“

В феврале 1870 года Марье Федоровне стало хуже, и бывший в конце апреля в Одессе Пирогов нашел состояние ее здоровья безнадежным. 3 мая в 6 часов вечера Марья Федоровна, благословив детей, тихо скончалась.

Осиротевших детей на лето взяла к себе княгиня Ольга Петровна Долгорукова, рожденная княжна Трубецкая (ум. в 1886 г.). Пожив понемногу в нескольких имениях, Ольга Петровна с детьми Шахматовыми прожила весь июнь в имении Тимашполь (Ямпольского уезда, Подольской губернии). В июле Шахматовы переехали в Стройницу, имение сестры Ольги Петровны, княжны Елизаветы Петровны Трубецкой, сердечно, как к родным, относившейся к сиротам. Вообще, им привольно и весело жилось у Трубецкой. Только в октябре приехали они в Одессу к одинокому, печальному отцу, теперь избавленному от дальних деловых поездок, и принимавшему участие в учебных занятиях детей и в их играх. Казалось, налаживается новая жизнь, но 22 января 1871 года Александр Алексеевич скоропостижно скончался от нервного удара.

Всем родным были посланы телеграммы об этой внезапной кончине. В ответ на последнюю, сильно запоздавшую, пришла телеграмма от Алексея Алексеевича Шахматова из Губаревки, извещавшая, что он с женой и Владимиром Григорьевичем Трироговым выезжает за детьми в Одессу. Прошло более месяца пока они приехали, и уже в середине марта все тронулись из Одессы. Из Орла Алексей Алексеевич и Трирогов повернули в Петербург хлопотать о пенсии и других делах, а Ольга Николаевна с детьми и гувернанткой поехали в Губаревку.

Приездом сюда и начинается „Повесть о брате“.

М. Цявловский.

21 января 1929 г.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

„ЛЕГЕНДАРНЫЙ МАЛЬЧИК“



I

Губаревка в 1871 году

Миновав ряд изб небольшой деревни и переехав плотину наша усталая тройка поднялась в решетчатые белые ворота и остановилась у крыльца нашего милого губаревского дома. Приветливый лай собак и радостные объятия красивого сетера Хватая с трудом дали нам выбраться из возка. Ельпидифор и Марфуша с Антипычем донесли нас на руках до крыльца. Кругом бежали ручьи и в высоких тополях у дома заливались скворцы. Мы вошли в натопленные, немного низкие комнаты... и вот началась для нас новая, совсем иная жизнь.

Очень стойко переносила я в своей жизни удары судьбы, раны, уколы, как моральные, так и материальные. Иной раз сгоряча как-будто и не почувствуешь даже их, но тем дольше и глубже после того они болят. Я не помню острого горя при потере родителей.[1] Но эта катастрофа точно придавила меня и—надолго. Леля,[2] как более живого характера, скорее меня оправился и приспособился. Я же долго, долго чувствовала неизъяснимый гнет, сковавший душу, и вздохнуть свободно, легко я долго не могла. Быть может, тому способствовало и то, что после ярких и живых впечатлений детства в красивой Подолии, в Крыму и Одессе теперь потекла у нас

[1] Отец наш Александр Алексеевич Шахматов скончался в Одессе 22 января 1871 г. и еще ранее наша мать Мария Федоровна, рожд. Козен, 3 мая 1870 г. там-же.

[2] Мой брат Алексей Александрович Шахматов. Ему в это время было неполных 7 лет.

очень монотонная жизнь с довольно строгим, почти пуританским режимом. После известной самостоятельности, когда папа считал меня хозяйкой дома и рассуждал со мной, как с взрослой о приеме гостей и воспитании Оленьки,[1] я, „большая" в 8 лет, теперь вернулась в детскую и стала даже пятиться назад в своем развитии. „Точно для меня настали Средние века после расцвета греко-римской культуры",—поясняла я Леле, вспоминая эти годы, конечно, позже, когда мы с ним кончали „Всеообщую историю" Иловайского.

Кроме того меня угнетала „холодность" тети Ольги.[2] Еще в раннем детстве, при первом знакомстве с строгой, „холодной" тетей Ольгой в Саратове, я сначала конфузилась ее, а потом „заобожала". Теперь это чувство не только не проходило, а становилось даже мучительным, как любовь без взаимности. Всегда ровная, сдержанная, тетя неизменно держала себя на известной дистанции от нас, не допуская ни фамильярности, ни порыва, и требовала от нас, от меня в особенности, как старшей, внимания к ее наставлениям и выдержки, порядка, аккуратности и прочих добродетелей, довольно тяжких и мудреных. Я не раз плакала тихонько из-за этой строгости и любви моей без ответа; писала ей стихи с заглавием: „A elle", вычитывая в подаренном ею же „Лирическом альбоме" страстные объяснения в любви Мюссе, Ламартина и пр. Конечно, тетя никогда и не подозревала таких чувств, а, может быть, самолюбивая и далеко не уверенная в ответных чувствах чужих ей детей, еще хорошо помнивших своих родителей, в то время совсем и не чувствовала к нам особенной симпатии, и только время растопило этот лед и убедило ее, что ей не приходится ревновать нас к памяти усопших и опасаться неприязни и равнодушия в ответ на ее чисто материнские чувства и заботы о нас. Десятки лет спустя тетя неизменно выказывала нам глубокую, нежную, искреннюю любовь, и в ответ получала не менее нежную и глубокую, страстную привязанность детей к матери, чувства, прерванные только ее кончиной, почти полвека спустя, в 1919 г.

---

[1] Сестра моя—Ольга Але́ксандровна Шахматова; ей в то время было 3 года и 8 месяцев.

[2] Ольга Николаевна Шахматова, рожд. Челюсткина.

Леля, впоследствии также обожавший тетю, в те первые годы в Губаревке сильнее привязался к дяде,[1] который был более веселого характера, любил шутить, острить, и все внимание свое сосредоточил на Леле.

Дядя вернулся из Петербурга в конце апреля[2] и, между прочими делами, выхлопотал нам пенсию в две тысячи, до совершеннолетия. С ним приехала к нам новая гувернантка — Ольга Александровна Зотова, и с ней, кончившая курс в Перновском пансионе—Наташейка,[3] которую мы помнили подростком у дедушки[4] в Саратове. Теперь это была 16-летняя барышня, очень живая, остроумная. Она говорила всегда по-французски, много играла и пела, аккомпанируя себе, романсы.

На нас она мало обращала внимания, что всегда чувствуется детьми. Очень решительная, капризная, слегка презрительная, она называла нашего отца „mon père", но о маме никогда не вспоминала, и дети „какой-то Козен" не интересовали ее.

Я пробовала выяснить ее генеалогию; почему наш папа являлся и ей отцом, а мама ей чужая, и мы ей не родные, а чужие, совсем даже не любимые?..—Но мои первые шаги в области генеалогии потерпели неудачу, я могла только понять, что она—Наташейка—стоит неизмеримо выше нас, и для нас большая честь, если она захочет нас признать за близких ей и родных.

Счастие для меня, что я тогда, поглощенная своей любовью к тете, не вздумала привязаться к ней. Мне предстояло бы еще проиграть всю гамму любви без ответа к существу, которое и не желало бы на нее отвечать: Наташейка была олицетворением эгоизма и самомнения.

Многие называли ее красавицей, но ею она никогда не была. Небольшого роста, похожая на отца, она в 16 лет кружила

---

[1] Алексей Алексеевич Шахматов, брат моего отца.

[2] Алексей Алексеевич, отправив жену с детьми покойного брата из Одессы в Губаревку, сам поехал по делам в Петербург.

[3] Наталья Александровна Шахматова, внебрачная дочь нашего отца. Подробности ее дальнейшей жизни изложены во второй части моей „Повести".

[4] Алексей Александрович Шахматов.

головы и возбуждала восхищение, потому что в ней было много задора, игривости, кокетства и ума.

Мы с Лелей тогда устояли от ее чар, быть может, потому, что она смотрела на нас свысока и держалась от нас поодаль. Впоследствии судьба нас совсем разъединила, и после этого лета, проведенного вместе в Губаревке, я ее встретила всего один раз в жизни, но в жизни Лели она сыграла, лет 15 спустя, большую роль, и он был ей „братом" до самого конца. Что в то время она мало интересовалась нами, подтвердила и она сама, когда я, уже незадолго до ее кончины (в 1921 г.), обратилась к ней письменно с просьбой вспомнить Лелю ребенком и сообщить мне все, что она может вспомнить о нем в Саратове и Губаревке.

„Когда мать ваша приехала с вами к дедушке в Саратов, [1]— писала она,—мне было не более 12 лет. Мое время, мои интересы и мое сердце были отвлечены в другую сторону, и Леля мне нравился только с эстетической точки зрения: он был хорошенький ребенок с светлыми вьющимися волосами, в черном бархатном костюмчике. Известно ли тебе, что одна цыганка предсказала Марии Федоровне, что у нее будет сын, который прославится? Ну видишь, мне больше нечего сказать"... И далее: „Шестнадцати лет я приезжала из Петербурга в Губаревку, и тут я несколько больше видела вас. В Губаревке меня поразила интеллектуальность Лели: крошечный мальчик все сидел на скамеечке у открытого шкафа с книгами и усердно читал „Русскую старину", которая мне казалась страшной сушью. Тогда же он написал тетрадку „История России" которую посвятил мне. Но какие были у нас разговоры и о чем, я ничего не помню. Вот и все"... т.-е., вот и все, что осталось в памяти Наташейки о маленьком брате. Но что касается того, что он ей посвятил свое первое сочинение „История России", то Наташейка сильно ошибалась. В то лето, когда 5 июня Леле минуло всего 7 лет, он, если и начинал интересоваться историей, во всяком случае не писал ее. Единственное, сохранившееся от того лета письмо его к тете, поздравление с днем ангела 11 июля, в двух строчках было

[1] В мае 1867 г. Мария Федоровна с двумя детьми приехала из Москвы в Саратов.

написано такими каракулями: „Zu dem heutigen Feste, wünsche ich Jhnen das Beste“ [1], что о писании по-русски (русскому языку мы учились после французского и немецкого, впервые в то же лето у Зотовой), не могло быть и речи.

Свою „Историю России“ он писал уже 10-ти лет, когда мы совсем потеряли из виду Наташейку, и она проживала за границей.

Толчком Леле к интересу историей послужил подарок тети, „Бабушкины уроки“ Ишимовой. Эта толстая книга в малиновом переплете, с картинками, надолго стала его любимой, настольной книгой. Также, сознаюсь, и моей; но, как мы разделили дядю с тетей, кушанья и многое другое, так разделили мы и книги, первые книги, привезенные нам дядей с тетей в одну из поездок в Саратов. Мне тогда была вручена „Вселенная“ Герштекера с соответствующей надписью, и я сочла своим долгом, „не заглядывая в чужие огороды“, ее читать и только ею интересоваться. Я старалась, согласно предписанию в надписи дяди, проникнуться интересом к чужим странам, но в душе мне казались и скучными, и ходульными беседы немецкого папаши с своими благовоспитанными детьми, тогда как рассказы бабушки своим внукам о событиях русской истории были очаровательны.

Не знаю, к чему мы с Лелей, вообще, завели этот дележ и кто из нас его придумал, вероятно, я же сама, но его последствия мне пришлось переносить совсем без удовольствия: принудительный интерес к географии и естественным наукам послужил директивой моих дальнейших занятий и я долго искусственно лишала себя удовольствия читать и изучать область истории, которая была гораздо для меня интереснее.

Первое лето в Губаревке прошло для нас очень тихо и мирно: занятия с Зотовой, ежедневные прогулки в громадном, чудном парке, начинавшемся в конце „шоссе“ — длинной широкой аллеи, с обеих сторон с июня утопавшей в розах; семейные праздники, изредка катание на красивой вороной Элеоноре в дрожках или в кабриолете, дружба с Хватаем,

---

1) „К сегоднешнему дню желаю вам наилучшего“.

который разделял наши забавы и прогулки. Зотова была очень добрая женщина средних лет, но она мало влияла на нас, поглощенная постоянной тревогой то из-за редкости писем матери, то о здоровьи сестры. Помню, как за обедом однажды она опять стала жаловаться на то, что давно нет писем от матери, а Леля очень серьезно утешил ее: „Ça peut être, que votre mère est morte“... [1]—и очень удивился, когда в ответ Зотова залилась слезами.

В августе она не выдержала и, когда Наташейка собралась в Петербург, собралась и она, а мы остались с одной Сюзанной, [2] которая так привязалась к нам, что совсем не хотела уезжать, забывая, что у родных покойного мужа ее остался ее собственный сынок. Вообще, Сюзанна была добрейшая немка, всегда веселая, приветливая, с большими серыми глазами и длинными каштановыми косами, дважды обвивавшими ее голову.

Она, собственно, была бонной Оленьки, но я привязалась к ней более, нежели ко всем своим гувернанткам, потому что с ней не были связаны ни переводы, ни диктанты, ни зубрение, ни отметки — все эти тягостные атрибуты учебной жизни.

Напротив, она брала меня с собой всякий раз, когда ходила на птичий двор, и мы иногда с ней кормили из рук обступавших нас цыплят и утят. Мы заглядывали и на скотный двор, где росли хорошенькие телки, шли в теплицу за салатом и огурцами к обеду и в оранжерею снимать спелые персики и абрикосы. Иногда она нам с Лелей давала детские лейки и мы с ней поливали наш любимый цветник—Посредническую звезду, разбитую в память службы дяди мировым посредником. Садовником был тогда молодой, энергичный Бодров, выписанный из Ропши, большой знаток цветочного и оранжерейного дела. Осенними вечерами Сюзанна учила нас с Оленькой всевозможным рукоделиям, и мы с ней зачитывались „Der kleine Vater“ [3]. Все это казалось мне гораздо интереснее Персидских войн и Камбиза, о которых Леля находил удовольствие говорить с дядей, уже видимо опережая меня в исторических

[1] „Да, быть может, ваша матушка умерла“.

[2] Сюзана приехала с нами из Одессы.

[3] „Маленький отец“. Не помню автора.

познаниях. По прочим предметам он также, если и не перегнал меня, то во всяком случае шел вровень со мной. С наступлением зимы, наши учебные занятия стали серьезнее. Тетя учила нас катехизису и языкам. Очень усердно изучали мы „Наш друг“ Корфа и „Родное Слово“ Ушинского. Дядя учил нас истории, а для географии и арифметики приезжал к нам из Вязовки (соседнего села, в 3 верстах от Губаревки) молодой, горбатый Михаил Николаевич Розенберг, брат помещика-соседа. Это был умный и начитанный человек. Дядя любил с ним подолгу беседовать и играть в шахматы. Помнится, Леля любил слушать их беседы, а также принимал участие в шахматных турнирах, и вскоре сам стал очень хорошо играть в шахматы. Конечно, и мне пришлось учиться этой игре, но я всячески старалась избавляться от нее, так как один вид глубокомысленно уткнувшихся в нее игроков всегда наводил на меня тоску.

Так незаметно подошло Рождество. Мы готовили под руководством Сюзанны разные сюрпризы тете с дядей, вышивали, рисовали, склеивали разную чепуху, а они, со своей стороны, тоже сюрпризом приготовили нам елку в сочельник, день моих именин. Радости было много и делили мы ее с целым штатом дворовых детей. Одних малышей столяра Сергея Кириллыча и прачки Дарьи было семь душ: Варя, Таня, Гриша и т. д.

II

Камильев

Зима приходила к концу. Вновь заливались скворцы в тополях у дома, бежали ручейки, и весна — торжествующая, победоносная,—сгоняла сугробы снега, завалившие наш сад. Красивое, волшебное время ранней весны в деревне!

Зима 1871-72 г. прошла для нас однообразно, постоянно за уроками, но чем однообразнее была эта жизнь внешним образом, тем более разнообразили мы ее фантазией и воображением, выдумывали игры и приключения, уносившие нас в другой мир.

Обыкновенно после обеда Леля запрягал тройку коней (три стула), а меня с Оленькой и Сюзанной сажал в карету

(четыре стула, покрытые сверху вместо крыши ковром),—и мы уезжали в далекие страны, терпя нападения разбойников и львов, лакомясь финиками и бананами из садов по Тигру и Евфрату. Не менее фантастические были наши игры в царства. Теперь, когда большой сквер перед домом с клумбами сирени, жимолости, лип и рябины, был покрыт саваном снега, и мы только с террасы могли любоваться нашими „царствами“, мы занялись ими с помощью фантазии даже более пристально. Мы придумали им прежде всего прозвания. Мое царство было названо „Гольдкремским“. От соединения представления о блеске золота—Gold—с моим любимым пирожным—кремом, получилось Gold—crème, конечно, прозвание довольно идиотское, но не имевшее ничего общего с губной помадой. Прозвание царства Лели также было вызвано натяжкой: вспоминая песенку m-elle Blanc в Одессе — „Rantamplan“, Леля окрестил свое царство совершенно бессмысленным прозванием „Рантамплана“, а попутно—обращение в конце песенки „Petit drôle!“ послужило прозванием тогда только возникавшего третьего царства,—Оленьки, с еще ненамеченными границами — царства Петидрольского.

Не обладая свойствами государственного деятеля, я не очень увлекалась своим „Гольд-кремом“, или, вернее, не знала даже, что с ним делать, как проявлять его политическое существование, но, чтобы не отставать от Лели, я все же разыскала себе королеву на острове Таити с дворцом под водой.

Событий, связанных с моим царством, я что-то не запомню. О возможности войн в царстве счастия, гармонии и красоты— не могло быть и речи. Фактически существовало только царство Рантампланское. Там были короли, войны, полководцы, и Леля очень обстоятельно рассказывал нам историю своего государства, а когда фельдмаршал рантампланский, после ряда блестящих побед, выехал на смотр своих войск, его встретили военным маршем, который сопровождал его во всех его походах. Этот сочиненный Лелей марш (и мотив и начинавшие его слова, хотя и на неизвестном мне языке) я хорошо помню до сих пор:

„Алмà—тер, мà-тер,—хòве.
„Албòр, шабòр—дабѐй.
„Амхѐ-ей! Амхѐ-ей!..“

После протяжного выкрика „амхей, амхей“, начиналось что-то вроде галопа на слова: „хам-хам-хе-ри“. Все это Леля распевал нам с большим воодушевлением, вооруженный самодельной пикой и ружьем, представляя в лицах и королей своих и героев-полководцев. Особенно любила эти представления будущая владелица царства Петидрольского—Оленька. Ей было тогда 5 лет, и она была очень миленькая, маленькая, обыкновенно тихенькая девочка, говорила немного, но протяжно и нараспев. „А... Ольга-тетя“,—всегда обращалась она к тете. Дядя подхватывал ее певучую интонацию и подбирал ее на музыку „а-покажите... а-посмотрите...“, или же дядя повторял, и много раз повторял ее вопросы и рассуждения: „Где моя манжета?“ (Мы носили тогда белые манжетки и воротнички). „Я ничего не говорю, а Анна (вспоминалась Анна Вучетич)—говорит: „что?“... Или жалобы ее: „У меня такой гадкий брат: он не хочет, чтобы у его сестры были дети!“ Она постоянно играла с Лелей и обожала его. Гораздо позже она с большой грустью вспоминала, что „потом, потом, Леля захотел быть большим и перестал с ней играть и даже стыдился дружбы с ней, как с младшей“. Но в то время дружба их была в полном разгаре, и игры их длились часами.

И нам с Лелей тогда дядя посвятил вальс „Пла-пла“: мы очень любили болтать и постоянно задавали вопросы; дядя называл это пустым „плаплаканием“ и садился за этот вальс к пианино, как только мы начинали „плаплакать“.

Зимой Сюзанна, наконец, решила съездить в Одессу за своим сыном Виктором, и для нас было большой радостью возвращение ее из Одессы и появление нового товарища игр,—Victor Agass, как представился нам 6-летний сын Сюзанны, очень милый, выдержанный и умный мальчик. Привезла нам тогда Сюзанна к Пасхе из Одессы много лакомств, книг и игрушек от всей семьи Вучетич, целую „розовую библиотеку“, главным образом, рассказов Сегюр: „Приключения бедной Софи“, „Воспоминания осла“, „Жизнь Камиллы и Маделены“. Все эти рассказы доставили нам громадное удовольствие, но увы! однажды до тети долетело, как мы с Лелей полу-шутя перебранивались, черпая бранные прозвища из книг m-me де

Сегюр; „Nigaud!“ [1]—огрызалась я на Лелю. „Serpent!“[2]—отвечал он, и т. д. Словарь этих выражений очень разнообразен у нашей соотечественницы m-me де Сегюр,—и нас это забавляло! Тетя, услыша наш диалог, совсем как-будто и не рассердилась на нас, но беспощадно конфисковала всю нашу „розовую библиотеку“. Мы с Лелей протестовали, плакали, обещали забыть все эти прозвища. Леля решительно не хотел расстаться с „Le bon petit diable“[3], но тетя была непреклонна, и мы до конца жизни более не видели наших любимых книг!..

Когда их унесли навсегда из детской, я уже с сердцем и со слезами гнева послала брату восклицание „Nigaud!“, а он также с сердцем вернул мне: „Serpent!“

Только успокоившись и осушив слезы, мы решили, когда выростем, разыскать автора этих книг, эту милую, умную, талантливую m-me де Сегюр, и поделиться с ней нашим горем. К счастью, это горе свалилось на нас уже летом, когда мы успели перечитать всю присланную нам Ларисой Николаевной [4] библиотеку и почти наизусть запомнить злоключения ее действующих лиц. В это время при нас была мисс Мэри, маленькая, рыженькая англичанка, с которой мы, начинавшие болтать в Одессе с Лорой по-английски, теперь очень скоро заговорили довольно бегло. Но маленькая мисс заставляла нас сверх того, летом, когда у всех детей бывают каникулы, писать диктовки и переводы. Это было скучно! На беду и дядя счел нужным меня преследовать Пуническими войнами. Я находила, что летом учиться—невыносимо, и упорно ленилась, надеясь переупрямить дядю. Он же не разделял моей точки зрения, и мне часто приходилось выслушивать выговоры и упреки дяди. Однажды, уличив меня в ужасной рассеянности, позволившей мне спутать не только годы, но и столетия, дядя повернулся к тете и серьезно заметил, что мне в жизни с такими способностями несомненно придется стать женой немецкого мыловара. Почему дядя определил мне немца-мыловара в супруги, когда услышал от меня неподобную историческую дату, я не знаю, но

---

1 „Дурак“!

2 „Змея“!

3 „Добрый чертенок“—заглавие одной из книг Сегюр

4 Вучетич, кузина мамы.

помнится, я долго думала, что дядя, столь опытный и умный, не без основания сулит мне мыловара и, каюсь, я долго опасалась, что судьба меня свяжет с таким немцем!.. Тем упорнее уходила я в свои мечты о безбрачии, во-первых, и путешествии в Иерусалим, во-вторых. Я начинала в то время экзальтированно относиться к вопросам религии, и поездка в Иерусалим, устройство приютов для брошенных собак и престарелых лошадей, а затем монастырская жизнь на юге, среди кипарисов, кактусов, пальм и олеандров, всецело поглощала мои мечты. Я уже смогла их подробно записать в любимой тетрадке, подаренной мне тетей для рисования. В ней же записывались мои стихи, без рифм, белые, но все же ритмические, посвященные тете или воспевавшие красоту природы. Но, когда я одно из них решилась прочесть Леле, он заявил, что стихи без рифм совсем не стихи, и, в виде назидания, как подбирать рифмы, написал мне четверостишие:

„Антонина Васильевна вышла в сад
„И увидела трех-аршинный водопад.
„Она на него смотрела
„И громко пела".

Меня эти стихи совсем не пленили, и рифма тем более казалась мне помехой для свободного и точного выражения чувств, ради нее рискующих быть искусственными и неверными, уж не говоря о том, что кошачий голос экономки Антонины Васильевны вряд ли уж мог так вдохновить поэта. „Да и трех-аршинный водопад,—критиковала я в ответ на критику моих стихов („Пасха в Иерусалиме")—всего-то в полтора аршина высоты!" Леля был недоволен такой оценкой его поэзии и перестал писать стихи.

Водопад, вдохновивший Лелю, так называемый „Зеленый родник", был, действительно, прелестен. Родник, питавший все наши пруды, вытекал из глубокого „Дарьяла" в парке и был искусственно поднят и задержан Бодровым у теплицы. Вода с шумом падала на каменные плиты, образуя небольшой, но очень красивый водопад. Выкрашенные зеленой краской столы и скамейки близ него, оттененные столетними вязами, послужили к прозванию Зеленым родником всего этого прохладного, тенистого места. Это было наше любимое место-

пребывание в жаркий летний полдень. Здесь же мы с Лелей обыкновенно обсуждали вопросы, тревожившие и волновавшие нас: сегодня тетя не в духе, дядя сердится, поставлена двойка, затеряна книга, разбита чашка, не хочется учится и т. д.

Другим местом свидания в важных случаях жизни, преимущественно по утрам, была железная скамейка, оттененная дубом и липами, против дома у цветников с Посреднической звездой посреди. Мы стали сходиться у нее рано утром, пока в доме еще спали, с тех пор как Леля однажды утром вызвал меня до чая, с озабоченным лицом, и взволнованно сообщил мне, что ночью к нему явился во сне какой-то незнакомец в сером плаще и назвался Камильевым. Камильев ласкал его и обещал приходить к нему каждую ночь и уводить с собой, показывать ему чудные, далекие страны. Я слушала с большим вниманием и с полной верой в возможность такого явления Камильева. С нетерпением стали мы ожидать наступления ночи, чтобы проверить это обещание. И когда на утро следующего дня, не дожидаясь звонка мисс Мэри, мы встали пораньше и сошлись опять у цветника, Леля с таинственным видом сообщил мне, что Камильев опять приходил к нему, опять ласкал его и даже угощал какими-то невиданными плодами из райского сада и обещал опять взять с собой и увести далеко, далеко... Я слушала Лелю еще с большим волнением. Он говорил серьезно, убедительно, но просил никому не говорить об этом...

Прошло несколько дней; каждое утро мы сходились в саду до чая. Иногда Леля приходил с разочарованным видом к звезде, покрытой душистым флоксом в сверкавших каплях росы: „Камильев что-то не пришел“. Тогда мы с нетерпением ожидали следующего утра. „Он пришел?“—„Приходил“,—радостно сообщал Леля, или же с грустью говорил: „Нет, забыл меня“...

Каким-то образом тетя все-таки проникла в наш секрет: верно, проговорились мы сами. Тетя стала усовещивать Лелю, не желая, чтобы он меня морочил, но совсем не одобряла и мое глупое легковерие. Мы горько плакали по этому поводу. Я не хотела верить тете, что Леля меня морочит, а Леля не

желал сознаться, что Камильев им выдуман. Леля считал себя обиженным таким недоверием и грозил мне больше о нем не говорить. Я еще сильнее плакала: я привыкла к Камильеву и хотела верить в его существование! Странно, что и позже, когда я спрашивала Лелю, что это было: фантазия или морочение,—он обыкновенно прекращал разговор, как о неприятном для него вопросе, и даже взрослым не хотел сознаться, что морочил меня. Он отличался, вообще, большой искренностью, правдивостью и уличение в обмане его ужасно огорчало. Он, вероятно, просто не умел справляться со своей фантазией: первое появление Камильева во сне могло быть и действительным, а потом к этому сну уже стала примешиваться фантазия. В то время, помнится, и Оленьке не раз мерещилось, даже не во сне,—то старик в камине, то обезьяна на краю стола, и она плакала, прячась от страха под фартук Сюзанны. Вскоре после драмы с Камильевым, Леля однажды прибежал из Тира (так называлось стрельбище, устроенное еще дедушкой в парке). Как теперь помню Лелю: в поту, в сильном волнении, еле переводя дух, в своем голубом матросском костюмчике; он сообщил нам с мисс Мэри, что на большой поляне близ Тира стоит войско; слышится бряцание оружия, клики солдат и громкий голос военачальника в белом плаще. Тотчас же был отряжен гонцом в Тир Гриша, 12-тилетний сын столяра Сергея. Он должен был, по предписанию Лели, тихонько, ползком подкрасться к лагерю, чтобы не попасть в плен и, в особенности, не быть замеченным свирепым военачальником в белом плаще. Каково же было удивление Гриши, когда он увидел на большой поляне стадо, перебравшееся через канаву, отделявшую парк от полевой земли. Пастух, в белом плаще, т.-е. в белой холщевой рубашке, с помощью подпасков, сгонял стадо с поляны; овцы блеяли, коровы мычали, овчарки лаяли... Несомненно, что Леля не предполагал нас обманывать, когда так взволнованно объяснял Грише, как подползти к лагерю незаметно, через вишарник, и сам прибежал, весь разгоревшись от быстрого бега. Поэтому, объяснение Гриши и общий смех и смутили его, и задели его самолюбие.

III

„Персидский поход“

Мне кажется, что эти порывы фантазии и связанные с ними огорчения подсказали слова Лели в позднейшем (от февраля 1879 г.) письме его: „Прошли времена мисс Мэри, и слава богу! Они, надеюсь, не вернутся более никогда!“

Кроткая мисс была совершенно неповинна в таком определении времени, которое она прожила у нас. Поэтому и думается, что вспоминая с горечью то время, Леля, вероятно, связывал его с историей Камильева, тянувшейся почти все лето, со стадом, принятым за войско, и еще с другими случаями. Недовольный собой, он, видимо, искал выхода из такого неприятного положения, потому что не успели мы успокоиться насчет Камильева, как Леля вновь назначил мне утреннее свидание у Посреднической звезды. Теперь он мне объявил, что решил бежать в Персию.—Я опять в слезы: „К чему в Персию, что там делать? Уж не Камильев ли тебя надоумил?“ Леля пояснил, что когда дядя учился еще мальчиком в Правоведении, один из товарищей его, родом из Персии, сказал ему, что Шахматовы—происхождения из Персии и, если бы Шахматовы вернулись в Персию, их бы приняли там, как принцев крови, так как права их на персидский престол несомненны. „Так что же?“—с огорчением допрашивала я. „Хочу побывать в Персии... объясню, кто я такой, может быть, шах персидский и добровольно поделится со мной престолом.“ —„Да как же ты туда дойдешь один?“—„Я пойду через Новопольскую гору (из-за которой всходило солнце) и пойду все прямо, прямо, на восток, с компасом в руке, по п р я м о й линии. Только прошу ничего не говорить тете и дяде.“ Новая беда: и от тети скрывать, и не выдать себя слезами (как, вероятно, случилось в истории Камильева), и провожать Лелю в далекую, опасную дорогу. „Тебя дорогой тигры съедят... на что тебе персидский престол? Есть у тебя царство Рантампланское, будет с тебя“,—уговаривала я Лелю. Сердилась я и плакала горючими слезами. Леля утешал меня, обещая немедленно прислать нам из Персии подарков и фруктов, а затем приехать за нами: мы будем с ним жить в Тегеране, а

мне оттуда рукой подать в Иерусалим. Перспективы были заманчивы, но отпускать Лелю я все же не хотела, и как ни прельщал он меня прелестью тегеранских садов, нам пришлось итти на зеленый родник смывать следы слез, чтобы не обратить внимания тети. Леля был непреклонен, и бегство его было назначено черезь день. Два дня прошли для меня невероятно тревожно. Я все следила за его сборами. В сумку, с которой он в Одессе ходил в школу,[1] теперь была положена смена белья и краюха хлеба. Затем было им написано прощальное письмо и духовное завещание, по которому все имущество его оставлялось дяде. Ясно помню эту духовную, написанную каракулями чуть ли не с вершок величиной.

Вечер накануне бегства, которое было назначено в 5 часов утра, был для меня особенно мучителен. Мы проводили его, по обыкновению, в громадном кабинете дяди с окнами, открытыми в сад. Дядя, не подозревая такой катастрофы, беспечно и долго толковал о хозяйстве с Базановым. Это был высокий, красивый и умный старик, может быть, и неграмотный крестьянин, но умевший всем внушить уважение, и который отлично вел все полевое хозяйство в Губаревке. Все его слушали и любили. Тетя с дядей очень ему доверяли, любили и уважали его; каждый вечер он являлся к ним с докладом. Отпустив Базанова, после чая, который разливала Сюзанна, дядя, по обыкновению, сел за пианино. Перебирая худыми, длинными узловатыми пальцами клавиши, он подбирал хроматические аккорды, составлявшие канву его удивительно гармонических романсов. Когда же он стал их наигрывать, тетя, как всегда вся в белом, запела своим чудным, грудным голосом: „Когда б не смутное влечение...“, „Пойми хоть раз...“, „О милый друг...“, „Много грусти...“, „Она поет и звуки тают...“ Я с укоризной смотрела на Лелю: неужели его не трогает голос тети и ему не жаль ей причинить такое горе? Но Леля качал головой: „Жребий брошен и колебаться нельзя“, тихо, но серьезно шептал он мне.

Он ночевал в спальне дяди, рядом с кабинетом, в „том-доме“, как называли мы каменный дом с бельведером, отделен-

[1] В Одессе Леля посещал детский сад.

ный от „большого“ центрального дома цветниками, защищенными высокой решеткой обвитой хмелем, parterre aux loups [1], потому что были проложены тропинки между цветниками, и здесь мы обыкновенно играли в волки, т.-е. ловили друг друга.

Когда в 11-м часу вечера мы с мисс Мэри стали собираться в большой дом, а Леля стал уходить к себе, чтобы провести последнюю ночь под родным кровом, он припал головой к плечу тети и долго не мог от нее оторваться. Мне казалось, он глотал слезы. Тетя ласково провела своей красивой, белой рукой по его вьющимся волосам и, спросив, здоров ли он, благословила его по обыкновению на ночь.

Я не могла заснуть. И, хотя Леля обещал меня разбудить стуком в окно на заре, чтобы проститься, я так боялась проспать, так волновалась, что, как только мисс Мэри ушла к себе, а Оленька, ничего не подозревая, крепко заснула, я встала и, одевшись, села у открытого окна. Много передумала я в эту летнюю ночь у открытого в сад окна и в конце концов, вероятно, поняла, что легковерию и глупости бывает же и предел. Я верила Камильеву, не вкусив райских плодов, обещанных мне Лелей; я верила в возможность появления войска на большой поляне, наконец, я верила в персидский поход. Положительно, когда мне было 7—8 лет, я была умнее нежели теперь, уже 9-ти лет. Вместо того, чтобы хорошенько наставлять братца, я давала себя ему морочить! Конечно, я не допустила бы этого, если бы не знала, что Леля—правдивый мальчик и никогда не лжет: Я не могла поверить, чтобы это были выдумки его. Не умея себе объяснить, в особенности, Камильева, я решила, что персидский поход вызван тем, что мы в то лето зачитывались Жюль Верном, Майн-Ридом, Купером и, в сравнении с приключениями „счастливых“ героев этих путешествий,—зубрение английских вокабул было особенно скучно. Леля не раз выражал свое неудовольствие однообразию нашей жизни. Нам хотелось заглянуть хотя бы за пределы нашей красивой усадьбы, за границы парка, в котором мы гуляли, и то всегда под надзором мисс Мэри. Наш единственный выезд

---

[1] Волчий цветник.

был—в Вязовку, в церковь, к обедне: это было для нас событием, и то довольно редким. Тем не менее поездка в Персию представлялась мне слишком опасной для Лели. Меня он не хотел звать с собой, чтобы не огорчать тетю, но в географии он был не сведущ: во первых, Волга станет поперек дороги по этой **прямой** в Персию, а, во-вторых, Персия на юге, а не на востоке от нас, следовательно, „прямая дорога" через горы завлечет его в Сибирь, и моя обязанность не допускать такого опасного путешествия. Я решила совсем не ложиться спать и дождаться 5 часов утра. Ночь прошла удивительно быстро! А я-то всегда думала, что ночь бывает бесконечно длинна! Стало светать. Мне даже не хотелось спать. Сад наполнялся громким щебетанием птиц, с деревни неслось блеяние и мычание выгоняемого в поле стада. Я всеми фибрами души вбирала в себя и эти звуки, и переливы света, и аромат цветников,—точно я в них пыталась почерпнуть ту силу, которой, чувствовала я, так не достает мне. Чем выше поднималось солнце, чем громче ворковали горлицы в высоких липах, и воздух свежий, напоенный росой, ароматом леса, становился еще душистее от цветущих роз и скошенного сена, тем решительнее намеревалась я не допустить в самом начале лелину затею, хотя бы пришлось поднять весь дом криком или послать за ним погоню. Но вот уже 7 часов. Зашумели в девичьей, Марфуша открыла окна и двери в сад. Антипыч зазвенел чашками на балконе. Встали Сюзанна и мисс. Солнце все поднималось выше, заливая горячими лучами и сад, и сквер. Пробило 8 часов, и тогда только, к чаю, вышел Леля в своем матросском костюмчике, розовый, покойный, даже веселый, без своей ужасной сумки с краюхой хлеба на дорогу.

Я ликовала... я так молилась ночью о том, чтобы он проспал роковой час... и он именно проспал! Он заснул в слезах: ему стало **жалко** уйти от нас, жалко и себя в тяжелом, далеком пути, и нас, которым он причинит такое горе и тревоги. Он проспал!... и с тех пор персидский поход был отложен... **навседа**! Шаха персидского не ожидала более перспектива делиться своим престолом.

Опять потекла, тихая мирная жизнь, настала осень,—и мы вновь остались зимовать в Губаревке. Завалило снегом весь

сад. Теперь уж нельзя было даже гулять в парке, да и в саду не все дорожки были расчищены. Красивы были сугробы снега, сверкавшие на солнце, иней, убравший деревья в причудливые узоры, и голубое, ясное зимнее небо с румяным закатом над черным, оголенным от листьев парком. Особенно хороши были тогда не обездоленные зелеными иглами, громадные, разбросанные по саду столетние сосны, видавшие не одно поколение... Но событий не было у нас никаких. Быть может, если бы сохранились наши первые детские тетради и дневник, который я тогда начала вести, у меня бы и нашлось, что рассказать, но в сохранившемся архиве того времени осталось лишь одно письмо тети. Написанное ее красивым почерком письмо это, адресованное Александре Григорьевне Ширковой, повидимому, не было отослано, потому что было с помарками, чего тетя никогда не допускала и, вероятно, поэтому и было переписано. Тетя лично не знала Ширковых, но переписывалась с ними долгое время, по настоятельной просьбе Александры Григорьевны, просившей ее писать о нас. И в этом длинном письме на французском языке (от 8 октября 1872 г.) тетя довольно подробно писала о нас: „Маленькой Оленьке часто нездоровится. Слабость желудка. Поэтому она не так весела, как старшие. Это—кроткий ребенок, который мало разговаривает. Такая замкнутость, столь несвойственная этому возрасту, меня подчас беспокоит. Лоло—полная ее противоположность. Олицитворение живости и ума. Он всем интересуется, все понимает, учится с громадным удовольствием, много читает; развит не по годам. Он занимается с (старшей) сестрой вместе и мало сказать, что не отстает от нее. Кроме четырех языков они учатся географии, истории, арифметике и естественным наукам. У Жени, кроме того, ежедневно урок музыки, которую она очень любит. Это милая девочка, очень ласковая, обыкновенно послушная и усердная. Она всегда очень огорчается, если причинит кому-либо неприятность. У нее талант к рисованию. Оленька же очень музыкальна и, вероятно, со временем превзойдет сестру....“ В том же письме тетя объясняет А. Г. Ширковой, что долго не могла ответить на ее письмо, потому что все лето ей пришлось встречать и провожать гостей. Вероятно, то были приезды лиц, нас мало касавшихся,

кроме Трироговых и Михалевских. Трироговы в то время жили в Саратове, в дедушкином доме, перешедшем тете Натали.

Друг детства нашего—Алеша Трирогов был теперь живой, стройный черноглазый 8-летний мальчик, а за ним уже рос красивый Сева и младший — Гриша. Они приезжали к нам гостить всем домом, и Алеша стал так шаловлив, что когда он сходился с Лелей, в доме поднимался такой шум, что я не знала, куда от них деться, тем более, что они оба преследовали мою дочь—Мари Розен. То была моя любимая кукла с льняными волосами, которой я шила сама белье и платья, и на которую я изливала все свои материнские чувства. Мальчики не взлюбили это невинное существо, отвлекающее от них мое внимание, и однажды похитили ее у меня, а потом, забыв в саду, оставили на солнцепеке. Вся в слезах, я, наконец, нашла ее (шалуны спрятались от меня), и с любовью схватила ее в объятия... Но, когда я взглянула на ее милое личико, я отшатнулась: вместо глаз—две дыры! Воск вокруг глаз растаял на солнце, и глаза провалились... Такие минуты ужаса и горя переживаются 9-летними мамашами совсем не легче, чем взрослыми при подобных несчастиях... Леля с Алешей были ужасно сконфужены моим горем, не знали, как загладить свою вину. Но, удалось ли вклеить обратно эти синие, круглые глаза, которые Мари так хорошо умела открывать и закрывать, не помню. Леля, вообще, при Алеше становился ужасным шалуном: они бегали по саду с кнутиками и палками и даже пробовали взбираться на спины рабочих лошадей—всадниками.

С Михалевскими мы познакомились в то лето в первый раз, как мы поехали в Саратов для покупок. То были Володя и Адель, наши сверстники, дети родной сестры тети—Надежды Николаевны. Отец их, бывший артиллерийский офицер, заведывал хозяйством в Саратовском институте. Сначала, как водится, мы подичились друг друга, а потом начали играть и подружились. Дом у них был с мезонином, белый, каменный, под железной зеленой крышей, прочный и в большом порядке. Двор за домом, заросший мелкой муравой, с надворными постройками, прилегал к большому саду,—так что было где играть и бегать.

Осенью и зимой мы еще не раз ездили в Саратов и все теснее сходились с нашими маленькими друзьями, и, когда мы праздниками провели у них целые две недели, Володя уже считался моим женихом, а Адель—невестой Лели. В доме у них было как-то необыкновенно уютно. У всех образов горели лампадки. Особенно помню я их няню. Она у них была высокая, красивая, очень представительная. Она жила наверху в мезонине, где были детские, и на постели ее стояла целая гора белых, пышных подушек в кружевах.

Мы провели таким образом очень весело праздники в Саратове: у Трироговых была елка и разные игры; у Михалевских—елка и танцовальный вечер. Оленька, ставшая любимицей тети Нади, особенно была забавна и мила на этом первом своем бале. Но зато наш первый выезд в цирк, тогда же, окончился очень плачевно. Тетя с тетей Натали повезли нас всех детей в двух каретах в приезжий цирк. Пока веселые клоуны смешили нас разными штуками, а красивые наездницы с гиканием носились на своих обворожительных пони, мы были в полном восторге! Я даже решила, до поступления в монастырь, еще стать наездницей и приспособить к этому, вместо пони—Милку, жеребенка, родившегося весной... Но, когда акробаты повисли на трапециях и зареяли в воздухе, рискуя ежеминутно слететь с головокружительной высоты, в наших двух ложах поднялось такое волнение, доходившее до плохо сдержанных криков, писка и слез, что тетушкам стоило большого труда нас успокаивать. Когда же на сцену вышел клоун под названием „человек без костей“, и, растянувшись на полу, собрался ногой кушать редис, поднесенный ему на тарелке и, захватив ногой редиску, стал ее подносить ко рту, неподобно перекинув ногу через плечо,—Леле сделалось дурно и его в глубоком обмороке увезли из цирка, захватив и нас всех, конечно, до окончания представления.

После такого пассажа мы с Лелей вторично попали в цирк только 30 лет спустя.

IV

Пугачевцы

После Рождества, проведенного в Саратове, мы не вернулись в Губаревку, а переехали в Хмелевку, где и пробыли до весны.

Мы давно интересовались этим имением на Волге, оставленным нам в наследство от отца. Там велось большое хозяйство, и управляющий Разумцев нередко приезжал в Губаревку с отчетами и докладами к дяде, который, как опекун наш, имел за Хмелевкой наблюдение. Мы очень любили Разумцева; приезд его был всегда для нас праздником. Он был такой добрый, всегда спокойный, приветливый, а так как мы с Лелей были записаны восприемниками его новорожденной дочки, он всегда привозил нам лакомства от нашей кумы и годовалой крестницы, главным образом,—меду, смоквы и чудесных яблок из большого хмелевского сада. Кроме того, время от времени привозились из Хмелевки птица, масло, раки, стерляди, грибы, варенье и пр. С этими оказиями приезжали какие-то добрые старушки-болтуньи и старички из бывших дворовых—повидаться, и с ними постоянно прибегал из Хмелевки „Любим“, старая, черная, очень большая дворовая собака с седой косматой мордой. Периодическое появление Любима встречалось нами с большой радостью; даже Оленька обнимала и целовала его в мохнатую морду, если Сюзанна не успевала ее остановить. Но, несмотря на все ласки и „угощения“, Любим не заживался у нас в Губаревке и всегда возвращался с обратными подводами домой—в Хмелевку. Когда же, по просьбе нашей, люди пробовали его обмануть и уезжали без него, он соображал, в чем дело, и на следующее же утро, а то и в ночь, отправлялся один в Хмелевку (за 60 верст).

Нам очень хотелось видеть то старинное имение, в котором у церкви, в семейном склепе, в так называемом „Голубце“, лежали наши предки, о которых дядя любил нам рассказывать, и где среди двора стоял громадный старый вяз, на котором был повешен Пугачевым наш пращур. Леля был уже однажды летом в Хмелевке. Дядя взял его с собой в одну из своих обычных поездок и, как теперь помню, это было еще в пер-

вое лето (1871 г.), успенским постом. Разумцев встретил тогда Лелю не как 7-летнего мальчика, а как будущего хозяина имения, во главе всей дворни, с хлебом-солью. Затем повели Лелю представить местному старику-священнику о. Михаилу, потом к слепому 80-летнему Марсову, верному слуге дедушки, доживавшему свой век на пенсии; повезли на Волгу, в лес, на мельницы и в большие яблоновые сады.

Эта поездка в Хмелевку была приурочена к годовщине, почти столетней (99 лет), гибели пращура во время Пугачевского бунта. Не сумею точно определить день—середины августа, выбранный дядей для этой церемонии, но день совпадал точно с днем гибели Артамона Лукича Шахматова.

После панихиды в „Голубце", во дворе под старым вязом были накрыты столы, были выкачены бочки браги и устроен поминальный обед для всех многочисленных дворовых и для крестьян. Обедали с ними, конечно, и весь хмелевский причт, и дядя с Лелей. За почетным столом сидел и слепой Марсов, и бывший служащий Никифор Иванов Шарыпка, тогда 110-ти лет. Ему было 13 лет во время „Пугача", и он многое рассказывал: и то что сам помнил, и то, что слышал от матери, прожившей до 120 лет. (Дед его умер „на ходу"—150 лет)[1].

Хвастаясь памятью и годами, вспоминали почтенные гости и 12-й год, но разговор все возвращался к событию, память о котором собрала их теперь под этим широко раскинувшимся, толстым, старым вязом.

Рассказы Марсова, Шарыпки и некоторых других стариков в общем мало разнились от предания, гораздо позже записанного троюродным братом нашим Вячеславом Александровичем Шахматовым, но все же отличались от него некоторыми подробностями. Так, рассказывали Леле за этим обедом: пращур наш Артамон Лукич, зарыв в Малом саду, на речке Верхней Хмелевке, сундук с драгоценностями (поныне не разысканный), не уехал в Саратов, как утверждал Вячеслав Александрович, а ушел вместе с женой своей Прасковьей Ивановной (рожд. Нечаевой), свояченицей Маргаритой (Матреной) Ивановной Безобразовой и несколькими слугами на Большой

---

[1] Портрет старика Шарыпки помещен в „Ниве" 1883 г., № 29, стр. 700. Ему в 1883 г. было 122 года, а сколько он после того прожил, не знаю.

остров против Хмелевки, на Волге. Сыновья их были в Петербурге на службе,[1] а 7-летнюю дочь Машеньку, переодев в крестьянское платье, отдали сберечь няньке, спрятавшей ее на селе в крестьянской избе. Истомившись в тревоге и неизвестности, Артамон Лукич с женой провели несколько дней в таловых кустах, которым густо зарос Большой Остров, хоронясь за стогами сена от плывших мимо, вниз по Волге к Астрахани—барж, плотов и лодок с добычей из Саратова.

Вечером 6 августа (1774 г.) в город ворвалась толпа башкир, казаков с ужасными криками, свистом и гиканием. Защитник Саратова, Бошняк, был вынужден отступить после обстрела города Пугачевым с Соколовой горы и перехода казаков и артиллеристов. Начались убийства, казни. Но уже 8 августа началось бегство в виду слухов о приближении Муффеля и Михельсона.

Получив известие, что одна группа пугачевцев ворвалась в хмелевскую усадьбу, разбила винный погреб, перепилась и, нагрузив подводы разным добром, двинулась дальше Царицинским трактом, Артамон Лукич счел возможным вернуться в свою усадьбу... но ошибся.

Передовую группу сменила другая. На Артамона Лукича набросились, стали его бить и повесили на старом вязе на дворе. Схватили и Прасковью Ивановну, жену его, повесили и ее, но плохо закрепили веревку, и Прасковья Ивановна три раза срывалась с петли... Ее отпустили: троекратная неудача палача требовала помилования. При этом рассказчики вспоминали, что дворня разбежалась и попряталась. Один пьяный мельник Яшка присутствовал при казни и, подойдя к Прасковье Ивановне, еще висевшей на дереве, ударил ее по щеке... Смерч, оставляя за собой развалины и пожарище, пролетел на юг. Прасковья Ивановна прожила после того еще 35 лет. Вернувшись в свою усадьбу, она никогда не напоминала Яшке его проступок. Мучимый совестью, Яшка не вытерпел и повесился в Кучугурах—перелеске под горой у Волги.

Вообще, Прасковья Ивановна была женщина редкой души. Характеристика ее сделана в „Семейных записках“ Рычкова.

[1] Все трое 14—18 лет служили в Преображенском полку.

Она была из рода симбирских Нечаевых и, кроме сестры за Безобразовым, у нее был брат Иван Иванович Нечаев и сестра Марфа за пензенским воеводой Всеволожским, тоже погибшим при взятии Пензы Пугачевым.

Кроме Артамона Лукича, из Шахматовых погиб еще родной племянник его, Павел Алексеевич Шахматов, молодой сержант полевой артиллерии, убитый во время трехдневного разорения Саратова. Труп его нашли на городском валу. Его старшего брата, Николая Алексеевича (тогда 25 лет) уже подвели к виселице, поставленной на большой дороге близ Хмелевки, но, рассказывали старики: вся деревня, став на колени, вымолила ему жизнь. Все дома Шахматовых, как в Хмелевке, так и в Саратове—были разграблены.

Дядя особенно любил останавливаться на личности Николая Алексеевича Шахматова, и мы уже знали его по тому, что в кабинете дяди в Губаревке, стоял небольшой шкаф, на полках которого хранились старые книги в кожаных переплетах, помеченные именем Николая Алексеевича. Позже узнали мы его и по переписке с зятем Михаилом Михайловичем Ладыженским, интересной и характеризующей некоторых членов семьи, детей Ладыженского, братьев матери Николая Алексеевича—Марьи Степановны Вышеславцевой. Со всем этим мы познакомились, конечно, гораздо позже, а в то время только запоминали устные предания, рассказы дворовых, доживавших свой век на пенсии в этой усадьбе, когда-то принадлежавшей Николаю Алексеевичу.

Единственный сын его—Александр Николаевич умер в 1859 г., бездетным, и все имение его, около 15 тысяч десятин, перешло тогда по завещанию вдове его (3-м браком) и двоюродному брату, дедушке нашему, с усадьбой в Хмелевке. Она называлась „старой усадьбой". Были еще и другие усадьбы в этом большом родовом имении до раздела, но при нас они уже не существовали и только за селом, на горе над Волгой была усадьба двоюродного дяди Александра Ивановича Шахматова. Отношения дяди с ними были очень натянутые, чтобы не сказать более, из-за процесса о наследстве Александра Николаевича. По зимам дядюшка Александр Иванович жил с семьей в Саратове, и нам даже не удалось взглянуть на его

усадьбу, отстроенную уже в позднейшее время и, вероятно, красивее нашей „старой усадьбы". Впрочем, мы не могли судить и о нашей „старой усадьбе", так как барского дома уже не существовало, так же как и от усадеб Артамона Лукича оставались одни места, т.-е. ямы и кирпичный мусор. Шахматовы, вообще, не делились—первое условие силы и благосостояния, но жили в разных усадьбах—тоже необходимое условие для сохранения семейного согласия. Теперь „старая усадьба" не представляла ничего особенно интересного. Это был громадный экономический двор со всеми необходимыми хозяйственными постройками по краям, и между ними два каменных белых флигеля, которые мы и заняли. Их соединял палисадник, заваленный теперь снегом, и, когда мы в окно смотрели на эти сугробы, сверкавшие на солнце, нас поражало количество снегирей, прыгавших по веточкам акации и сирени—точно кровяные пятна на белом снегу. Снегу в ту зиму было масса. Гулять мы могли только по расчищенным тропинкам двора, но мы часто катались в троечных санях, обыкновенно мимо церкви в гору, к лесу, в поля, к Волге. С нами ехала всегда Сюзанна. Лошадей нам давали всегда смирных, но это не мешало Оленьке пищать, опасаясь, „что лошади нас разнесут", в особенности на раскатах, так что однажды кучер потерял терпение, и, круто повернувшись, спросил, указывая на нее: „Аль замерзла, аль запрела?"

Жили мы, вообще, в Хмелевке тихо. Не помню, чтобы кто-либо к нам приезжал. Вся неделя проходила у нас в занятиях по расписанию с дядей и тетей. Только русскому языку и закону божьему нас учил хмелевский причт. По воскресеньям мы ходили в церковь, стоявшую на полугоре, тотчас же за воротами, через большую дорогу. Когда же настал великий пост, мы стали с Лелей готовиться говеть. О. Михаил учил нас церковнослужению не только по учебнику, но и наглядно. Леля очень серьезно относился к тому, что его ввели с этой целью в алтарь, а я с Марфушей осталась в ожидании его на клиросе. Но мы оба с ним не вполне были удовлетворены нашей первой исповедью у о. Михаила. Мы ожидали от нее слишком много, очень волновались, а о. Михаил задавал нам такие невинные вопросы и скорее экзаменовал нас из закона бож-

его, чем исповедывал. Мы строго постились, ходили на страстной на все службы, а затем после причастия деятельно занялись окраской яиц и разборкой заготовленных подарков всему двору: кумачевых рубашек рабочим, ситца на платья всем бабам во дворе, сообразно их возрасту, платков и лакомств — ребятишкам.

Заутреня, разговенье, пасхальное утро среди очень, помнится, большой дворни, стоявшей без шапок, поздравляя и христосуясь с нами, — все эти картины отчетливо ясны передо мной. И Разумцев, и все наши люди постоянно жалели, что с ними и у них не живут больше хозяева этого имения. Поэтому он постарался особенно торжественно обставить эту Пасху, проводимую в Хмелевке впервые после десятков лет вместе. Были выкачены бочки браги, зажарены бараны, стояли четверти водки. Христосовались без конца, и я уже собралась плакать, до того надоели мне эти троекратные лобызания, эти бороды, щекотавшие лицо! Но прятаться и выражать нетерпение было нельзя... и все эти бородатые лица казались так довольны и счастливы, точно мы представляли для них что-то необыкновенно радостное и, когда мы конфузливо отказывались от кузовов крашенных и расписных яиц, которыми они нас завалили, они так настаивали и упрашивали, что мы должны были уступать их просьбам. Поэтому мы были очень довольны, что Разумцев догадался поставить около нас мешки орехов, рожков, пряников и леденцов, которые мы горстями насыпали в их фартуки и шапки.

V

1873 год. — Хмелевские сказки

С наступлением теплых дней наши прогулки все чаще направлялись к берегу Волги. Величественная, широкая весенним разливом, она, с высокого гористого берега, была обаятельно красива в ярких лучах апрельского солнца, катя свои мутные волны куда-то далеко на юг, к Каспию. А на далеком противоположном берегу, за рекой, уже зеленела низменная луговая левая сторона Волги, сливаясь с далеким горизонтом и уходя в неведомую даль Заволжья, мира дикого, вольного,

широкого, безбрежного, мира иного! Иногда теперь с нами ходил гулять и дядя. Тогда мы с ним спускались крутой тропинкой на самый берег Волги, усеянный по песку крупным железняком и разными ракушками. Мы заходили в Кучугуры, где повесился Яшка, переплывали на лодочке к Большому острову, где в таловой заросли скрывалась от Пугачева семья Артамона Лукича, и дядя, невольно возвращаясь к этим событиям, умел как-то так их вспоминать, точно сам их переживал, почему рассказы его уж никогда не изгладились из памяти. Страсть к сказкам присуща всем детям. С большим интересом слушали мы сказки нянек о Бове-королевиче, Змее-Горыныче, Иванушке-дурачке и пр. Позднее слушали мы рассказы Сюзанны о Золушке и Спящей царевне, читали сказки Гофмана и Гримма... Теперь же, с не менее захватывающим интересом слушали „хмелевские сказки“, рассказы о хмелевской старине. Эти сказки были—„правдой“, герои этих сказок жили в этой самой Хмелевке, и все вокруг еще, казалось, носило следы их былой жизни.

Шахматовы никогда не были знатными людьми, никогда не играли роли в истории и даже, хотя и были дворянами Московской губернии (судя по купчим и документам XVII ст.), пропущены во всех родословных. Как не игравшие исторической роли, они, понятно, не привлекали внимания далеких столиц, перенося свою деятельность и службу на далекую окраину; но в местном крае они сыграли немалую роль и положили немало трудов. Жизнь и служба их была тесно связана с судьбой этого края. Они защищали его от беспрестанных набегов, от „разоренья, грабежа, потрав и обид калмыцких“, от калмыков, кочевавших в степях нагорной и луговой стороны, от нападения кубанских и донских казаков, татар крымских и казанских. Весь край этот еще в XVI столетии представлял собой род движущейся, пламенной почвы: все зачатки культуры беспощадно сжигались и губились дикими кочевниками, волнами набегавшими и смывавшими все, что вопреки этой стихии, создавалось человеческой рукой...

Но, если во главе этих кочевников и не менее диких полчищ становились порой герои песен и народных преданий: Стенька Разин, Пугачев, Донец Булавин и многие другие,

сказочные в своей беззаветной удали, смелости и несокрушимой энергии, то против них выступали не менее смелые, решительные, деятельные люди, сумевшие насадить, закрепить культуру и превратить пожарища и развалины „Рыбного городка" в город Саратов,—столицу Поволжья.

И теперь еще по вечерам плывут лодочки по Волге и слышится голос заунывно запевающий „Вниз по матушке, по Волге!..." Хор мощных голосов подхватывает: „по широкому раздолью, да раздолью..."

Но не вольница казацкая распевает этот гимн Волге, а мирные жители, для которых это катание на лодке—лишь прогулка, развлечение, а не поход с риском положить „буйную головушку" за то, чтобы отнять, быть может, последнее сбережение людей, умевших работать и создавать.

А имена Пугачева, Разина, Булавина и т. п. передаются из уст в уста, от поколения к поколению, в ореоле народных героев.

Московский дворянин, симбирянин, голова у детей боярских и у стрельцов в Саратове,—Тихон Шахматов упорно боролся с калмыцким разорением; принимал участие в перенесении рыбного городка Саратова с луговой стороны на правый, гористый берег; продолжая отгонять и отражать донцов, кубанцев, татар крымских и казанских, нападавших на Саратов уже и на новом месте, на нагорном берегу. Когда пришли вести о взятии и разорении Стенькой Разиным Астрахани и Царицына, Тихон, по настоянию саратовского воеводы Лопухина, выехал со своими стрельцами в степь, чтобы помешать калмыкам соединиться с Разиным. Но уже несколько дней спустя, стрельцы вернулись в город и нашли лишь дымящиеся развалины... „Смерть жен, детей, родных; вопли оставшихся живыми, нужда, голод, разорение жилищ и церквей возбудило единодушные и полные энергии действия, чтобы восстановить порядок в хаосе постигшего город бедствия. Шахматов и дети боярские Ховрин и Слузов приняли начальство над городом. Они подобрали валявшиеся тела убитых среди пепелищ, прекратили еще продолжавшиеся грабежи, оправили некоторые жилища, вал, городскую стену. Действия их были столь решительны, что через 3 месяца после погрома

города, когда в октябре Стенька Разин шел обратно вниз по Волге, саратовцы не пустили его к себе в город и заставили Разина отплыть дальше (1693 г.)". [1]

Этот эпизод из жизни Тихона Федоровича особенно привлекал наше внимание, хотя за ним следовали и другие, все такие же кровавые и тревожные. Не далее как 20 лет спустя, Саратов опять был сожжен и разорен крымскими татарами и казаками. Вновь Тихон, голова стрельцов, громил врагов и гнался за ними далеко в степь; вновь принимался залечивать раны и отстраивать несчастный город, и недаром был жалован и большими землями, и „пансырем с наручьи и с мисюркою, пистолетами и пещалью"—„за многие его службы и взятие многие языки, и за отбой, и за русской полон, и за смерть, и за кровь, и за полонное терпение родителей ево". [2]

Не менее Тихона отличался и сын его Алексей, разделяя с отцом и его деятельность и общее уважение. И он, капитан конных солдат в Саратове, еще при жизни отца был в беспрерывных боях с „воровскими" калмыками, бунтовщиками-башкирцами и казаками, защищая родной город от их нападений, за что был жалован землями, из которых он 1000 десятин по реке Большому Курдюму пожертвовал старому собору, с которых шестая часть доходов шла на ежедневное заупокойное поминание род Шахматовых, и сам он был похоронен в особом склепе собора; тело его опускали в могилу с пушечной пальбой. [3]

За Тихоном и Алексеем шли их потомки, деятельность которых была менее известна и, может быть, менее полезна для края. По всему краю известны были их большие хозяйства, конские табуны, стада, пасеки, мельницы, их крупные посевы, бесконечные покосы, рыбные и зверные ловли. Вокруг Шахматовых кормились и ютились тысячи людей. Жилось этому люду в этом девственном, богатом крае не плохо, о чем сужу не только по рассказам стариков, но и по документам хмелевского архива.

---

[1] Смотри „Исторические очерки города Саратова и его округи" сост. А. И. Шахматовым, под ред. В. Вучетич. Саратов, 1891.

[2] Грамоты 3 февраля 1692 года и 5 марта 1694 г. См. Труды Саратовск. Арх. комиссии 1893 т. IV, вып. 2, стр. 68—69.

[3] Тело Тихона также было положено под левым пределом старого собора в Саратове.

Мне кажется, что мы с Лелей все таки различно относились к этим „хмелевским сказкам". Леля, с свойственным ему уже и тогда „историческим" складом ума, знакомился не только с отдельными личностями и семейными эпизодами, но его интересовала также история всего края, всей эпохи; он связывал „воровских бунтовщиков" с историей России, которая начинала его интересовать превыше всего: от „Бабушкиных уроков" он перешел к Петрушевскому и принимался за Карамзина, далеко опередив в своих исторических познаниях меня застывшую на своей специальности—„Вселенной" Герштекера.

Конечно, и меня интересовали „хмелевские сказки" и все эти предки... но я не могла запоминать, как Леля, наизусть и не путая, родословную цепь: „От Тишки[1]—Лука. Лука роди Артамона, Артамон роди Петра" и т. д. Дядя, видимо, не признавал моих генеалогических способностей, и беседы с Лелей чаще велись помимо меня. Говорили о каком-то „генеалогическом дереве", о „кружках" на родословной цепи, но меня в эти премудрости не посвящали, почему я, еще много лет спустя, сочувствовала недоумению одной старой родственницы, когда она услышала, что ее записали на родословном дереве и что она числится на каком-то листочке или даже „на почке" какой-то ветки, и тогда она, помнится, на это очень обидилась.

Но не следует ставить крест на таких бестолковых девочек. Когда Леля ушел далеко от меня в своем развитии и познаниях, когда он перерос семейные предания и вышел на большую дорогу истории своего народа, а не семьи, я, считавшая себя „по географическому" уклону обязанной интересоваться американскими помпасами, африканскими жирафами и оазисами, вернулась к „хмелевским сказкам". Нет! Рассказы „Вселенной" не захватывали душу. Позже, проверив эти „сказки" по довольно обширному семейному архиву, я составила „Хронику", от которой история России, конечно, не стала интереснее, но им, предкам, было дано подобающее место. Они, наверное, мне за это благодарны, потому что не даром же

[1] Как непочтительно к самому себе подписывался Тихон Федорович в своих челобитьях (1686 г. и др.).

собирали и сами хранили на протяжении 200—300 лет все эти купчие грамоты, челобития и прочие следы своей жизни, не блестящей, но кому-то нужной. И этим я, думается мне, искупила то невнимание, с которым я относилась к военным доблестям и походам Лукичей и Артамоновичей. Гораздо более, в особенности тогда, меня интересовали тюлевые чепцы с оборками, бабочками и бантами, выносимые заботливой ключницей для просушки на двор, как только солнышко стало хорошенько пригревать, и двор покрылся мягкой, зеленой, как пушистый ковер, муравой.

Помимо бабушкиных нарядов, были вынуты из сундуков и шитые золотом камзолы, и невероятно странные, тяжелые, неудобные военные головные уборы, кивера, конногвардейские башни. Я тогда же не прочь была бы узнать владелиц чепцов, салопов и душегреек, вынесенных на солнышко, но увы! Об них-то в „сказках“ мало вспоминалось. Вероятно, все они были домовитые хозяйки, умевшие править большим штатом прислуги и вести большое женское хозяйство. Особенной знатностью не отличались, а были „юго-восточными помещицами.“ Хорошо еще, что знали грамоту и языки. Даже имя жены знаменитого Тихона совсем не сохранилось, так же как и имена ближайших к нему женских поколений.

Вероятно, романов, и даже романических драм, в их среде было не мало, при наличности живых, увлекающихся и несдержанных характеров Шахматовых, иногда проявлявшихся даже в том, что народ просто называет „озорством.“ Зато был убит Александр Артамонович, муж ветреной Натальи Николаевны, изменившей памяти Челюсткина. Жаловалась и просила назначить опеку над старшим сыном Иваном за расточительность Прасковья Ивановна, избегнувшая петли Пугачева. В одной народной песне о Шахматове говорится, что у него случилось несчастьице немалое.

„Как жена-то мужа потеряла,

„Вострым ножичком зарезала...“

В другой песне, мордовской, сообщенной в русском переводе много лет спустя Леле его учителем мордовского языка Учаевым, прадед его—древний старик Учай восклицает:

„Пропала деревушка Эрзяцкие Бурасы,

„Погибла деревушка село Арчилов."

На деревне стоят драгуны, и барин Шахматов, заперев всех девушек в пустую горницу, среди села, заставляет их прясть и, осмотрев ниточки, находит, что всех тоньше и глаже ниточки красивой Натуши.

„Ты, Натуша, будешь моей супруженькой,

„Будешь подруженькой в моем гнезде,"—говорит Шахматов мордовской девушке. [1]

Семейная хроника не сообщает, был ли кто из Шахматовых женат на красивой мордовке. В том-то и горе мое, что в „хмелевских сказках" так мало рассказывалось о бабушках, хотя портреты их, потемневшие от времени, в золоченых, потускневших рамах, висели в конторе Разумцева. Впрочем, то были только „позднейшие" бабушки, конца XVIII столетия: ветренная Наталья Николаевна, добродушная полная блондинка Нечаева, черноглазая, строгая, вся в черном Вышеславцева, и серьезная Черткова. Между ними висел портрет завитого, с коком и в жабо сына ее—Александра Николаевича Шахматова в молодости, последнего представителя старший линии и владельца этой усадьбы, человека крайне доброго, деликатного, слегка меланхоличного, совсем не шахматовского характера. С ним рядом висел портрет пастелью жены его—Людмилы Васильевны. Они оба уже были нашего века—начала XIX столетия. Вместо тюлевого чепца с бантом, у нее была красивая прическа локонами, обрамлявшая длинное нежное лицо, а вместо широкого шушуна, на ней была голубая шаль поверх белого платья, фасона 20-х годов. Глядя на этот портрет, впоследствии перевезенный в Губаревку, я всегда вспоминала тот первый урок, который я тогда в Хмелевке получила за... сентиментальность. Апрель приходил к концу, и в одно чудное утро дядя взял нас с собой в так называемый „Соколов сад", большой яблоновый сад, поодаль от хмелевской усадьбы. Толпа девушек, под наблюдением стариков-караульщиков, подбивала яблони, уже набивавшие цвет. Девушки весело болтали и не переставая, дружно, но визгливо, на высоких нотах, пели хором песни.

---

[1] См. „Мордовский этнографический сборник", составленный А. А. Шахматовым. СПБ. 1910 г., стр. 570.

Мы долго пробыли в саду, пока дядя вел беседы с Разумцевым и садовником. Становилось жарко, а девушки все били да били мотыгами землю, еще сыроватую в лунках, под яблонями.

Невольно мы стали с Лелей соображать, что девушкам наверное очень жарко, что они устали, им надо отдохнуть. Мы подошли к одному из садовых караульщиков, стоявшему с трубкой во рту и наблюдавшему за работой. (Он показался нам добрее других). Леля высказал ему наши соображения, прося его отпустить скорее девушек отдохнуть. Но старичек отрицательно покачал головой и, вынув трубку изо рта, сплюнул, что-то бормоча под нос, потом, взглянув на небо, сказал: „Скоро полдень—обед... тогда и отдохнут."—„Но они устали, им жарко", —пробовала и я настаивать. „Эх, матушка,—обернувшись ко мне ответил старик,—на все время и час. Видно, вы жизни крестьянской не знаете, точь-в-точь супруга покойного барина—Людмила Васильевна. Бывало, приедут из Питера недельки на две и гуляют по солнышку в белом платье под голубым зонтиком. Подойдет к косцам и давай их уговаривать тонким и нежным голосом (и противный старичок стал представлять этот тонкий и нежный голос): „Вам жарко?—Лягте, лягте в тень, отдохните..."

Я покраснела до корней волос, а Леля, еще не совсем потерявший привычки надувать губы „капюшоном", надул их, видимо, совсем не одобряя этот несмешливый тон по отношению к внимательной и доброй Людмиле Васильевне.

Громкий колокол у караулки вывел нас из затруднения: девушки, побросав мотыги, весело приготовились обедать и отдыхать. Но много раз, много лет спустя, когда мне приходилось тревожиться о том, что работающим в саду или же косцам и жнецам—в поле, жарко, что они устали, я вспоминала непередаваемую интонацию противного старика, так критически отнесшегося к вниманию Людмилы Васильевны, не знакомой с суровой жизнью рабочей России. Ее слова: „Вам жарко, лягте в тень", через 40 лет казались этому простому, неизбалованному человеку—верхом наивности и сентиментальности городской жительницы. Этот первый урок произвел на меня сильное впечатление, но понадобилось еще немало уроков, чтобы приучиться владеть своими впечатлениями и не

выказывать чувств жалости при суровых или насмешливых людях. Леля грешил той же „слабостью“ сердца, но менее меня успел в этом направлении: его разжалобить всегда было очень легко.

VI

Софочка

Все сады и куртины были залиты белым цветом, когда мы, наконец, вернулись в Губаревку, после 4-месечного отсутствия. Но здесь нас ожидал ряд совсем не радостных событий. Еще зимой садовник Бодров заявил дяде, что в нашей небольшой оранжерее ему тесно, и он намерен открыть садовое заведение в Саратове. Конечно, дядя был с ним согласен, и теперь, вместо Бодрова, в саду хозяйничал его помощник и ученик из губаревских крестьян—Алексей Никаноров. Впрочем, дело шло у него хорошо. В теплице и парниках всего было много, сады были в порядке, но вдруг оказалось, что Сюзанна не может жить без Бодрова и должна нас покинуть, чтобы выйти за него замуж! Дядя с тетей благословили Сюзанну с Бодровым, и они торжественно выехали, увозя с собой и херр[1] Агасс. Все это произошло и быстро и неожиданно. Пока выписывалась к Оленьке другая немка (Эмма), у нас, помнится, некоторое время прожила Афина Ивановна. То была простая, но воспитанная в монастыре, благочестивая женщина, жена бывшего нашего ключника Ивана Григорьевича Скворцова. Оба не молодые и бездетные, они жили в Вязовке, в своем домике при саде и огороде, и воспитывали мальчика, которого года за два до нашего приезда в Губаревку тетя отдала им на воспитание.

Это был ребенок, которого подкинули тете с дядей в первые годы их семейной жизни, младенцем у подъезда. Тетя очень горевала, что у нее нет детей и тогда взяла этого ребенка, но привязаться к нему не могла. Рыжий, вялый, болезненный и некрасивый Ванюха Воробьев не был симпатичен, и, как только тетя узнала, что и Афина Ивановна горюет о своей бездетности, отдала ей его на воспитание. Афина Ивановна

[1] Господин.

привязалась к смирному и тихому мальчику, как к родному сыну, а позже Скворцовы и усыновили его: Ванюха Воробей стал Скворцом. Но пока—он считался еще тетиным воспитанником, и раза три в год его приводили в Губаревку; тогда нам приходилось выслушивать долгие рассказы Афины Ивановны о его добродетелях. Иван Григорьевич тоже его любил, как отец родной. Сам он был тихий, скромный человек, редкой честности,—ключник или дворецкий, был вполне на своем месте. Он занимал эти должности у нас не раз, но долго не выдерживал, потому что характер у него при этом был придирчивый и подозрительный. Он ворчал тихо, не повышая голоса, но изводящим образом. Он видел во всех—покусителей на охраняемое добро и заводил драмы из-за куска сахара и ложки сметаны. Но, если требовалась экстренно неподкупная честность в каком-либо деле, дядя тотчас же посылал в Вязовку за Иваном Григорьевичем, хотя и называл его „рабом с одним талантом“.

Не успела Афина Ивановна нас развлечь после отъезда Сюзанны рассказами о юности своей в монастыре и о матушке игуменье (рассказы, которые мы давно уже знали наизусть), как вдруг к нам приехал из Петербурга поверенный дяди Александра Федоровича Козена, взыскивать две тысячи, которые ему остался должен папа. Расплатились и проводили его—пришло другое известие, что Одесское благотворительное общество взыскивает с нас 20 тысяч... Оказалось, что кн. Е. К. Воронцова, умирая, завещала этому обществу—20 тысяч, которые папа занял у нее для Долгоруких. Ольга Петровна скончалась, а кн. Алексей Михайлович отговорился полным незнанием: расписки от друзей папа, конечно, тогда не взял! Сохранилась только переписка, подтверждавшая факт этого долга Долгоруких, да многие из родных о нем знали, но человека, не желающего платить долгов, этим не удивишь! И вот был поднят вопрос о продаже Хмелевки; были еще мелкие долги, оставленные папой, и дядя решил очиститься от всяких обязательств в жить на небольшие средства, но покойно.

Лето прошло у нас не весело. Выписанная немка—Эмма, гренадер в зеленой юбке, не представляла из себя ничего ин-

тересного. Летом у нас были каникулы, и только к осени к нам приехала учительница Софья Петровна Репе, чрезвычайно милая, красивая, симпатичная, немолодая девушка. Мы с Лелей оба к ней скоро привязались и называли ее „Софочкой“. Начались опять уроки. Тетя оставила за собой закон божий и французский язык. Мы проходили тогда начатки катехизиса Филарета и читали ей вслух по-французски.

Дядя же, кроме истории,[1] стал нас тогда учить латинскому языку. Боже, как не взлюбила я эти уроки! Но отставать мне от Лели не полагалось... Впрочем, и Лелю не очень-то радовала латынь,—эта долбежка склонений и спряжений наизусть. Помню, как мы уже зимой, в известный час, переходили от себя в „тот дом“ в кабинет дяди, на урок. И когда, случалось, на пути нашем на снегу лежали мохнатые шавки—Зимка и Бутузка, мы с Лелей принимались завидовать их беспечной судьбе.

Много лет спустя, мы не раз вспоминали то чувство, которое заставляло нас им завидовать: и страх перед уроком и отвращение к самому предмету. Каюсь, отвращение к построению латинских слов и к окончаниям на „us“ я сохранила навсегда и всегда жалела о времени, потерянном на изучение этого „никчемного“ (лично для меня) языка.

Я и тогда протестовала, упиралась, но дядя хотел добиться от нас чтения классиков в подлиннике, потому что придавал этому какое-то особенное значение, точно без них—жизнь не в жизнь!

Так прошла вся зима 1873—74 г. Софочка учила меня и музыке, а когда Эмма решила, что зимой в деревне очень скучно, и уехала от нас в город, она занялась и Оленькой и начала ее учить грамоте: у нее на все хватало времени. Она всегда была приветлива, весела, всем довольна, и отно-

---

[1] Не могу не упомянуть что, к апрелю 1874 г. относится первое детское сочинение Лели, написанное им карандашом в толстой тетради в синем переплете, на 175 страницах; полностью титул этого манускрипта, сохранившегося в семейном архиве, таков: „Деревня Губаревка—Шахматовка. Книга I. До Ярослава I. Русская Старина. 23 апреля 1874 г. Составил Алексей Александрович Шахматов“. Вторая тетрадь этого сочинения, написанная Лелей в течение лета этого же года, имеет 178 страниц и носит заглавие „Русская старина. Сочинил 10-летний Алексей Александрович Шахматов“.

силась к тете с дядей, как к друзьям и родным, а не так, как обыкновенно гувернантки: критически враждебно, как „вынужденные жить в чужом доме и заниматься чужими детьми". Зато и дядя с тетей ее очень любили, и зима в Губаревке прошла чрезвычайно мирно и согласно.

Единственным облаком в то время для меня была обязанность не только зубрить целые пассажи из Расина и Корнеля, „с толком, с чувством, с расстановкой", как требовал этого дядя, но мы с Лелей иногда в воскресные вечера должны были выступать в роли Федры, Ифигении и пр. Иногда даже в подобающих, хотя и бумажных, костюмах. Почему-то я возненавидела эти „театры", под критикой дяди и, цепляя одно за другим, этот способ передавать свои чувства...

Не даю даже теперь себе отчета, чем это было вызвано? Леля, и позже любивший декламацию, тогда даже стал увлекаться таким способом выражать чувства с жестами и повышенной интонацией. Я же упиралась: выучить наизусть я еще была согласна, говорить с Лелей „чужими" словами тоже... Но придавать голосу драматизм, выражать „выдуманные" чувства: горе, негодование, радость, испуг,—да еще деланно красивыми жестами, забывать, что я—я, было сверх моих сил! „Неспособность к театральному искусству",—утешала Софочка. „Ничего в ней нет артистичного, поэтичного!"—ворчал дядя. О последнем я и не мечтала, но тот протест, который зародился во мне с тех пор, что дядя посулил мне немца-мыловара в женихи, стал разрастаться, и мне просто из духа противоречия стало не нравиться именно то, что нравилось дяде, и наоборот; дядя был масон; дядя был вольтерианец; дядя был поклонник запада XVIII в. и французских классиков. Со слезами на глазах он читал Руссо, Гюго, Расина, Ламартина, восторгался стилями Людовиков XV и XVI, подстриженными аллеями Версаля и неотразимыми m-mes Гриньан, Севинье, Монтеспань, Лафайет и пр. И с тех пор я исподволь стала все это ненавидеть: фижмы, мушки, кринолины, пудру, парики, всякую аффектацию, все неестественное, выдуманное, театральное и вычурное...

Понятно, что в сравнении с тем красивым, изящным миром Парижа XVIII в., современный мир, „мещанский", раздражал

дядю. Но прав ли он, начинала я критиковать, вероятно, задетая тем, что мне так далеко до этих изящных дам!

Да так ли уж чудесен этот быт, который довел Францию до края гибели, до авантюры корсиканца, которого я не хотела признавать за гения, считая более чем бесцеремонной ту „прыть", с которой он раздавал престолы Европы своим родным.

Нет, видно, во мне притаилась какая-нибудь татарка или „юго-восточная бабушка", для которой классики, Версаль, Трианон, вся эта жизнь, которой так восторгался дядя, казалась искусственной, забавной и просто смешной. Так заволжский пастух, в своем суровом складе жизни, привыкший к своим безбрежным степям, перерезанным быстрыми речками и к глубоким затонам реки, вряд ли понял бы прелесть каскад, горок, стриженных деревьев и прочих курьезов искусственной природы Версаля, а барашки в бантиках и пастушки в буклях и на высоких каблучках показались бы ему просто смешными.

Весной, еще до Пасхи, мы должны были сдавать экзамены. Софочка волновалась не менее нас, но все предметы были сданы нами вполне благополучно, хотя экзаменаторы наши были очень серьезные (тетя с дядей), а для пущей важности был приглашен наш батюшка о. Григорий Александрович Вязовский. Только за уроком закона божия Леля запнулся в вопросе о 10-ой заповеди. Перечисляя предметы зависти, он произнес: „Ни кота его"... и так сам смутился, что горько заплакал. Но его скоро утешили, потому что на все остальные вопросы он отвечал превосходно, даже из латинского языка. И мне тоже удалось, не сбиваясь, пробормотать сквозь зубы: panis, piscis, crinis, finis.

По окончании экзаменов нам были выданы на руки красивые аттестаты с подписями и печатью. Говели мы на Страстной того года в Вязовке у о. Григория Александровича. И говение, исповедь, и все службы с двукратными поездками ежедневно в Вязовку, и заутреня, и возвращение домой, тихой теплой ночью, и разговенье, христосование,—все было проникнуто для нас обоих необычайным подъемом духа.

Наступившее лето 1874 г. также прошло для нас мирно и покойно. Но в июне Леле минуло 10 лет, и дядя все чаще стал поговари-

вать о необходимости поступить ему в учебное заведение. Почему-то был намечен Катковский лицей в Москве. И латынь-то мы зубрили по программе этого лицея по особенному лицейскому учебнику. Но теперь, когда мы выбрались из грамматических дебрей и принялись за переводы Цезаря и Корнелия Непота, латинский язык уже не был столь „отвратный“. Летом дядя, дав нам каникулы, все же часа два посвящал нам на изучение греческой мифологии вперемежку с чтением Плутарха и Геродота, Иллиады и Одиссеи.[1] Медленно, очень медленно, я лично стала проникаться красотой героев древности (но не латинского языка), по очереди влюблялась в Алкивиада и Александра Македонского, зачитывалась Элладой, и с головой уходила в этот прекрасный, древний мир. Я увлекалась им уж более Лели, который все-таки упорно вертелся вокруг Рюрика и начал писать Историю России, находя, что Карамзин плохо разобрал вопрос о происхождении начала Руси: „Откуда пошла Русская земля“. Постоянные трактаты его о Рюрике мне тогда просто оскомину набили. Я противопоставляла ему „своих“ героев древней Эллады. Но Леля к ним был довольно равнодушен, называя мифологию древних—фантазией, подобной сказкам наших нянюшек. Как бы то ни было, и что было фантастичнее: мир Олимпа или сказки Геродота о древних скифах (столь увлекавших Лелю), но, к счастью моему, Троя и Плутарх оторвали меня, наконец, от бессмысленного писания „географии“ и сдвинули меня тогда с „географического уклона“. „Моя география“—сочинение, начатое мной одновременно с „Историей России“ Лели, заключала в себе винегрет всевозможных сведений как географических, так и просто практических. Географические были вроде тех „истин“, что все города по левому берегу Волги—женского рода, а по правому—мужского; что начальные буквы названий—Курляндии, Лифляндии, Эстляндии и Финляндии образуют французское слово clef, т.-е. ключ к России и т. п. Далее шли выписки из путешествий и путеводителей, а то и просто из учебников географии, вперемежку с приметами о погоде, с рецептами мазурки и розовой пасхи, средствами от ожогов, лихорадки, чемера лошадей и пр.

[1] В переводах на французский язык.

Леля качал головой, перелистывая „Мою географию" и никак не мог понять моей психологии. Быть может, и я ее не вполне постигала, но объяснение мое в оправдание свое было строго научное, уверяла я его: мировые катаклизмы повторяются. Ergo—может повториться потоп. Может повториться и нашествие Аттилы. Вся культура может быть, смыта или водой или дикими кочевниками. И, кто знает, быть может, чудом сохранится в общем катаклизме именно эта синяя незначущая тетрадка моя, и по ней народы будущего, отделенные от нас веками, смогут восстановить название рек и городов, уже исчезнувших с лица земли, и узнать степень развития обитавших в тех странах жителей... до рецептов кушаний и лекарств включительно.

В середине лета нас посетила своя катастрофа, ставшая обычной у нас. Софочка огорчила нас известием, что откуда-то, очень издалека, возвращается ее давнишний жених Окулов, которому она долго, долго была верна, и затем вскоре в июле она уехала к своей семье в Саратов, где тетя с дядей ее благословили и повенчали.

Дядя с тетей в то лето часто уезжали в Саратов и подолгу там заживались. Дядя получил причитавшуюся ему небольшую сумму доплаты по разделу, тетя продала на сруб лесной участок в своем новопольском лесу, и на эти деньги был куплен дом, на углу Ильинской и Константиновской улиц, рядом с домом Михалевских. Досчатый с щелями забор отделял их сад от сада этого дома.

Чтобы утешить нас после отъезда Софочки, нас выписали в Саратов, посмотреть на дом. Еще не в приборе, он нам совсем не понравился. Еще менее понравился сад с запыленной сиренью и акацией, и город, вообще,—в знойный июльский день.

Трещали извощики по мощеным улицам, певуче выкрикивали бабы с мочеными яблоками в ведрах на коромысле через плечо, особенно печально вытягивая слово—„яблы-ык"... Саратовские „демократы"[1] все ходили в белых и желтых разлетайках и балахонах, а тучи пыли густо укутывали город. О, каким эдемом рисовалась нам тогда Губаревка, со своими

[1] „Город Саратов, город добрых демократов",—стоит в одной песне.

ключами, бившими ледяной струей из земли, тенистым парком, садами полными цветов, прохлады и аромата...

Но дядя с тетей стоически выносили эту жизнь в Саратове, ремонтировали и мебелировали дом, и, когда в начале октября дом был готов, мы переехали зимовать в Саратов. К нам были приглашены учителя из Саратовской гимназии: Потапов, Лебедев, Побаевский, помню я. Сверх того у меня были уроки музыки в консерватории у Пашковского. Были и коллективные уроки английского языка с Трироговыми у мисс Партен, французского языка с Михалевскими у m-elle Барбье, и уроки танцев у них же, каждое воскресение. Эти последние уроки, конечно, были самые интересные. Леля выказывал большую неловкость, отчасти деланную, вызванную конфузом. На эти уроки приезжали и сверстницы: Адель, дочь начальницы Саратовского института—Ольга (Максимовна) Рейтерн, Машенька (княжна Мария Владимировна) Щербатова, маленькая Елагина (Ольга Петровна) с своей неизменной, верной до гроба мисс Гутч. Елагина была живая, хорошенькая девочка, но Леля почему-то придирался к ней и уверял ее, что она „кринолин“, выражение из нашего словаря, означавшее—кокетство и жеманство. Елагина никак не могла понять, почему она—кринолин.

Из мальчиков, кроме Володи и Алеши, бывал только Петя Немирович-Данченко, завсегдатай, живший напротив, в сером флигельке; и только изредка появлялся Саша Нейперт (Александр Николаевич), товарищ Володи, который с осени поступил в местную классическую гимназию. Все эти вечера у Михалевских и катанья с Трироговыми в санях доставляли нам большое удовольствие, и мы весело провели праздники вместе. Так бы и продолжать эту жизнь, но дядя настаивал на том, что Леле пошел 11-й год, и пора его отвезти учиться в лицей! Разлука, первая разлука в жизни, приближалась... Отъезд в Москву был назначен после праздника.

VII

1875 год.—Поступление в Креймanскую гимназию

3 января дядя телеграфировал в Москву, директору лицея Леонтьеву, спрашивая, принимают ли детей среди учебного

года, в 1-й класс. Ответная телеграмма уже сулила всю ту тоску, которая всегда вызывала во мне латынь: „Принимаются дети, знающие из латинского склонения существительных очень твердо". Как будто, кроме латыни, не существовало других предметов... да еще поважнее! Но такой ответ нисколько не смутил дядю, и начались сборы в Москву. Дядя, с осени выбранный саратовским уездным предводителем, не мог отлучиться, и было решено, что тетя сама повезет бедного мальчика. Дался дяде этот лицей!! Точно нельзя было учиться в Саратовской гимназии, вместе в Володей? Я и плакала, и возмущалась, и уговаривала Лелю решительно провалиться на вступительном экзамене по этим склонениям существительных, но меня никогда не слушали. Как помню я лелин отъезд 23 января! Парные сани уже стояли у крыльца, багаж уже был вынесен и уложен в санках, ехавших с Антипычем вперед, а Лелю все еще нельзя было вывести из гостиной, где он, всхлипывая, прощался и целовал всех родных и прислугу, собравшихся его провожать. Когда же он подошел к Адель, она, быть может, чтобы скрыть свое волнение, молча отвернулась от него: „Де-е-личка!", с невыразимым горем воскликнул он сквозь слезы.

Тетя взяла его за руку и уговорила ехать. Мы потом еще долго не могли забыть этого возгласа полного упрека: „Деличка!"—и обвиняли маленькую кузину в холодности.

Оленька, зарывшись с головой в подушку, плакала до тех пор, пока ей не сказали, что она ослепнет...

24 января, в 7 часов вечера тетя с Лелей приехали в Москву и остановились в гостинице „Лондон". На другой день тетя взяла на весь день карету и сперва поехала с Лелей к своей старшей сестре Софии Николаевне Есиповой. Муж ее—Григорий Васильевич Есипов заведывал архивом Министерства императорского двора, и у них была большая казенная квартира в Кремлевском дворце. Есиповы очень родственно приняли и обласкали Лелю; на душе ему как-будто стало легче. От Есиповых поехали к Трескиным, в Трубниковский переулок.

Владимир Апполонович Трескин был нотариусом, а Наталья Васильевна, жена его, была институтской подругой и приятельницей тети, с которой она с самого института была в

постоянной переписке. Она приняла тетю с такой радостью и так заговорила ее, что тетя опоздала в этот день к Леонтьеву. „Первая неудача“,—замечает тетя в своем письме к дяде 27 января 1875 г. На другой день, в воскресение, тетя поехала прямо к Леонтьеву, но он не принял ее, и лакей его сказал, что его можно застать только в лицее от часу до четырех. „Вторая неудача“,—замечает тетя в конце того же письма. В понедельник тетя поехала в лицей в половине второго. Швейцар объявил, что Леонтьев уехал на Остоженку, где строится новое помещение. Эта третья неудача совсем рассердила тетю, потому что на визитной карточке своей, накануне, она предупреждала Леонтьева о цели своего приезда, а Григорий Васильевич сказал ей, что многие очень дурного мнения о лицее и хвалят частную гимназию Креймана. „Леля со мной вместе волнуется, —писала тогда тетя,—и ему скучно без дела, но Софи с Григорием Васильевичем в восхищении от него, говорят с ним, угощают его и едой, и картинами, и книгами“...

Колебание тети вызывало обмен телеграммами. Дядя советовал не верить „Москве“—в одной телеграмме; привести Лелю обратно в Саратов—в другой.

Тетя стояла на своем. В очень длинном письме к дяде от 31 января она подробно описывала, какое отрицательное впечатление произвел на нее лицей: „О лицее Катковском я очень дурного мнения осталась потому, что я лично сама с Леонтьевым ходила в дортуары, классы, рекреационные залы, столовую, и все виденное мною сделало на меня дурное впечатление. Леонтьев повел меня по дортуарам старшего класса—и то гадко, но я его попросила показать мне именно тот дортуар, куда он положит Лелю. Он меня повел в преисподнюю по каменному полу. Запах—невыносимый свежему человеку. Когда я начала выспрашивать: „Вся Россия против вашего заведения; говорят, у вас бьют учеников; они тратят деньги на прихоти?“ Он отвечает громким смехом и говорит: „Да! У нас есть наказания, иногда секут“. Я спрашиваю: „А кто же исполняет это?“ Он: „Я сам“. Я говорю: „Я нахожу, что детям не нужны карманные деньги в руках иметь“. Он: „Отчего же? Иногда мальчик хочет полакомиться или угостить товарищей“. И все это со смехом и равнодушием. Леонтьев горбатый, маленького роста,

белокурый, в очках, желчное лицо. Мальчики в разных платьях и некрасивы на вид. В столовой запах—смесь сапогов с кушаньем...

Об учении я не могу сказать также ничего утешительного и т. д.“

В противоположность лицею тетя описывает Креймансную гимназию: „Была поражена входом. Чистота, порядок. Приехала я также в час завтрака. Пригласили меня в приемную,—вышел сам Крейман“... Когда тетя подробно объяснила ему, что привело ее к нему, он сказал: „Лицей действует без контроля. Вместе с тем у Леонтьева и Каткова даже интересы не связаны с исполнением добросовестно их обязанностей, т.-е. они все жалование получают, и люди ни перед кем не ответственные, а я—даю отчет совету и веду дело сам. У меня есть два помощника, преданные мне, один живет 13 лет, другой 10 лет. Мои интересы личные связаны с этим делом“... и т. д.

Тете показали все заведение. „Дом на высоком месте, освещен солнцем. Дортуары большие, высокие; вентиляция в каждом из них, классы еще выше. В столовой, большой, светлой комнате, был накрыт стол. На каждом приборе лежала большая котлета с макаронами и еще что-то; около—кусок черного хлеба, салфетка хорошо сложенная, как следует“... Крейман представил свою супругу, которая с двумя дамами и лакеями продолжала накладывать и подливать соус на все тарелки. Ровно в 12 часов попарно вошли ученики, все одинаково одеты, по форме, и, проходя, каждый кланялся... Словом, тетя была в восторге и от всего строя, и от самого помещения в великолепном доме Самариной на Петровке, против мужского монастыря и рядом с большим садом Фомина, которым ученики пользовались летом для гулянья, а зимой—для катанья с гор и на коньках. Описав все это подробно, тетя заключала: „Впрочем, конечно, твое решение, ангел мой дорогой, для меня всегда свято, и мило, и дорого. Будь покоен, мы живем здесь у Софи покойно, хорошо, она счастлива, что я у нее остановилась, Лелю балуют, он как сыр в масле катается. Григорий Васильевич, когда узнал, что я получила от тебя разрешение не помещать Лелю в лицей, сказал: „Я не

смел отговаривать, но очень рад, что я могу переменить свое решение, потому что это самое безнравственное заведение, какое может быть—это всеобщий говор „Москвы“, у которой лицей на носу. Прочти все со вниманием, обдумай и решай, как знаешь“...

В ответ на это письмо тетя получила телеграмму от 3 февраля:

„Письмо получил, верю тебе одной, целую, благословляю Лелю к Крейману, благодарю Есиповых за теплое участие, радушный прием. Не торопись“... Тетя же телеграфировала 5 февраля: „Леля выдержал экзамен хорошо. Завтра окончательно поступает Крейману 9 часов утра“... Итак, 6 февраля 1875 г. Леля поступил в 1-й класс Креймановской гимназии. Дядя поздравил его телеграммой: „Сестры и я мысленно обнимаем и поздравляем с поступлением в гимназию Креймана. При твоем уме и самолюбии за науку твою я не боюсь. Благословляю, друг мой. Но прежде всего надо быть добрым товарищем, любить, уважать и гордиться заведением, где воспитываешься. Читай депешу как молитву, каждый день, пока не поймешь чего хочу. Алексей Шахматов“.

Первые письма Лели от февраля и марта 1875 г.были написаны еще детским почерком, на французском языке и с ошибками. Он еще не умел владеть своим слогом и жаловался, что не может „горячими словами выразить на бумаге те горячие чувства любви и уважения, которые наполняют его сердце к дяде и тете“. Эти первые его письма полны тоски и грусти.

Ему казалось, что прощание с тетей на глазах у Франца Ивановича Креймана было так сухо, что, когда он в субботу пришел в отпуск к Есиповым, ему стало еще грустнее, так как он не застал тети, с которой он прожил у них две недели. Но в гимназии ему было хорошо, „хотя,—замечает он,—я бы увидел много горя, если бы с первых же дней у меня не явился покровитель, ученик 2-го класса Александр Всеволожский“, который стал его защищать от врагов и подобрал ему хороших друзей среди товарищей его класса: Голяшкина, Барсова, Свечина, Поповицкого; также и во 2-м классе—старшего Всеволожского, Шиловского, а в приготовительном—Трубецкого, Уварова, Дурницкого и др. Но врагов Леля насчитывал до 70 (!). Поста-

влял их, главным образом, приготовительный класс. „И меня били бы каждый день, если бы не мой покровитель Александр Всеволожский, пользующийся большой любовью всей гимназии“.

К счастью, многочисленные враги Лели стали быстро таять: Леля не „фискалил“, не жаловался учителям, когда они давали ему прозвания „подпольного аристократа“ или „актрисы большого театра“, и старался, несмотря на свою вспыльчивость, терпеливо выносить их приставания. „Врагов стало совсем мало“,—писал он дяде, а к числу друзей прибавились: Титов, Монахов, Смирнов, Михельсон, Латышев, Лавровский, а в приготовительном: Голиков, Баршев, Хомутов и мн. др.

В письме к тете от 1 марта Леля перечисляет и своих учителей: самый страшный—учитель латинского языка Шварц; умный учитель французского языка, „даже написавший книгу“— Керков; учитель немецкого языка, тоже написавший книгу,— Линде („теперь я люблю немецкий больше прежнего“); учитель руского языка—Штарк, очень строгий; учитель арифметики— Энгельбрехт; учитель закона божьего—протоиерей Добров. Географию преподавал сам Франц Иванович, учителем рисования был Александров.

Каждую субботу Франц Иванович громко читал отметки учеников. В субботу 1 марта оказалось, что 28 учеников из 40 получили единицы, почти все остальные были награждены двойками. „Когда черед дошел до меня, Франц Иванович говорит: „Посмотрите, Шахматов уже учится здесь месяц, еще двоек не получал... Не стыдно ли вам всем получать единицы?“ И обернувшись ко мне: „Старайтесь, Шахматов, старайтесь“...

VIII

Продажа Хмелевки

На масляницу (18—24 февраля) Есиповы взяли Лелю к себе на всю неделю, и он очень приятно провел эти дни.

Тетя была очень довольна, что тетя Софи, когда-то бывшая ее опекуншей и сохранявшая в ее глазах ореол старшинства, (будучи на 17 лет старше ее), теперь так полюбила Лелю и находила его „восхитительным“...

Тетя Софи напоминала тетю и наружностью и особенной гордостью и прямотой характера. Но в тете никогда не было и тени малейшей спеси или слабости к grand monde,[1] тогда как тетя Софи очень любила говорить про двор, про Виельгорских, Веневитиновых, Бутурлиных и поддерживала кое-какие связи с московской знатью...

Держалась она всегда очень прямо и важно, весь строй ее дома был чинный. Казенная квартира в Кремлевском дворце была громадная с окнами на зубчатые стены Кремля. Люди ее— серьезные, почтительные, благообразные: все, начиная с Ольги Аркадьевны, ее неразлучной, добрейшей камер-юнгфрау, в подобающем плоеном чепце, и кончая отставным солдатом Тюриным—истопником и на посылках, были всегда любезны и вежливы. Григорий Васильевич, тогда уже немолодой, был необыкновенно интересный, разносторонне-образованный человек, страстный любитель истории, старины, древнего искусства, автор многих исторических трудов и заметок.

Леля встретил в нем живейшее участие и чисто дружеское отношение. Старик познакомил его со многим замечательным в архиве и проводил с ним целые вечера в беседах на любимые ими обоими темы.

Не менее милым, образованным, интересным был и сын Есиповых—Николай Григорьевич, по годам своим—сверстник тети. Он служил в судебном ведомстве.

Была у Есиповых еще дочь—Александра Григорьевна, но в то время она уже была замужем за Василием Александровичем Олсуфьевым. Она унаследовала от отца талантливость, рисовала портреты, была музыкальна, писала стихи, изучала литературу и, вообще, была очень умна, а ко всему еще красива и изящна. Тетя Софи ее боготворила, но Александра Григорьевна не была нежной дочерью и имела против матери какие-то глубоко засевшие обиды, с тех давних пор, когда мать и гувернантка ее m-elle Сесиль Менетре ее наказывали. Позже тетя Софи не одобряла ее брака. Она была замужем за дважды-вдовцом, за человеком гораздо старше ее, и падчерицы ее (от Ребиндер и Ливен) были чуть ли не старше ее.

[1] Большому свету.

Но Александра Григорьевна была очень самовольна и честолюбива. Муж ее обожал, и она очень счастливо жила со всеми детьми (всего у В. А. Олсуфьева было 12 человек детей), с мужем в его большом доме на Девичьем Поле, окруженная роскошью, жила открыто, и когда молодые люди, говорят, попадали в этот дом, то трудно было не потерять головы.

Постом Леля продолжал писать о своей гимназии. В письме от 30 марта он сообщал, что стал первым учеником. Это вызвало неудовольствие некоторых товарищей, и особенно серьезными врагами казались ему—Крейман, племянник Франца Ивановича, и еще двое. „Они хотят, чтобы я совершил какой-нибудь дурной поступок, чтобы донести о том Францу Ивановичу"; но пока это им не удавалось. Что же касается прочих учеников, то все они стали его друзьями, а не только товарищами, но, конечно, более всех он любил Всеволожского. В разговоре с ним, между прочим, оказалось, что пензенский воевода Всеволожский, погибший во время взятия Пензы Пугачевым,—Всеволод Андреевич был его предок, а так как в кабинете дяди в Губаревке среди портретов висело два портрета Всеволожских (воевода Всеволожский был женат на сестре прабабки нашей Нечаевой), Леля тотчас же поручил мне снять копию для Александра Всеволожского.

Леля часто писал и нам, сестрам, но эти письма его погибли. Дяде он писал по поводу количества полученных писем: „Я счастливее вас, получая письма: у вас не хватает одного члена (семьи), а мне целых четыре!.." и очень настойчиво требовал, чтобы мы, сестры, ему чаще писали.

Я продолжала без Лели свои занятия с учителями—Побаевским, Лебедевым, Потаповым. По-латыни переводила все еще Корнелия Непота и должна была обещать Леле не отставать от него. Уроки с мисс Партен и музыка в консерватории у Пашковского куда были занимательнее.

С приближением Пасхи был поднят вопрос о том, чтобы привезти Лелю на пасхальные каникулы домой. Но почему-то этот приезд не состоялся. На страстной Есиповы взяли его опять к себе. Он стал говеть с тетей Софи в дворцовой церкви. „Как это мне напоминает Хмелевку, когда Женя, Марфуша и я ежедневно ходили в церковь",—писал он в своем последнем

письме этого периода—9 апреля 1875 г. В этот день, первый день Пасхи, он написал все необходимые поздравительные письма (операция очень нелегкая и повторяемая два раза в год, по настоянию тети с дядей, нелегкая, потому что требовалось большое внимание, чтобы не было ошибок, помарок, клякс). Он написал тете Натали в Саратов, тете Ваве в Кострому, Вучетич и Граве в Одессу, Ширковым в Хатню, тете Ивановой в Солнцево. Он чувствовал себя хорошо. Но после обеда, играя игрушками, прилег на диване, чувствуя себя усталым. На щеках высыпала сыпь. Тетя Софи сейчас же уложила его в постель, а утром на другой день доктор определил, что у него корь.

Болезнь протекала нормально, но Леля стал тосковать, плакать, и с ним начались какие-то нервные „истеричные" пароксизмы.

Приглашенный специалист по детским болезням Тольский и лейб-медик Юргенс, навещавший Лелю два раза в день, заявили, что такая болезнь бывает так редко, что у Тольского, практиковавшего много в своей жизни, был всего один случай. Опасности все же не было. Вызвали эту нервную болезнь и разлука с семьей, и слишком много новых впечатлений.

Ежедневные телеграммы тети Софи все время успокаивали нашу тревогу, но, когда 18 апреля она телеграфировала: „Опасного ничего нет, приезжай, он просит", тетя, не медля, выехала в Москву. Приезд тети успокоил Лелю. У него были пароксизмы истерики с большими промежутками, во время которых он крепко спал. „Будь покоен, друг мой,—писала тетя дяде, —мы уж выходим Лелю. Во всяком случае я его здесь не оставлю, привезу с собою, попрошу Креймана самого приехать и лично сказать Леле, что в виду его растроенного здоровья он будет держать экзамен в августе... Между пароксизмами Леля весел, говорит много, ест отлично..."[1]

Тем не менее пароксизмы в известные часы продолжались. Тогда тетя послала за доктором Кожевниковым, специалистом по нервным болезням.

К сожалению, письма тети после 23 апреля не сохранились, и результата визита Кожевникова я не помню. Знаю только,

[1] Письмо от 23 апреля 1875 г.

что пароксизмы становились реже и, наконец, прошли; но экзамены Лели были отложены до августа, и тетя стала хлопотать о репетиторе на лето.

2 мая дядя получил телеграмму тети: „Согласен ли взять учителя с женой готовить в 4-ый класс гимназии. Жена, швейцарка, десять лет жила в одном доме, рекомендация прекрасная. Тысяча рублей в год“. Ответная телеграмма дяди была полным согласием. Еще бы! Леля будет учится д о м а до 4-го класса!

Получив согласие дяди и условившись с Ясиевичами, тетя 3 мая выехала с Лелей в Губаревку, где мы ожидали его с невыразимой радостью. Вообще, наступление весны в том году и переезд из города в деревню показался мне верхом блаженства и счастья. Благополучно прошедший мой публичный экзамен в консерватории, знакомство с прелестной старушкой Прасковьей Димитриевной Левашовой, похитившей меня с разрешения дяди, прямо из залы Дворянского Собрания, где происходил экзамен, к себе, чтобы представить сестре своей В. Д. Бистром, встретивший меня, как самую близкую родную, и на другое утро, в конце апреля, переезд в Губаревку, где весна уже вошла в свои права, зеленели нежными листочками березы на фоне еще темного леса, и воздух был полон ароматом земли, прелого листа, разбухших почек, а вечерней зарей уже запевали соловьи... Это было такое счастье, такая красота, пронизывающая всю душу, что за ним я проглядела то огромное несчастье, которое надвинулось тогда на нас. В апреле Хмелевка была окончательно запродана саратовскому купцу М. М. Масленникову. Продана была она, по общему мнению, слишком дешево, за 104 тысячи, но долг Воронцовой с натекшими процентами,—всего 24 тысячи,—был погашен в первую голову. Не раз думалось мне, что и эта продажа его Хмелевки сильно подействовала на Лелю, потому что окончательное решение ее п р о д а т ь стало ему известным перед самой болезнью, и недаром вспоминал он наше говенье в Хмелевке. Я знала, что он особенно болезненно относился к тому, что он не может помочь дяде выпутываться из долгов и удержать имение стольких поколений, благодаря Долгоруким. Поэтому я упорно умалчивала в своих письмах к нему, что Разумцев выслал из Хмелевки в Губаревку архив, порт-

реты, образа. Привезли сундук с бабушкиными салопами и чепцами, 8 пушек на зеленых лафетах, забытых пугачевцами в Хмелевке в „злодейское замешательство". Притащился Любим; точно понимая в чем дело, он не побежал с обратными подводами в Хмелевку. Жалобно поглядывая на окружающих, он отказывался от пищи и вскоре заснул вечным сном...

IX

Ясиевичи

В 20-х числах мая 1875 г. приехали к нам Ясиевичи. Она—швейцарка, та m-elle Сесиль Менетре, которая, прожив у Есиповых 5 лет, дрессировала самовольную и гордую дочь тети Софи так, что Александра Григорьевна Олсуфьева не могла ей простить много лет спустя. Затем она 10 лет прожила у московских Трубецких, в семье Сергея и Евгения Турбецких. Там встретилась она с их гувернером Александром Петровичем Ясиевичем и вскоре стала m-me Сесиль Ясиевич.

Живой, умный, но очень вспыльчивый Александр Петрович Ясиевич любил себя называть малороссом, хотя был поляк. M-me Сесиль, значительно старше его, разумная, уравновешенная женщина, видимо руководила им. Александр Петрович совсем не говорил по-французски, m-me Сесиль почти не говорила по-русски. Это не мешало им понимать друг друга, тем более, что в случае несогласия m-me Сесиль отлично, хотя и на ломаном языке, умела подбирать русские, даже крепкие слова.

С их приездом для нас настала блаженная пора. Часы учебных занятий были значительно сокращены, и мы особенно занялись только русским языком, который, вообще, у нас хромал. До завтрака мы писали сочинения и диктовки, после завтрака мы стали знакомиться с руссими классиками. Мы начали с Гоголя.

Наша классная теперь была перенесена в „тот дом", а кабинет дяди—в большой дом, в комнату с окнами на террасу и балкон, сначала бывшую под детской. Классная, с шестью стрельчатыми окнами, оттененными маркизами, высокая, громадная, была лучшей комнатой в доме. Обыкновенно, чтение начинали мы с Лелей попеременно, но так как мы читали, как дьячки,

Александр Петрович вырывал у нас книгу и принимался сам читать с таким увлечением, что мы слушали его, затаив дыхание. Проведя детство и молодость в богоспасаемых Кобеляках, Конотопах и пр., Ясиевич, читая, постоянно останавливался, чтобы повторить и глубже закрепить в нас дивное представление о Малороссии.

„Украинская ночь... нет, вы не знаете, украинской ночи!"— начинал он, и мы должны были всеми фибрами души понять и проникнуться тем, что̀ такое южная, темная украинская ночь. Мы должны были ясно представить себе безбрежное приволье ковылевых степей под копытами коней Остапа и Андрия, полюбить белые хаты в вишневых садочках и чернобровых дивчин с красными, пышными маками в темных волосах.

Когда же мы дошли до галушек и вареников старосветских помещиков, Александр Петрович, вообще, любивший покушать, понижал голос от восторга: ведь, ни один повар в мире не смог бы сготовить что-либо подобное! Не даром же Петух так подолгу беседовал со своим поваром. Ясиевич чмокал губами, щелкал языком и закрывал глаза. Но случалось, что вдруг в такие минуты восторга, резким диссонансом раздавался голос m-me Сесиль. На диване, в другом конце классной, с работой в руках, она учила Оленьку вязать. В детском соломенном креслице, в белом фартучке, Оленька неловко и неохотно шевелила крючком. „Voulez vous bien tirer la maille, mademoiselle Olga! Mais avancez donc! Entêté mulet"[1]. Дремавший под столом щенок, сеттер Корсар, просыпался, вскакивал и спросонья, начинал неистово лаять. Александр Петрович вспыхивал, с отчаянием бросал книгу, хлестал щенка, просил m-me Сесиль убираться в детскую; m-me Сесиль, краснея пятнами, сердилась на мужа и ломаным русским языком выговаривала ему его горячность, а под конец сама вскакивала и, хлопая дверьми, удалялась из классной. Тогда Оленька, забросив работу, мгновенно оживала и убегала в сад. После того m-me Сесиль долго аукала ее по саду, но в малиннике или густой заросли вишен было слишком хорошо и „вкусно", чтобы откликаться.

[1] „Вытянете ли вы, наконец, петлю m-lle Ольга. Двигайтесь же! Упрямый лошак!"

После того супруги дулись друг на друга. Но это не мешало m-me Сесиль на следующий же день опять сидеть на диване в классной, уверяя, что она любит русских авторов, и ворчать, хотя и понижая голос, когда работа выпадала из рук Оленьки, не желавшей выделывать point tunisien.[1]

С громадным удовольствием прочли или прослушали мы „Первую любовь“, „Рудина“, „Дворянское гнездо“ „Накануне“.[2]

Ясиевич также увлекался, и его энтузиазм передавался нам. Но, когда мы принялись за „Записки охотника“, и он, подчеркивая поэзию охоты, особенно восхищался описанием тяги по зорям, я осмелилась скромно заметить, что хотя Тургенев и мастерски описывает природу, но поэтизирует охоту совершенно напрасно: губить неповинную куропатку или перепелку — совсем не поэзия, а жестокое убийство. Страстный охотник Ясиевич принял мое замечание за личную обиду и принялся на все лады высмеивать сентиментальную жалость к „зайчикам и птичкам“. Слово за слово, я себя в обиду не давала, каждый из нас горячо отстаивал свою точку зрения. Спор этот возобновился и в следующие дни. Чтение „Записок охотника“ было прервано; Ясиевич счел меня недостойной их слушать, и с этих пор между нами установилась постоянная пикировка. Задевал первый Ясиевич и довольно саркастически. Я сперва осторожно, а затем и совсем без стеснения стала ему отвечать так, чтобы не чувствовать себя в долгу. Он горячился, чуть ли не ломал стулья, а я начинала находить удовольствие вызывать в нем возмущение „узостью“ своих взглядов и „определенностью“ своих мнений. Впрочем, это не мешало нам после уроков, дружно, после обеда в 5 часов уходить в походы, далеко за пределы парка, где мы до тех пор обыкновенно гуляли, редко переходя даже за пограничные канавы. Всего на растоянии 5—6 верст от усадьбы, в лесистых горах были такие виды, что m-me Сесиль их сравнивала с Швейцарией. Она не только приходила от них в восхищенье, но постоянно любовалась и всей Губаревкой, и природой, вообще. За каждой прогулкой она собирала огромные букеты полевых цветов, и, прекрасно зная ботанику, постоянно учила нас названию цветов.

[1] Род вязания.

[2] Сочинсния И. С. Тургенева.

Эти названия запомнились мною на всю жизнь. Леля менее меня увлекался этими „естественными науками“, бывшими продолжением „географических“, но находил также большое удовольствие в этих прогулках, и просидеть дома вечернюю зарю, после обеда, казалось нам невозможным еще десятки лет спустя. Иногда эти дальние экскурсии в праздничные дни, если нам не давали лошадей к обедне в Вязовку, начинались с утра. Тогда мы брали с собой провизию и уходили на весь день в лес. Все это было тем возможнее, что дядя с тетей большую часть и этого лета проводили в Саратове из-за службы дяди. Кроме того, они заканчивали ремонт дома и строили новый флигель во дворе. Эта разлука вызвала переписку: с каждой „оказией“, не менее двух раз в неделю, мы должны были сообщать тете и дяде, что мы делаем и как проводим время. Вся эта переписка погибла и сохранилось всего несколько моих писем, совсем не интересных, исключительно посвященных хозяйству: я перечисляла полученную провизию из города и произведенный расход небольших сумм денег. Вследствие отсутствия тети, я тогда всецело взяла в руки бразды правления домашним хозяйством, и примером моим, идеалом моим были не тургеневские: Лиза, Елена, не Уленька Гоголя, которой восхищался Ясиевич, а молодая девушка из одной повести в „Русском вестнике“ название которой не могу вспомнить. С 18 лет во главе большого хозяйства, одна со стариком отцом, она справлялась со всеми отраслями разнообразного в то время женского хозяйства. Характеристика ее и описание ее деятельной, серьезной жизни ужасно мне нравились и, надо сказать, дядя же мне указал на нее, как на тип девушки, которую можно выбрать себе примером во всех отношениях. Мое хозяйство далеко не было так сложно и обширно, как у моего идеала, но и я вставала не позже 4-х часов утра, заказывала завтрак и обед, навещала птичницу Парашу в ее пернатом царстве, следила за садовником, приводившим в порядок запущенный сад и, не расставаясь с „Maison Rustique“,[1] уделяла много времени экономке Амалии, посвятившей себя зимним заготовкам. Ягод в то лето было пропасть.

---

[1] Французская книга о хозяйстве в деревне.

Заметив, что дети немца, приказчика Руди, постоянно пребывают на ягодниках, мы решили пускать их только в известные часы и на известный срок, так же как и других дворовых детей; остальное же время стерегли их по очереди Гриша и Таня, дети столяра Сергея Кириллыча. Стерегли они под наблюдением Лели, который часто отпуская их, очень охотно сам стерег свои любимые ягоды, бегая с палкой по всему саду, так как вишарники были разбросаны защитными плантациями между яблонями и грушами. Заодно приходилось следить и за роением пчел: пчельник стоял в яблоновом саду. Мы с Лелей ходили с вечера слушать, не поют ли в ульях матки, готовясь к утру вылететь, „перваком или другаком". Если матки пели, „квакали", мы усердно с утра их караулили. Обыкновенно, рой вылетал до 12 часов и прививался на ветви ближайшей яблони, повиснув темной, толстой гроздью. Тогда Гриша со всех ног бежал за дедом, древним, белым пасечником Онисимовым, жившим на деревне и у себя на пчельнике. Дед бросал все и, прибежав на пчельник наш, разводил курево, надевал сетку и берестовой ложкой снимал рой в заранее заготовленное лукошко. Затаив дыхание, мы следили за каждым его движением, спокойным, уверенным, несмотря на жужжавших вокруг него пчел. Завязанное рединой лукошко вешалось в тени до вечера. Вечером вновь появлялся дед и сажал рой в дуплянку или дзирзоновский лежак. Конечно, молодому рою мог и не понравиться новый дом, мало ли улетает посаженных молодых роев. Но дед, сажая рой, особенно заботливо подкладывал ему вощины, кропил сытой, а главное—что-то приговаривал и шептал, и потому рои деда сидели крепко.

Я зачитывалась тогда Любенецким...[1] И все это: это чтение, запах меда и вощины, жужжание пчел, жаркий воздух под яблонями, густая высокая, еще нескошенная трава, расцвеченная полевыми цветами,—все это было чудесно и гораздо интереснее муравейников, которыми в то время увлекался Леля, читая „L'insecte"[2] Мишле и следя с особенной любовью

---

[1] Ю. Любенецкий. Полное практическое руководство для пасечников. Пер. А. Чупровского. 3 части. СПБ, 1876.

[2] Насекомое.

за громадной муравьиной республикой под старыми соснами, недалеко от пчельника.

Когда Руди давал нам лошадей в дроги, мы уезжали в те дальние парубки в лесу, где между пнями и жестким „горным" папоротником росла клубника. Нам казалось, что мы делаем что-то очень важное и нужное, когда Александр Петрович объявлял, что „завтра оказия в Саратов, сегодня нужно ехать за клубникой в лес". Мы собирали ее целыми корзинами и отсылали в Саратов, зная, что это любимая ягода дяди. Посылали мы, конечно, и садовые ягоды, а с конца июля и яблоки-скороспелки, и грибы, и ежевику из дальних лесов.

„Нашим надо завтра рыбы и дичи послать",—заявлял—иногда Ясиевич. Тогда Леля с Нормой (охотничья собака Александра Петровича) провожал его в лес вместе с Гришей, чтобы выгонять дичь из кустов в горах. Однажды заяц ухитрился даже укусить Лелю за руку, случай, говорят, совершенно невероятный. Леля, конечно, не сочувствовал „убийствам", отказывался даже стрелять в цель и совсем не мог проникнуться поэзией патронташей, дроби и высоких охотничьих сапог. Что же касается рыбной ловли, о которой Ясиевич тоже всегда говорил с восторгом, то мы сперва думали, что ловить рыбу удочкой, с мостков верхнего, „Александровского пруда"—очень весело. И первая удача, когда мы с Лелей поймали на удочки наши по сазанчику, очень обрадовала нас; но, когда мы сообразили, как сазанчики эти, несчастные, повисли на закинутых им крючках, да Гриша, приготовивший нам эти удочки, показал нам горшок с земляными червями, которых он живыми надевал на острые крючки удочек, нас... только что не стошнило, и мы навсегда отказались от этой забавы. Словом, мы решительно отбивались от всех этих сильных, поэтичных впечатлений, да еще мешали Александру Петровичу ими наслаждаться. Так, когда начинались сборы на охоту, я старалась в последнюю минуту ему попасться навстречу и любезно пожелать ему удачи. Этого суеверные охотники не терпят, считая предвестником неудачи, а так как, кроме зайцев да перелетной дичи, уж не так было много дичи, вообще, и не раз случалось, что Ясиевич возвращался с пустыми руками, то виноватой, конечно, была я, чему я искренно была рада.

„Поймите, вам завтра нечего будет подать на жаркое, молодая хозяйка! О чем вы думаете?“—упрекнул он меня однажды, вернувшись с пустым ягташом из дальнего странствования.

„Ну, так получите один суп да пирожное, и будет с вас“,—ответила я. Но как всполошилась Оленька! Очень склонная к пессимизму, вообще, она еще с малых лет тревожилась о материальных вопросах, к которым мы с Лелей относились очень легкомысленно. И этот возглас Александра Петровича так ее сокрушил, что она не медля села писать тете письмо еще своими крупными каракулями. „Нам скоро есть нечего будет,—писала она по-французски. — Александр Петрович ходит на охоту, чтобы нас прокормить, pour subsister“ [1]. Это письмо вызвало много смеха и шуток. Конечно, Оленька была очень смешная и „особенная“ девочка со всеми своими маленькими капризами, страхами, опасениями, ворчаньем на мух, на жару. То тихая и нежная, то шаловливая и остроумная, кажется, и она непрочь была поморочить вспыльчивого и нетерпеливого своего наставника, с тех пор как она с ним стала проходить начатки грамматики и арифметики.

X

Сосед

Обыкновенно, кроме вопросов о поэзии охоты и рыболовства, мы постоянно сталкивались за уроками русского языка. Леля делал большие успехи в русском языке и писал уже почти без ошибок, а я все еще ставила „ѣ“ в слове „надежда“ и задумывалась над целым рядом слов: лечить, предмет, сметана и т. п. Ставить в них „ѣ“ или „е“? Ясиевич начинал кипятиться. Я ставила, как нарочно, эти злосчастные буквы наоборот. Вина моя была налицо, но виноватой быть—неприятно, и, принимая беззаботно-уверенный вид, я начинала доказывать, что буква „ѣ“ произносится как французское è открыто, а звук „ѣ“ в слове „надежда“ произносится открыто-протяжно. Что же касается того, чтобы ставить „ѣ“ в словах, где звук

---

[1] Чтобы просуществовать.

„е“ произносится как „ё“—„звезды, седла, приобрел“, так это придумано только для того, чтобы мудрить над несчастными учениками, а так как я вовсе не желаю быть „несчастной“ ученицей, то и ставить „ѣ“ в этих словах я сознательно не стану! Напрасно Леля пояснял мне, что „ѣ“ зависит не от произношения, а от корня, от которого выведено слово, я не хотела понимать подобную „чепуху“ и стоически относилась к новой единице за успехи в русском языке и тройке за строптивость в поведении.

Особенно изводила я его своими „философскими“ рассуждениями. Когда, например, он объяснял крыловскую басню „Петух и жемчужное зерно“, я заступалась за петуха и утверждала, что никакого невежества или узости в мировоззрении петуха я не усматриваю. Мой апломб заставлял Александра Петровича шевелить бровями, и это выходило очень забавно. „Напротив, я нахожу, что у петуха много здравого смысла и, наконец, наконец,—добавляла я еще решительнее, когда Ясиевич нетерпеливо ерзал на стуле, ероша волосы, -необходимо смотреть на вещи шире, глубже! Пшеничное зерно может быть дороже жемчужного с точки зрения и не одного петуха: от одного зерна может получиться сотня тысяч пудов, ими можно прокормить целую провинцию, а жемчужное зерно“... „Послужит скупить эту пшеницу“,—серьезно вставил Леля. – „Ничего не послужит! Просто замрет на шее какой-нибудь красавицы, которая о пшенице для провинции и не подумает“,—возразила я, с удовольствием замечая, что Александр Петрович окончательно вскипел и уже вскочил со стула. чтобы меня отчитывать стоя, как он это любил, но я продолжала с чувством и веско: „Пшеничное зерно—эмблема жизни, а жемчужное—эмблема смерти. Петух сто крат правее. Говорят даже, что носить жемчуг—приносит несчастье“. Не знаю, как бы я закончила свою философию, и как бы меня отчитал Ясиевич, но из другого конца классной неожиданно раздался звонкий высокий голосок Оленьки: „А жену петуха называют петухиней?“—„Конечно“, откликнулся Александр Петрович. „А курица кто же?“—продолжала она допытываться. „Тетка“...—„Тетка петуха?“—„Тетка петухини“,—произнес Ясиевич, кусая губы. Гнев его всегда рассеивался, когда Оленька задавала ему подобные вопросы, но m-me Сесиль

тогда начинала сердиться: „Taisez—vous donc! Ne soyez pas bécasse!“[1]

Оленька возражала, и как всегда, когда младший класс сталкивался с старшим, поднялся шум, лай Корсара, перебранка супругов, хлопанье дверей... К счастью, позвали завтракать, и урок русского языка был кончен.

Подобные стычки стали у нас возникать постоянно, особенно с тех пор, как, на беду, Ясиевич еще сдружился с нашим соседом М. Этот сосед, помещик средних лет, безвыездно жил в своей берлоге в Вязовке и проводил время в занятиях своим небольшим хозяйством или на охоте. У нас в доме он никогда не бывал. Это был человек простой, добрый хотя и недалекий. Со времени своей дружбы с Александром Петровичем, М. стал заходить за ним, чтобы итти вместе на охоту или слушать ток тетеревов по ночам в лесу, или звал к себе ужинать, так как был радушный и хлебосольный хозяин. Попадался нам М. и во время прогулок с ружьем за плечами и охотничьей собакой по пятам. Но, так как нам почти не приходилось с ним разговаривать, то понятно, как удивились мы, когда однажды m-me Сесиль сообщила нам, что „Alexandre“ говорил ей, будто М. намерен мне предложить руку и сердце, как только я „подросту“!— „Принимаю это за очередную шутку вашего шутливого мужа“,—ответила я очень спокойно. Но Леля взволновался и стал протестовать, особенно, когда Александр Петрович подтвердил слова жены. С этих пор Александр Петрович стал меня положительно преследовать за этого злосчастного соседа. Его точно бесило то, что я будто смею считать М. себе „не подходящим“ женихом и приписывал это гордости, самомнению и другим некрасивым побуждениям, которые необходимо искоренять. „Какого вам еще героя?—допекал он меня язвительно: Средств у него мало? Чинов нет?“ Как далеко была я от подобных соображений, протестуя против этого жениха. Они и позже никогда не имели значения в моих глазах, а тогда... „Я жду Костанжогло[2] единственного моего идеала из всех ваших героев, настоящего хозяина, а не такого,

---

[1] „Замолчите же! не говорите глупостей!“ (Бекас, уверяют, глупая птица).
[2] Один из персонажей 2-й части „Мертвых душ“ Гоголя.

который прутиком загоняет своих индюшек",—возразила я, поднимая нос с деланной гордостью. За это пришлось выслушать опять целую рацею. И с тех пор мы с Лелей, чуть завидим злополучного охотника, пускались от него в бегство, и на этом в особенности настаивал Леля.

Однажды получилось пренеприятное положение. Стояли уже первые дни сентября — теплые, солнечные. Парк и лес приняли яркие цвета осеннего убора, хотя, кроме „слабонервной" березы, еще не теряли своей листвы. Мы были в лесу на горе и любовались „швейцарскими" видами, собирали грибы и костянику, делали с m-me Сесиль букеты из осенних цветов. Вдруг видим, что по дороге лесом быстро идет М. в сопровождении своих собак и, услыша немедленно раздавшийся охотничий рожок Ясиевича, повернул на дорогу к нам в гору. Не успела я опомниться, как Леля схватил меня за руку и так решительно увлек по тропинке в густую заросль молодого дубняка, еще не ронявшего листвы, что мы мгновенно исчезли из глаз супругов. Отбежав с полверсты, мы смеясь припали к густому мху в такой глуши, что нас бы не сыскать. Но вдруг слышим свистки, улюлюкание, и посланные за нами в погоню собаки обоих охотников разыскали нас. Не дожидаясь, чтобы еще сами охотники нас настигли, мы вскочили и продолжали свое бегство по молодому лесу. Ветки хлестали по лицу, рвали платье, Корсар хватал за ноги... но мы продолжали бежать и благополучно достигли того перелеска, от которого всего ближе было перебежать по открытой поляне в парк. Там уже мы были дома, далеко от погони. Когда, часа через два, вернулись домой Ясиевичи с Оленькой и собаками (обыкновенно, и все дворовые собаки принимали участие в наших прогулках), Александр Петрович очень резко выразил свое неудовольствие по поводу нашего бегства, с насмешкой представляя нас в лицах. Конечно, стойка Нормы над нами, запрятавшими головы в лесной чаще, была довольно смешным зрелищем, но... и я краснела до ушей. Александр Петрович почему-то особенно обрушился на Лелю, который слушал, надув губы капюшоном: Ясиевич называл его зачинщиком бегства. К счастью, m-me Сесиль прервала эти нравоучения, потому что Оленька подняла громкий плач: „Je ne veux pas

que ma soeur se marie à 12 ans"[1]. Александр Петрович тотчас-же обернулся к ней: „Ваши бабушки и в 11 лет выходили замуж, с куклами под венец шли, а вам, Пахомовна, уже 80 лет, вам-то уж давно пора!“ „Alexandre! перестань!“—капризным голосом остановила его m-me Сесиль. Началась обычная перебранка, m-me Сесиль умела превосходно ворчать по-русски; Оленька всхлипывала, закрывшись фартучком, и, главным образом, плакала потому, что Александр Петрович обижал обожаемого Лелю. Мы подхватили ее и, воспользовавшись тем, что супруги, разворчавшись, принялись сводить какие-то старые счеты, возникшие еще у Трубецких (не в первый раз), выскочили из дома и—бегом от них. Мы остановились, только когда очутились на Зеленом роднике,— попрежнему убежище нашем в горькие минуты жизни. Успокоив Оленьку, Леля, видя меня сконфуженной и недовольной, стал меня убеждать, что мы поступаем вполне благоразумно, когда пускаемся в бегство: малейшая любезность к М. может повести к „роковым последствиям: он вообразит!“—„Ничуть не вообразит! А если бы и вообразил, всегда сумею отказать,—защищалась я,—но не хочу я так глупо прятаться, чтобы нас по лесу собаками травили, чтобы эта обезьяна (Александр Петрович) смеялась над нами!“—„Нельзя вводить людей в соблазн,—упорствовал Леля,— велика беда, что им смешно! За то М. не вообразит и не обвинит тебя“.— „Меня? в чем же?“ —„В кокетстве“.—„В кокетстве, меня, когда я сквозь зубы отвечаю ему?“—„Это все равно“... Мы помолчали, не соглашаясь друг с другом. Вода водопада шумела, струи родника отражали лучи заходящего солнца... „Фледок и Шарик бросились à votre recherche"[2],—грустно заметила Оленька, возвращаясь к нашему бегству,—но они такие толстые, такие мохнатые, что застряли в кустах, а Александр Петрович était enragé[3] и хотел их высечь. Я так боюсь, что он поставит Леле единицу за поведение“.—„Экая невидаль! Кому страшно от этих колов? Плетень заплетем!“—успокоила я ее. Наша беседа „на шумке“, как мы называли Зеленый родник запросто, была нео-

[1] „Я не хочу, чтобы моя сестра выходила замуж в 12 лет.“

[2] В поисках за вами.

[3] Был взбешен.

жиданно прервана: послышался дальний колокольчик... ближе ближе... Мы бросились бежать к дому, фаэтон уже въехал в деревню, повернул на плотину и остановился у крыльца. Тетя приехала. Приехала всего на два дня — поцеловать нас, повидать и сообщить, что новый флигель готов, и уже в конце сентября мы переедем в Саратов—зимовать.

XI

Переезд в Саратов

Различно отнеслись мы к этому известию. Более всех обрадовалась Оленька. В тот же вечер она принялась укладывать гардероб своих кукол, попонки Хвостика и Фледка. Был доволен и Леля. „Je suis très content de débarquer de Goubarevka,—писал он тогда (сентябрь 1875 г.) дяде: 1-e—de vous voir et, 2-e—de changer de place“ [1]. Мои чувства были сложнее: уж очень жаль было оставлять свое хозяйство. В этом мы сошлись даже с Александром Петровичем. Прощай для него охота! Пролет вальдшнепов был особенно „густ“ в эту теплую, ясную осень. Он настрелял их вдоволь, но он еще мечтал об осенней охоте, с гончими по пороше, за зайцами, о зимней охоте на волков с поросенком.

Пришлось напрягать все усилия в домашнем хозяйстве, чтобы исполнить просьбу тети собираться скорее и переезжать в город засухо.

Послали в Вязовку за Афиной Ивановной с Ванюхой, чтобы помочь экономке Амалии доваривать варенье из бергамота, засахаривать дули, отбирать черное дерево и анис для зимней лежки, предоставляя нам истреблять пудами липку, бель и скороспелку. Не мало хлопот доставили, конечно, и пчелы, которых на зиму убрали в омшанник; затем надо было наблюсти за переноской всех растений с террас и балкона в оранжерею, за выкопкой канн, георгин, за обвязкой штамбовых роз, винограда, и подвозкой сухих листьев, чтобы закрыть на зиму многолетние пионы, флоксы и клумбы лилий, ирисов и

---

[1] Я очень рад выехать из Губаревки, во-первых, чтобы видеть вас, а во-вторых, чтобы переменить место.

тюльпанов... Ученье наше было прервано. Я убедила Александра Петровича в том, что большее или меньшее количество „ѣ“—ничто в сравнении с тем, чтобы к отъезду нашему все было приведено в порядок. У Лели тоже была забота: кому поручить зимнее кормление дворняжек, кормление неудовлетворительное в прошлом году.

Наконец, все было у нас готово. Даже все рамы в доме были при нас вставлены и обмазаны, скамейки с аллей убраны, хмелевские пушки отнесены в амбар; все портреты завешены, ковры сняты, и несколько подвод было отправлено в Саратов, не только с вещами, но и с предметами моих забот: кадки с солеными огурцами, арбузами и квашеной капустой, кадочки с медом, маслом и сметаной, корчаги с мочеными яблоками и солеными грибами, обливные каменные горшки с мариновками, а варенья, смокв, пастилы - целые ящики—я превзошла Коробочку! Все это было взвешено, записано и снабжено внушительными надписями. По тому, как охотно все это проделывала со мной Амалия, как повар Василий наводил блеск на свои кастрюли бузиной и кирпичем, а молодые горничные Варя с Таней, да и Гриша за ними, особенно весело распевали целыми днями песни, было ясно, что все они в восторге бросить на зиму Губаревку и оставить ее сиротливую, одинокую, без заботливой любви, которой она требовала и просила... И, сознавая это, я потихоньку плакала чуть ли не над каждым деревом и кустом...

Стояло свежее, ясное утро, когда подкатили нам к крыльцу нашу громадную, хотя и легкую на ходу, шестиместную коляску и приступили к укладке. Часа три выносили и в ней раскладывали исключительно ручной багаж. Более крупный был отослан в Саратов еще на зорьке, когда сквер перед домом уже весь побелел от первого утренника, а я—радовалась, что мы успели во-время убрать огороды и укрыть все зябкие растения. Повар Василий уехал еще накануне, а теперь нам готовила Параша, и завтрак наш в 12-м часу, последний завтрак, был такой вкусный и такой грустный.

Даже мы с Александром Петровичем притихли и вовсе не пикировались.

Затем Матвей стал впрягать четверик самых смирных рабочих лошадей, что не мешало Оленьке ныть: „Разнесут нас лошади, Матвей нас свалит в овраг“. Перецеловав всех остающихся, счастливых(!), мы сначала молча все посидели с ними на террасе, а потом, перекрестившись (так всегда уезжала тетя), стали еще прощаться и разместились в коляске. Как все суеверные кучера, Матвей стал коситься на то, что и Корсер приютился в коляске, в ногах Ясиевича, и m-me Сесиль вынесла котенка в жестяной кружке; но когда еще поднесли Оленьке Хвостика в чепце с оборкой, закрывавшей глаза, дабы кот не примечал дороги и не сбежал обратно, Матвей не выдержал и заявил, что лошади, если только учуют, что везут кошек да собак, и с места не сдвинутся. „Ну, ну!“—ворчал Гриша, карабкаясь на козлы и уставляя в ногах кучера клетку с дроздом, перешибленное плечо которого еще требовало ухода. Но лошади, вероятно, не учуяли кого везут, и очень покойно побежали по сухой, почти пыльной дороге. На полдороге, в Латухине, мы дали вздохнуть лошадкам, да и сами рады были промять ноги и развернуть захваченные с собой яблоки, лепешки, пирожки. Хватило угощения и всем четвероногим пассажирам, а хлеба и милым лошадкам... Уже под городом перегнали мы свою подводу, уехавшую на заре. Фледок и Норма, высуня язык, усталые, плелись за ней. К 5-ти часам прибыли мы в дом к тете и дяде, радостно ожидавших нас с стерлядью и пломбиром за обедом. Еще не садясь за стол, мы осмотрели вновь выстроенный флигель и весь заново ремонтированный дом. Сад был все такой же отвратительный. Запыленные, с пожелтевшими сухими листьями кусты сирени и акации одним видом своим наводили тоску. Но дом был устроен прелестно. Во всех комнатах были новые обои, пол в столовой затянут красивой клеенкой, в гостиной—новым синим сукном под цвет мебели.

Но особенно красиво было в кабинете дяди: венецианское окно в сад, большой камин, уютный трехугольный диван. Новый же флигель на высоком фундаменте, с громадными окнами совсем нас поразил. В одной половине его была отведена нам высокая, светлая классная, а в другой было целое отдельное помещение, даже с маленькой кухней—для Ясиевичей. Нача-

лось наше зимнее житье. Каждое утро мы все трое уходили во флигель—учиться до завтрака. После завтрака и прогулки с m-me Сесиль, в 2 часа возобновлялись уроки до 4-х. Леля принялся очень усердно за ученье. Не сумею вспомнить, почему намерение учить Лелю дома до 4-го класса не могло осуществиться и тогда же осенью был поднят вопрос о том, чтобы после праздников опять отвезти Лелю к Крейману. Приходилось по программе проходить все пройденное вторым классом в первое полугодие. Опять латынь, да еще прибавился греческий язык, которым занимались мы с дядей, я только „плелась“ за Лелей, душой же все еще витала в Губаревке и тосковала о ней, как о живом и милом существе.

Первое время Леля утешал меня тем, что мы каждый день ходили с кусочками хлеба в конюшню к стоявшим там выездным лошадям. Мы были пренеприятно удивлены, когда оказалось, что наши городские вороные, рослые кони с нескрываемым презрением относятся к рабочим разношерстным лошадкам, когда они, прибыв с подводами из Губаревки, ставились на ночь в конюшню, в их соседство. Когда кучер Николай наглядно показал нам, что „городские“ не желают даже прикоснуться к овсу, всыпанному в ясли, к которым поставили скромного Воронка и рыжую Отбойку, мы просто были возмущены такой спесью.

„Деревенщина, мужичье!“—глубокомысленно заметил Николай, ласково трепля своего Шалуна, и, презрительно глядя на кругленького, но малорослого Воронка, даже сплюнул... Леля бросился гладить и целовать „деревенщину“, и с тех пор мы уже не находили удовольствия баловать городских гордецов и приберегали ласки и сахар (с тех пор Леля стал пить чай совсем без сахара) к приезду наших шершавых, малорослых, но скромных, деревенских друзей.

Конечно, большим удовольствием для нас было свидание с нашими кузенами Трироговыми и Михалевскими. Мы опять часто виделись с ними, а с Михалевскими, как соседями, даже ежедневно. Каждое утро—до уроков—мы переговаривались с ними сквозь щели досчатого забора, разделявшего наши сады, и сообщали друг другу все, что тогда казалось нам интересным.

Так прошел октябрь. Настала зима. Выпало много снега. Дядя уехал на рекрутский набор, в дальнюю волость, если не ошибаюсь, в Сухой Корбулак. И вдруг, 6 ноября поздно вечером на парадном—звонок... Открывают двери... и вносят дядю на носилках. Оказалось,—он упал и расшиб себе колено. Вызванные доктора надолго уложили его с гипсовой повязкой на расшибленной чашке колена.

Первые дни тетя с Лелей безотлучно были при дяде, читая ему, ухаживая и развлекая его, ни на минуту не оставляя одного. Потом привыкли к этому несчастью. Лежа на диване в кабинете, дядя целыми часами слушал чтение. Читала вслух тетя, часто читал Леля. Мое чтение было забраковано. По вечерам навещали друзья и родные. Особенно часто бывал Шомпулев, Виктор Антонович, кузина тети—гр. Елизавета Васильевна Тизенгаузен с мужем Виктором Александровичем. Определять их общественное положение я положительно не берусь, так как менее всего этим тогда интересовалась. Очень жалею, что так же не ясен мне с этой точки зрения особенно часто засиживавшийся у нас Иван Петрович Ларионов. Помню только, что он был вдовец и певец. [1] Целыми вечерами он наигрывал и напевал, преимущественно, народные песни, а когда у нас собирались Трироговы и Михалевские, он тотчас же устраивал из нас хор и, глядя поверх голов наших в пространство своими добрыми глазами, притоптывая очень длинной ногой, запевал мелодичным, красивым голосом. Мы подхватывали хором. Пели мы неизбежное: „Вниз по матушке, по Волге", „Уж я золото хороню", „Ах вы, сени мои, сени" и мн. др. народные песни; пели мы и более современные: „Из леса, леса темного", „Не пой, красавица, при мне", „В долине

---

[1] Впрочем, мне недавно пришлось познакомиться с неизданным очерком А. Лебедева: „И. П. Ларионов, автор оперы „Барышня-Крестьянка" (р. 1830 ум. 1889)". Судя по этому очерку, Ларионов был музыкальным критиком и любителем-собирателем народных песен. Привожу выдержку из „Записок" Ларионова, помещенных в том же очерке А. Лебедева от 31 августа 1877 г. стр. 198—199. „Иногда довольно приятно проводил время в музыкальных занятиях у А. А. Шахматова. Тут я написал свой последний романс „Саночки"... Меня просили пожертвовать этот романс в пользу учительниц и библиотеки народных учителей. Я посвятил его Ольге Николаевне Шахматовой (прелестное mezzo-soprano). Романс напечатали"...

Дагестана" и др. Кроме него играл на рояле (великолепно) П. Д. Елагин; может быть, менее блестяще, но своего сочинения—Г. К. Деконский. Все вечера были посвящены музыке, и было ее в доме у нас вообще много, потому что в спальне тети еще стояло перевезенное из Губаревки пианино, на котором, пока Леля зубрил латинские глаголы, я зубрила сонаты Бетховена, так как довольно усердно продолжала уроки музыки в консерватории и брала уроки теории музыки. Эти уроки избавляли меня от излишней заботы Александра Петровича обо мне. Теперь он усердно готовил Лелю к предстоящему в январе экзамену, да и вообще, с переездом в город и после намерения дяди вернуть Лелю в гимназию, его отношения к нам с Оленькой стали значительно благожелательнее. Даже, когда Оленька за уроком арифметики, которую она попрежнему ненавидела, продолжала „ничего не соображать", что̀ в Губаревке вызывало всегда его сарказм и насмешки, теперь Александр Петрович терпеливо заменял задачи Евтушевского задачами с более „доступными объектами", как ядовито замечал он; например, „Фледок и Шарик скушали столько-то котлет"... или „3 курицы снесли Параше 3 яйца" и т. п.

XII

1876 год. — Крейман, 2-ой класс

Так дожили мы до Рождества. Праздниками мы и катались в санях, и ездили на елку к родным. Была и у нас чудесная елка с подарками, но все было отравлено предстоящим отъездом Лели после Крещения в Москву! Сам Леля очень волновался и праздниками продолжал зубрить латынь, писать русские диктовки, делать арифметические задачи. Меня совсем избавили от этих занятий, и я была бы счастлива, не будь этого кошмара: опять разлука, опять Москва и Креймановская гимназия!

Тетя повезла Лелю в Москву уже без прошлогодних взрывов слез, и вновь стали мы ожидать его письма, и писал он их часто, подробно, уже по-русски и почти без ошибок, но вся эта переписка второй разлуки, к сожалению, погибла безвозвратно. Только по нескольким моим ответным письмам,

случайно сохранившимся, вижу, что я претендовала на Лелю за его „карамзинский слог“ — с „ибо“, „сей“—и находила, что его письма выспренни, сантиментальны, а такая критика, видимо, его обижала. Это не мешало мне потом тихонько плакать, жалея моего бедного мальчика и просить его не придавать значения таким замечаниям... С его отъездом у нас произошла перемена. Александр Петрович стал приходить давать нам уроки в детскую, в большой дом, и занялся с Оленькой и теми предметами, которые преподавала по-французски мадам Сесиль—историю и географию, потому что m-me Сесиль серьезно заболела и нас к ней во флигель не пускали. Вскоре затем у нас во дворе появилась незнакомая женщина в голубом кокошнике, оказавшаяся кормилицей, а потом нам сообщили, что у m-me Сесиль родился сын и что его назовут Вавà. Как и зачем прибыла эта кормилица с младенцем и почему Вавà считается вдруг не ее ребенком, а сыном Ясиевичей, являлось, даже для меня, мудреным вопросом. Оленька же особенно заинтересовалась появлением такого „соперника“, вынудившего ее учиться всему у Александра Петровича.

Леля́, конечно, с большой радостью откликался на все наши волнения. Все письма Лели были полны нетерпения скорее вернуться к Пасхе домой. Крейманская гимназия стала терять для него свою, хотя и небольшую привлекательность, потому что ученики 2-го класса разделились на две партии—аристократов и демократов, и между ними начались стычки и драки. Сам он, также как и любимец его Всеволожский, которого он попрежнему обожал, принадлежали к первым. Леля ужасно принимал к сердцу эту разгоравшуюся вражду двух партий. Придирки и приставания „врагов“ его раздражали и надоедали и, хотя он продолжал хорошо учиться, но на уме уж было не ученье, а партийная вражда и вызываемые ею постоянные столкновения и драки, драки без конца, при чем и Леля стал страшным драчуном (!)... Читая эти письма, дядя стал говорить, что в такой обстановке ничему не научишься, а только еще искалечат на всю жизнь, и разумнее его увезти учиться за границу. И, когда в конце марта Лелю привезли на пасхальные каникулы, вопрос о поездке за границу уже был решен. Дядя, все еще ходивший с костылем, намерен был ехать

сперва в Гастейн полечиться, а затем и мы должны были покинуть Россию на целых 3 года. Леля, приехавший из Москвы еще раздраженный „несправедливыми“ нападками на его партию, с горечью вспоминал эти два месяца, проведенные в своей гимназии, и с радостью узнал, что его не ожидают весенние экзамены и душный май в Москве: дядя решил ехать в Гастейн вместе с ним. Поэтому мы весело и покойно встретили Пасху 1876 года в Саратове. На святой мы, конечно, ежедневно виделись с нашими кузенами Трироговыми и Михалевскими, да кроме того, мы, наконец, познакомились с семьей дядюшки Александра Ивановича Шахматова, с которым дядя так долго не хотел видеться. Они приехали к нам впервые на Пасху катать яйца с горки по ковру гостиной: Вячеслав, сверстник Лели, темный шалун с вечно разинутым ртом, и Оля, сверстница нашей Оленьки, хорошенькая, худенькая девочка. Были еще два мальчика, Боря и Юра, но с ними мы познакомились позже. И мы также поехали к ним. У них был очень красивый дом с садом, где мы могли тотчас же играть в волки и в прятки. Наша дружба с ними, вопреки не перестававшему холодку между старшим поколением, потом длилась всю жизнь, и подчас они были ближе нам, чем другие родные...

Но все эти удовольствия бледнели перед радостью скорее вернуться в Губаревку. 9 апреля нас отправили туда с четой Ясиевичей, их младенцем и всем штатом.

Опять настали блаженные дни! Губаревка весной была настоящим раем земным. Лес распускался нежной листвой, сады зацветали белым и нежно-розовым цветом; иволги, дрозды, малиновки, пели такими концертами, что заглушали не менее мелодичные концерты лягушек в прудах. По ночам тянулась беспрерывная трель водяной курочки, а соловьи заливались такими каскадами звуков, что заснуть в эти дивные апрельские ночи было очень трудно. Мы жалели, что дядя с тетей были вынуждены оставаться в городе. Дядя уже отказался от своей службы предводителя, но их задерживали еще какие-то дела. Совершенно случайно сохранились наши письма к ним от 14 апреля 1876 года. Все трое, мы настойчиво их звали скорее в Губаревку. „Приезжайте скорее,—писал Леля по-французски,—воздух тих и приятен, а в Саратове пыль. Березы покры-

лись листочками, скоро зазеленеют и другие деревья, потому что покрылись почками. Садовник много работает, так что почти все цветники уже готовы"... Садовник Семен с толпой веселых, звонко певших девушек, приводил в порядок все сады. На террасы и балкон были вынесены все растения, зимовавшие в оранжерее. В тепличке было столько огурцов, редиса и салата, что с каждой оказией в Саратов мы посылали их корзинами дяде с тетей, прибавляя сморчков и шампиньонов, которых было пропасть, а Ясиевич опять с упоением охотился на вальдшнепов и уезжал с охотниками в болота за Хлебновку, чтобы стрелять диких уток, чирков, бекасов, и также снабжал ими наших дорогих отсутствующих. Но как ни наслаждался Леля этой чудной, ранней, теплой весной, все же он гораздо менее меня, вновь с головой ушедшей в свое милое хозяйство, мог ею пользоваться. Хотя мы были совершенно освобождены от уроков до жары, пока весь день могли быть вне дома и я, конечно, пользовалась этим во всю, но Леля становился все серьезнее, и решительно хотел стать историком: он целые дни проводил в классной, окруженный целой горой книг. Все это были книги исторические и преимущественно русской истории. Он уж не писал более „Истории России", но сочинял какие-то „Послания об истории". [1] „Неужели нам не интересны родные предания, знакомящие нас с жизнью наших предков?—декламировал он нам с большим чувством из этих посланий, – неужели мы не читаем с удовольствием „Историю России?" Эти послания были поднесены дяде в день его ангела, 20 мая, который он с тетей провел с нами в Губаревке. Мы были счастливы, что дядя с тетей опять с нами могли наслаждаться „бытием".

С утра дядя уже выходил на свой балкон, обвитый витисом, и принимался читать Горация или Овидия. Тут же, за круглым столом тетя в голубом, вышитом шелковом шлафроке варила на спиртовке кофе, а мы, вдоволь набегавшись по саду и в парке, приходили в 9 часов к ним здороваться и получать „канар"—кусочек сахара из чашки необыкновенно ароматного кофе тети, кофе с густыми сливками, конечно. После того мы с Оленькой быстро исчезали, Леля же любил по-

[1] Два таких „Послания" хранятся в семейном архиве Шахматовых.

долгу сидеть в качалке на балконе, то слушая дядино чтение, то заводя с ним длинные, серьезные беседы... Чудное то было время! И к чему было прерывать эту милую губаревскую жизнь и искать чего-то лучшего в чужих краях! Так рассуждала я тогда, нисколько не радуясь перспективе на 3 года уехать за границу. И ворчала я на все лады: меня возмущало до слез, как можно уезжать из Губаревки в лучшем месяце в году, в июне, когда поспевают ягоды, зацветают липовые леса, и начинается покос. Но меня никто не слушал. И 6 июня, отпраздновав день рождения тети (ей минуло 2 июня 36 лет) и день рождения Лели (ему минуло 5 июня 12 лет), дядя с Лелей собрались в путь. В коляске и фаэтоне мы всем домом поехали их провожать до ст. Мариновки[1], и... они уехали в Москву, Варшаву, Вену и Гастейн. Оба казались очень довольными, что едут за границу, точно не понимая ужаса разлуки, не с нами, которые должны были следовать за ними осенью, а с милой Губаревкой!

XIII

Nicolai-Gymnasium

К сожалению, все письма дяди и Лели с дороги, за июнь и июль месяцы, как очень для тети интересные, хранились у нее в письменном столе, сгоревшем в 1918 году, а содержания их я не помню. Помню только, что очень быстро, нигде не заживаясь, они проехали прямо в Гастейн, где и поселились у какого-то шумевшего день и ночь водопада. Помню также, что здоровье дяди так скоро поправилось, что он с Лелей уже делал длинные прогулки пешком. В Гастейне они встретили вторую, после тети Софи, сестру тети—Елизавету Николаевну Еропкину, красивую, элегантную и кокетливую, несмотря на свои более чем 50 лет. Она очень полюбила Лелю и стала уговаривать дядю устроиться в Париже, где она жила последние годы безвыездно. Лелю советовала она отдать в лицей Louis le Grand, а нас с Оленькой—в какой-то пансион, где воспитывались Коллет и Жанин, дочери Александра Дюма (сына), с семьей которого она была очень дружна. Так и было ре-

[1] Теперь ст. Татищево, Ряз.-Ур. ж. д.

шено; поэтому нас очень удивило письмо дяди от середины июля, в котором он писал, что думает лучше остановиться в Дрездене или в Мюнхене, чтобы Леля учился в Гейдельбергском университете, где он сам в свое время заканчивал свое образование.

Не помню, какие доводы приводились дядей. Уж очень я рассеянно слушала чтение заграничных писем, потому что в душе все еще надеялась, что дядя соскучится к осени по России и раздумает зимовать в Германии. Помимо того, что никакая Германия и никакой Париж не могли мне заменить Губаревку, и мысль покинуть ее на целые годы, приводила меня в отчаяние, во мне, как нарочно в это лето, проснулось совершенно новое чувство особенной любви к России. После отъезда Лели мы возобновили свои уроки с Ясиевичем в жаркие часы дня, когда в классной было прохладно. Меня избавили от древних языков, хотя Леля в каждом письме просил меня их не забывать. Александр Петрович продолжал налегать на русскую грамоту: он добился моего частичного примирения с буквой „ѣ" и заставлял меня писать сочинения, но, главным образом, продолжал меня знакомить с русской литературой. Это лето посвятили мы Пушкину и Лермонтову. Ни гоголевские, ни даже более понятные и „совсем знакомые" типы Тургенева, не захватили меня так, как герои Пушкина и Лермонтова. С их поэзией открылась мне вся глубина и красота русской жизни, и мне хотелось, как можно яснее, глубже переживать, впитывать в себя эту жизнь, а „Война и мир" окончательно одурманила меня. К тому же мне казалось, что все, что пишут эти авторы, мне не только знакомо, но даже мною когда-то было пережито, и они только передают словами так, как бы я не сумела передать. И вот, под такими впечатлениями я рискнула написать дяде целую диссертацию о любви к России, несравнимой ни с одной страной в мире, о необходимости учить и воспитывать детей только в России, проникаясь ее идеалами, и только ее идеалами! На это Леля ответил, конечно, под диктовку дяди, что, по его мнению, мне-то именно в юности и необходимо расширять свой кругозор, чтобы не принимать за центр мира Губаревку, а уметь ценить и любить и другие страны и народности (намек на-

плохо усвоенную „Вселенную“ Герштекера?), что необходимо развивать в себе более универсальный склад ума, любить все человечество, а не свою только национальность, стремиться стать европейски образованной, а не узко-поместной саратовской обывательницей, современной Коробочкой... Я не стала оспаривать дядю, которого, несомненно, поддерживал и Леля, но решила заменить краткие записи, которые я вела с 9-ти лет на отрывных календарях, дневником, в котором я могла сама с собой переговариваться и выражать то, что я чувствую, потому что тетя, конечно, всецело соглашалась с дядей. В этом дневнике я стала записывать все то, что должно было при свидании с дядей и Лелей, убедить их, что любить всех нельзя—одни фразы—и означает не любить никого! Любить чужие страны с культурными удобствами, вовсе уж не так трудно, а вот легко проглядеть, не суметь понять и полюбить свое, не знать красоту природы России, не любить ее народа и дух этого народа, который выразился в таких дивных произведениях литературы и музыки, в песнях, преданиях, поэзии, картинах... Но все это я горячо, с увлечением, записывала пока в этот свой первый, толстый дневник, а в ответных письмах моих в Гастейн полетели теперь одни шутливые отчеты о перепетиях нашего кошачьего и собачьего мира. Вскоре Леля сообщил мне, что дядя очень недоволен содержанием моих писем: ни мыслей, ни рассуждений, одни шутки! „Перестаньте писать о собаках“—стояло еще и в приписке дяди ко мне в письме Лели. Это касалось и Оленьки, потому что она запросила в письме дядю, нельзя ли взять с собой за границу мохнатого Шарика: „Il est si têtu“, [1] что без заграничного воспитания не обойтись.

В начале августа поездка в Аряш дала нам возможность написать, наконец, в Гастейн более интересные письма, хотя и в них не было ни мыслей, ни рассуждений. Но впечатления наши с Оленькой были совершенно различные: я была в восторге — и от 120 верст дороги на перекладных и от самого Аряш, его сосновых лесов, катаний с Алешей на лодке по реке или в дрогах вековым бором в Неклюдовку, к соседке В. П. Юреньевой. Оленька же и в письме ныла:

[1] „Он такой тупой“.

почтовые лошади в бубенцах летели вскачь, а на козлах сидел, хотя и ловкий, но всего 17-летний ямщик „un mioche“,[1] который не внушал ей никакого доверия и с успехом мог бы нас опрокинуть.

Наконец, на обратном пути в Губаревку нас преследовал дождь. Ямщик, мордвин, предложил заехать переждать грозу в Аршаут,[2] в татарское село. Один вид татарок и мордовок с рогатыми кичками в Савкине напугал Оленьку[2] до смерти: „То ли дело, в Губаревке“,—заканчивала она свое письмо Леле. „Ну может ли быть у вас за границей такая ширь и красота?“—кончала и я свое письмо к нему.

В Губаревке нас ожидала большая, радостная почта: дядя, известил нас телеграммой о том, что Леля поступил в 4-й класс гимназии в Лейпциге. „Прошу передать Александру Петровичу мою благодарность“,—стояло в конце этой телеграммы: Александр Петрович даже прослезился. Кроме того, ожидали нас и письма, посланные одновременно с телеграммой. В них подробно описывалось, как волновался Леля перед экзаменом. Экзамен был сдан очень хорошо, в 4-й класс Nicolai-Gymnasium. Эти письма не сохранились, но имеются наши ответные: „Очень ты нас обрадовал своим блистательным вступлением в немецкую гимназию,—писала тетя 15 августа 1876 года. Кроме писем были получены фотографии дяди и Лели в Гастейне. Дядя в белом, летнем костюме, казался столь пополневшим, что даже не был похож, у Лели же было милое и веселое личико, такое, какое оно бывало, когда он говорил тете: „Гожулинька!!“ Затем они сообщали, что выслали нам посылку с подарками. Вскоре получилась и эта посылка, превзошедшая все наши ожидания, а присланные мне подарки просто поразили меня после неудовольствия дяди за стиль и содержание моих писем: целый арсенал для гербаризации и изучения ботаники и подробный раскрашенный ботанический атлас, и увлекательные произведения Гримара [3], и пресс на ремнях, и жестяная „вализа“ для сбора засушиваемых цветов; только занимайся ботаникой. Да я и занималась ею очень усердно, но теперь,

---

[1] Мальчишка.

[2] Аршаут—татарское село, Савкино—мордовское село Петровского у., Саратов. губ.

[3] Grimard—автор „La Plante“, „La goutte de sève“.

с приближением осени, уж не приходилось думать о губаревской флоре, а о том, кому поручить Губаревку. Ведь, Герасим, простой ключник из Хмелевки сменил Руди, но не мог вести хозяйства самостоятельно, будучи очень тупым и ограниченным человеком, не чета благородному, умному Базанову.

И вот, в одно прекрасное утро, после долгой беседы тети с Ясиевичем о их судьбе, вдруг было неожиданно решено, что Ясиевичи останутся на 3 года арендаторами в Губаревке, извлекая из нее все доходы в свою пользу, с одним обязательством сберечь и сохранить ее в том виде, в каком она им сдана. Такое решение всех обрадовало: Александр Петрович высказывал свою благодарность, m-me Сесиль плакала, целуя тетю. Я радовалась, потому что мне казалось, что после нас никто так не любит Губаревку, как они.

После решения этого вопроса, тотчас же началось переселение Ясиевичей с Вавà и всеми потрохами в Главное управление, ухетанное на зиму. Им были оставлены в их полное распоряжение амбар со всем урожаем, весь живой и мертвый инвентарь, штат людей, подвалы с овощами и все пр. Дядя торопил наш приезд и уже нанял пансион для нас в Лейпциге на Salomonen Strass, 19. Он советовал нам брать, запасаясь на 3 года, все ценное, как-то: шубы, платья, белье и в особенности, все русские книги, начиная с наших учебников, любимых детских книг и классиков—Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Толстого, все эти издания, бывшие у нас в прекрасных переплетах. Всем этим было набито несколько хороших сундуков и все было готово к отправке в половине сентября, последний срок нашего отъезда.

XIV

В Лейпциге

Я упомянула, что не сохранилось писем Лели из Гастейна, но имеется одно письмо его, в котором он описывает последние дни в Гастейне, письмо написаное уже в Лейпциге и помеченное 8 августа нов. ст. Оно было адресовано мне и такое длинное (32 страницы), что я приведу его только в выдержках:

„Я не стану тебе описывать сей малый остаток дней, проведенных в Гастейне, где только поэт или артист могут найти

наслаждение", а Леля очень скучал. Затем идет подробное описание переезда в Мюнхен и самого города Мюнхена. Перечислив все улицы, площади и достопримечательности города, он подробно описывает свои чувства, когда дядя завез его и оставил одного в Королевской библиотеке: „Мои шаги звучно раздавались на красивой мраморной лестнице, ведущей в читальную комнату, где меня ожидал Страбон, Помпоний Мэла и Маннерт... Когда я взял эти книги, мне показалось, что я приступил к порогу, куда мне так хотелось, что я сломал стену, отделяющую меня от этих источников, что я теперь не буду ссылаться на Карамзина и Соловьева, которые сами ссылаются на Страбона и др., что я теперь могу собственным трудом достигнуть имени историка, но не трудами Карамзина и Соловьева, что я сам могу рыться в библиотеках, в архивах, что я прежде все не попадал в свою цель, а теперь именно я достиг всего того, о чем я думал. Страбоновский слог показался мне трудным, так что я мало что выписал из него; из Помпония Мэла я все понял. Маннерт, хотя жил тому век прежде нас, но все-таки я понял и сделал много выписок. Когда я возвратился назад, мы пошли завтракать и пришли в Мюнхенскую выставку в Хрустальный дворец", и т. д.

„Станция летит за станцией,—писал он дальше,—час за часом, время протекает, и вот уже прошла целая неделя, как мы выехали из прелестей(?) [1] Зальцбургского края, и вот уже мы миновали границу Баварии и въехали в Саксонию, и вот природа страны изменилась, и вот уже нет сих белоснежных альпийских вершин, и вот уже нет водопадов, уже нет вечных ручейков, но часто голая степь, сухая поляна, бедная речка показывается нашему глазу; но что же лучше прелести российских степей или красоты гастейнских утесов? Но что лучше—вечные горы, с обгорелыми вершинами, или вечные степи, служащие пастбищем для скота и пахатной землею? Не надо любоваться комнатой, которая красива, но не удобна, не надо любоваться человеком, которого наружность приманчива, которого внутренность дурная. Ежели бы не было сих гор, герцогство Зальцбургское не было бы бедною страною, ежели бы не было сих гор, в Гастейне процветала бы торговля, в Гастейне была бы проведена

[1] С иронией, т. к. край этот не нравился ему своей суровой красотой.

железная дорога. И на что, например, река Ано, река Зальцан, на которых судоходство невозможно по причине подводных камней. И только сии реки кипят, и только сии реки нарушают тишину, царствующую в этом крае: а ведь отчего на русле сих рек камни? От осколков окружающих утесов.

„Тетя Лиза[1] говорит, que je suis trop jeune pour comprendre les beautés de Gastein... O meine liebe Schwester,[2]—неожиданно переходит Леля на немецкий язык, я не могу с тобой спорить о деле, которому не верю, говорю тебе искренно, говорю тебе ясно—deutlich.[3]

„Но солнце не останавливается, но земля все вертится и уже стрелка часов показывает 4. И вот уже нашим взорам представляется Лейпциг: его дома и церкви, его школы, магазины. И вот в первый раз я увидел те места, где из меня выйдет человек. Темным показался мне этот город, мне показалось, что все его дома вымазаны гимназическими чернилами, что все ходящие по улице, все учителя...“ Далее идет подробное описание Лейпцига, улиц, памятников. Вечером дядя повел его в театр. Давали Дон-Жуана. Кажется, Леля первый раз в жизни был в театре. Ему стало очень страшно, когда статуя командора кивнула головой. Выйдя из театра в $10^1/_2$ часов вечера, они были удивлены, увидя, что во всех кофейнях сидели няни с детскими колясочками и пили пиво... „Позволила бы m-me Сесиль так катать Вава́!“—добавлял Леля.

На другое утро дядя поехал разыскивать для нас квартиру, а Леля отправился в Университетскую библиотеку и принялся читать „Geographie der Griechen“[4] Маннерта. Все как-то легко понимается, чего я не ожидал. Потом, спустя несколько времени, вошел студент и начал заниматься переводом „Ελιας“ на немецкий язык. Мы разговаривали немножко с ним так, как ты знаешь, казенно. Здесь очень строго следят за тишиной, но не как Марфуша; как ты верно помнишь: здесь не шикали на весь дом. Прощай, милая Женя. В будущий раз опишу

---

[1] Елизавета Николаевна Еропкина

[2] Что я слишком молод, чтобы понимать красоту Гостейна ...О милая сестра.

[3] Не помню, о каком деле шла речь.

[4] Греческая география.

остальные дни и еще кое-что интересное,“ и пр. и пр. Следующее затем письмо Лели было адресовано тете (от 10 августа н. с.). Оно еще было написано до поступления его в гимназию: „Я сам очень желал бы скорее поступить в гимназию, но придется еще подождать $1^1/_2$ месяца, ибо в этих учебных заведениях каникулы продолжаются от 1 августа по 1 октября. Я с нетерпением жду того момента, когда окруженный немецкими товарищами я буду слушать задаваемый урок. Но, чтобы дождаться этого момента, нужно 45 дней и нужно предварительно выдержать экзамен из всех предметов на немецком языке, к которому я успел привыкнуть, но на котором говорить развязно, хорошо и понятно я не могу. Exactement посещая каждый день Университетскую библиотеку, куда дядя позволил мне ходить, я перечитал некоторые места из сочинений Маннерта, которого я понял, хотя он писал на немецком языке; Страбона я понял больше, чем в Мюнхенской королевской библиотеке, как об этом писал тебе дядя; Помпоний Мэла был другого издания, чем в Мюнхене: очень мелкие буквы. Сегодня меня ожидало в библиотеке сочинение географа Птоломея 162 года по Р. Х. Понял все. Часто мне чрезвычайно хочется ехать назад в Губаревку и продолжать эту мирную и однообразную жизнь; но это было бы без цели, потому что для чего-же-нибудь я выехал из России, из Губаревки; для чего-же-нибудь я разлучился с тобой, Женей и Оленькой. Я очень хотел бы, чтобы ты скорее приехала с Женей и с Schwesterchen Olga,[1] каждый день ходить с сумочкой в Gotaschule[2] и через 9 лет, кончив гимназический курс, поступить в университет: очень долго до того времени и, пожалуй, к моему несчастию не сбудется! Я бы чрезвычайно хотел знать исход нашей поездки? Возвращусь ли я в Россию маленьким или большим? Чем я буду 40 лет и т. д. Я пишу Оленьке на немецком языке, Жени—на французском, значит, в моих письмах я буду иметь практику на трех языках“.

Следующие затем письма также погибли: письма дяди и Лели о волнениях, связанных с поступлением в гимназию. Остались только два письма 5/17 сентября 1876 года:

---

[1] Сестрицей Олей.

[2] Название школы.

„Милая тете, благодарю тебя очень за твое милое письмо и поздравления с вступлением в Nicolai-Gumnasium.

„Покамест уроки не идут особенно хорошо и меня, как я заметил, чрезвычайно мало спрашивают. Первый ученик в моем классе Шак, но он особенно хорошо не учится и подчас не знает того, что знает весь класс. Но тут среди года мальчик, получивший первое место по учению после вступительного экзамена в классе, не может сделаться не только последним учеником, но и вторым учеником; до самого конца года он будет primus (1-й). Второй ученик Шефлер, третий Эрих“, и т. д. Тем же числом помечено и письмо ко мне: „Лейпциг! Липецк! Leipzig!“.

В нем идет—по французски в перемежку с русским—описание его учителей: „Бругман — Classenlehrer (учитель класса) и доктор („все в Лейпциге доктора“,—замечает Леля в скобках) преподает языки и историю, светло-рыжий, довольно добрый, но иногда очень вспыльчивый. Говорит мало, но тихо“... В конце целой серии учителей, Леля называет еще: „Мюллер— учитель пения: толстый, сердитый, раздает пощечины без разбора. Затем представляю тебе великого математика, конечно доктора, —Лемана: говорит быстро, никогда не ошибаясь, и такими периодами, что я, хотя так люблю этот способ изложения, часто хочу его остановить: gut, mein Herr, gut. У него такая память, что он в 30 секунд может умножить 1147 на 87 в памяти... и, наконец, учитель гимнастики, человек сильный, но маленького роста, тоже раздающий направо и налево пощечины. Это г. Шютц..... Теперь поговорим про самый Лейпциг“... Начинается описание города и названия улиц, площадей и заканчивается: „Теперь, благодаря планам, я хорошо знаю этот город и надеюсь (здесь Леля переходит на немецкий язык), дитя мое, что и ты будешь хорошо его знать“. „А пока, ты знаешь мой характер, я не могу удержаться, чтобы не сообщить еще,что в Лейпциге 200 тысяч жителей, все немчура“.

Имеется еще письмо Лели к тете от того же времени: „Завтра будет 3 недели, как я хожу в гимназию с портфелем, под ручку; хорошо, что гимназия не далеко от нашей квартиры, потому что туда приходится ходить в 7 часов утра. Дядя говорил мне, что ты пишешь ему, чтобы он писал тебе, как

понравился ему Мюнхен, хорош ли город. Я нахожу, что после Вены и даже Лейпцига Мюнхен не стоит смотреть—маленький, малолюдный“... Следует описание непонравившегося города, и затем он возвращается к Лейпцигу: „В одной из кофеен получается русская газета „Голос“, и дядя позволяет мне иногда пойти туда и почитать ее: все про братьев-славян, турок, Милана, Мурада V, Черняева, нового султана: много интересного. Сейчас я пришел оттуда и, между прочим, прочел, что в Гастейне теперь уже чрезвычайно много снегу...“

Последнее письмо из Лейпцига от $^{21}/_{9}$ сентября было мне адресовано. „Лейпциг, Липецк. Дорогая Женя. Благодарю за твое письмо. Но мое письмо будет серьезным и отнюдь не может быть пренебреженным. Открой мой секретер и возьми следующие книги: Несторова летопись, Иловайский—3, 4, 5, 6 часть (не книга) и к ним примечания, 3 часть Соловьева и, ежели можно, обе части „Русские люди“ [1]. Эти книги чрезвычайно нужны мне, и постарайся привести их. Ежели найдутся еще какие-нибудь книги или вещи из моего письменного стола, по твоему мнению необходимые, непременно привези и их. Тоже, ежели можно, все мои тетради насчет русской истории возьми уложи и привези. Только что возвратился из гимназии (12 часов); иду туда опять в 3 часа. Теперь в Лейпциге ярмарка (от $^{20}/_{8}$ сентября по $^{20}/_{8}$ октября). Особенного ничего: пустые вещи; книг что-то не видать. Ответа на это письмо получить не надеюсь: как бы самое письмо не дошло бы до вас! Скажи мне, ежели успеешь написать, какие ты с собой книги возьмешь? Для сегодняшнего дня достаточно: много у меня накопилось материалов для истории, но не знаю, как начать.

Линщищно [2] будет видеть, как мы встретимся. Оленька со своей куклой, как она подойдет?... Целую тетю Гулю, кланяюсь m-me Сесиль и Александру Петровичу. Алексей Шахматов“.

---

[1] „Русские люди. Жизнеописания соотечественников, прославившихся своими деяниями на поприще науки, добра и общественной пользы“. Изд. М. Вольфа. СПБ. 1866. в 2-х т. т.

[2] Как у всех детей, у нас был целый словарь своих слов, условных, и выражение „линщищно“ означало—любопытно, и в тоже время, конфузно. „Кринолин“ означало манерность, кокетство, просто „лин“ тоже, но слабее и т. д...

XV

Дорожные приключения

Настали последние дни перед отъездом. Понятно, с какой грустью я расставалась с Губаревкой на три года, с каким усердием я убирала в последний раз дом, растения, пчел, сад! Когда мне зачем-то понадобилось съездить с тетей в Саратов, я не могла провести там и двух дней, рвалась домой, и тетя была вынуждена отправить меня на другой же день с обратными лошадьми. Сама она после отъезда дяди все-таки не раз ездила в Саратов. Помимо денежных дел, ей приходилось заботиться о доме. С помощью зятя своего Николая Петровича Михалевского, она сдала его по контракту на три года. Часть мебели была отослана в Губаревку, часть перенесена во флигель, оставленный на случай приезда, а синяя мебель с суконным ковром была продана. Также были проданы городские кони со всем выездом. Рушилось прелестное, уютное, зимнее гнездышко наше! В каком виде вернут его нам через три года! Отправляя меня в Губаревку, тетя дала мне провожатой Софроновну. Это был особенный тип умной, не без едкости, своеобразной женщины. Всего навидалась и натерпелась она за свою долгую жизнь, хоть и сохранила необыкновенную бодрость. Она жила на какие-то, очень маленькие средства, больше шитьем и постоянно перехватывая у своих „бывших господ", но умудрилась отдать всех своих трех дочерей в гимназию. Муж ее Буданцев, еще и с молоду, когда лакеем с тарелкой стоял за стулом дедушки, не отличался живостью и ловкостью, теперь с годами стал еще „смирнее", покорнее и, хотя зарабатывал для семьи „кое-что"—официантом, всему предпочитал отдых на печи, вытянув свои необыкновенно длинные ноги. Всю жизнь Софроновна с сарказмом относилась к нему, и только когда она достигала сравнительного душевного равновесия, заработав или перехватив малую толику, она могла без раздражения кричать ему: „Ноги! чай подан..." или; „Ноги! обед на столе..." Тогда торчащие на печи ноги спускались, и тихо, добродушно улыбаясь, Буданцев садился к столу. В Губаревке у Софроновны были на деревне родные и друзья. Поэтому поездки в Губаревку ей всегда доставляли большое удоволь-

ствие. Подъехали мы тогда в темь и под осенним дождиком прямо к крыльцу Главного управления, где Ясиевичи уже устроились уютно на зиму.

На другое утро, солнечное и теплое, мы с Софроновной и молодыми фрейлинами, Варей и Таней, принялись за укладку всех оставляемых вещей. К приезду тети все было готово и, кажется, 18 сентября мы выехали.

Еще в Саратове мы пробыли 2-3 дня. Мучительное было время. Все мысли и чувства еще были крепко связаны с Губаревкой, а впереди мерещилось что-то нерадостное, чуждое, напрасное... Сохранившаяся телеграмма тети к дяди определяет день выезда из Саратова—22 сентября.

В Москве у нас была передышка. Мы остановились в Кремле, у тети Софи, где в прошлом году Леля проводил свои отпуски из гимназии и где он болел. Есиповы обласкали и нас. Как хорошо было у них в обширной казенной квартире, с окнами на зубцы Кремлевской стены и видом на Арбатскую и Пречистенскую часть Москвы! Но здесь начились наши „малёры“, как писала Оленька о наших злоключениях.

Наши сундуки со всеми вещами „на три года“ были отправлены из Саратова большой скоростью до Москвы, а из Москвы должны были итти в Лейпциг, сданные на Смоленском вокзале после осмотра, который избавлял от таможенного осмотра на границе. Сторож Тюрин, опытный в подобных делах, был отправлен на вокзал, но вернулся, заявляя, что требуют барыню, отправлявшую вещи, потому что с сундуками что-то неладно. Тетя поехала с ключами от сундуков на вокзал. Оказалось, что дно в одном из сундуков провалилось и все сундуки, по раскрытии их, оказались набитыми кирпичем и булыжниками... Все, что мы везли с собой, было похищено. Составили протокол, опись. Кузен Николай Григорьевич Есипов, как юрист, конечно, очень помог тете во всех ее хлопотах и за этим прошло более недели. В продолжении ее мы с Николаем проводили по несколько часов, знакомясь с достопримечательностями Москвы. Мы с ним основательно осмотрели Румянцевский музей, Третьяковскую галлерею, множество церквей, а Кремль нам показывал и сам Григорий Васильевич: чудные залы дворца, Грановитую палату, терема, соборы, мо-

настыри. Мы изучили Кремль, как свои пять пальцев. За обедом и по вечерам отец и сын—Есиповы посвящали нас, или по крайней мере меня, во все историческое значение виденного днем и, благодаря им, прежде чем ехать за границу „ахать“ над чужими музеями и искусствами, мы—„деревенщина с центром мира в Губаревке“, могли убедится, что̀ за сокровища и у нас в России. Да есть ли еще что-либо подобное Кремлю в Европе? Даже тетя Софи приняла участие в наших экскурсиях: повела нас на Кремлевскую стену над Александровским садом; здесь дочь ее Саша (Олсуфьева) любила предаваться честолюбивым мечтам, отчасти исполнившимся. По крутой каменной лестнице в Троицкой башне поднимались мы в архив, где работал Григорий Васильевич; ходили в дворцовую церковь ко всенощной и в зимний сад. Все это сильно отвлекло нас от случившегося несчастья: ведь мы потеряли все наши любимые книги и вещи. Один раз мы были у Трескиных в Трубном переулке, обедали и провели у них вечер. Леля был прав, когда говорил, что это идеальная семья. Но кончился этот вечер у Трескиных для нас большой тревогой. Я с тетей ехала на одном извозчике, а Оленьку повезла гувернантка Трескиных на другом. Было темно. Наш извозчик почему-то отстал от впереди ехавшего извозчика Оленьки и, когда мы приехали домой, их еще не было. Прошло полчаса невыразимой тревоги: их не было! Наконец, наконец, они приехали. Оказалось, что глуховатый старик-извозчик расслышал только из адреса: „Кремль... мимо Кутафьи... Троицкие ворота“... а дальше понадеялся на седоков. Гувернатка тоже пропустила мимо ушей фамилию Есиповых и понадеялась на Оленьку, а Оленька забыла даже имя Григория Васильевича и помнила только „тетю Софи“ и „cousin Nicolas“. И вот, когда проехали Троицкие ворота, явился вопрос, куда-же ехать. — „К тети Софи“, —упорно повторяла Оленька. Гувернантка была в отчаянии. Извозчик качал головой. Пробовали допрашивать прохожих, где живет старик, который работает в башне.[1] Прохожие не знали. Стали кружиться по всему Кремлю, допрашивали часовых, никто не знал тетю Софи. Наконец, решили ехать обратно в Трубный, но, к счастью, в Троицких воротах, попался Тюрин,

[1] Троицкая башня, в которой был архив, где работал Г. В. Есипов.

уже с час бегавший в поисках за барышней. Хорошо еще, что добродушный старик-извозчик не высадил их на Красной площади, как сперва намеревался, а кружился с ними целый час, за что, конечно, был хорошо вознагражден.

Но вот настал день отъезда из Москвы. А как было хорошо в Москве! Ну, что бы поселиться в Москве, часто бывать у тети Софи; Николай такой милый, добрый! Как он умно разговаривал с отцом о древностях, истории, искусствах, все-то он знал. Он не был красив, но лучше чем красив, обаятелен, потому что очень напоминал тетю. За эту неделю я успела так к нему привязаться, что расставаться с ним уж мне было жаль. И его забавлял мой интерес ко всему, что он показывал и рассказывал, а также Оленькины вопросы и соображения. „Удивительно! Шахматовы и Челюсткины не могут быть равнодушны друг к другу!“—заметила тетя Софи, как-то особенно поджимая губы [1].

Но Шахматовы и Челюсткины расстались в этот раз благополучно, хотя, когда Николай провожал нас вечером на Смоленском вокзале, мне очень хотелось плакать, прощаясь с ним. А вокзал был такой гадкий, столько народа, такая толкотня! И уезжать поздно в какую-то темную даль было так жутко!

Утром мы проснулись уже под Смоленском. Чем дальше уезжали мы, тем грустнее становилось на душе. Мы с Оленькой все время смотрели в окна, но картины были печальные. Стоял конец сентября, лил осенний дождь, рваные серые тучи низко плыли над болотами; леса были порублены, все сосновые да еловые, но, конечно, не чета аряшенским. В Бресте у нас была остановка. Очень звала нас Софочка[2] к себе на перепутьи. Мы провели у ней целый день и познакомились с ее мужем и родителями, жившими у нее. Она была все так же красива и мила. Поехали дальше, в Варшаву. Здесь—новое несчастье, хотя только мое, личное. Я оставила в фаэтоне извозчика, перевозившего нас на другой вокзал—вечером—мой дневник. Мой первый и любимый дневник! Жалела я его так, что до сих пор его жалею. Я выразила в нем все то, что вдруг

[1] Намек на многократные увлеченья и браки между этими семьями начиная с 1790 года.

[2] Софья Петровна Репе, в замужестве Окулова.

заговорило в душе, точно проснувшейся от летаргии. Он должен был помочь мне разбить все доводы дяди и Лели о воспитании и жизни за границей, а также все то, что я почувствовала всеми фибрами души красивого, чудесного, глубокого, в русской стране, и в произведениях литературы, в картинах русской жизни и в духе народа...

Мы переехали границу в Скерневицах. „Ну-с, посмотрим теперь,—говорила я себе: посмотрим, да посравним!" и, заранее предубежденная, я старалась убедиться, что особенного ничего нет за границей. Ну да, леса в порядке, не то, что у нас, особенно по Смоленской железной дороге, но затем—ничего особенного. Тете, поклоннице Запада, нравилось, например, что в полях немки—в круглых соломенных шляпах; что немцы-рабочие в галстуках и воротничках, а я находила, что наши Феклы и Дуняши в своих цветных платочках на голове ничуть не хуже, а даже красивее этих немок, а о мужчинах нечего говорить; что может быть красивее русского костюма—плисовых шаровар, кумачевой рубашки и высоких сапог? А форма наших кондукторов как красива; германские же кондуктора что за туши! Какие у них жирные, горловые голоса! А вагоны! Только в России и можно ездить по железным дорогам, уж это давно я слышала. Нет m-me Курдюкова вполне права.[1]

Предупрежденные телеграммой, дядя с Лелей встретили нас на вокзале в Дрездене, где мы провели дня два, радуясь нашему свиданию после 4-месячной разлуки. Дядя хотел, чтобы мы непременно видели Сикстинскую Мадонну, Брюль-террасу и пр. Конечно, Мадонна великолепна. Но к чему такому дивному произведению искусства красоваться в городе, где так много пива, сигарного дыма и самодовольных бюргеров? Ее место в Италии. Про себя я очень мечтала когда-нибудь попасть в Италию. Поездка туда—равна поломничеству по святым местам: ведь там протекла славная римская история!

На скамейке вдоль стены против Мадонны сидели молча и задумчиво паломники искусства, многие с закрытыми глазами. Оленька заявила, что они спят и, кажется, была права. Наш милый Knäbchen[2], как мы тогда звали Лелю, кажется, тоже

---

[1] Героиня произведения И. П. Мятлева „Сенсации г-жи Курдюковой".

[2] Мальчик.

не очень увлекался немцами и своим Gymnasium. Бругман такой суровый и взыскательный... И мы вздыхали, тихонько, чтобы не огорчать наших милых родителей. То ли дело в России? Конечно, пропажа всего нашего имущества сильно отравила и им эту поездку. Мы только радовались тому, что свиделись.

Вскоре мы очутились в Лейпциге, на Salomonen Strasse, в пансионе фрау Хенниг. Дом стоял во дворе в саду. У нас было 4 комнаты. Дядя с тетей обедали у себя, а мы были обязаны обедать в час и ужинать в 7 часов вечера внизу, в общей столовой. Пансионеров было не много. Были какие-то родственницы и знакомые фрау Хенниг, сменявшие друг друга. А постоянных, кроме нас, было всего два студента—Винкельман и Вольнер. Оба были очень высокого роста, провели юность в России и совершенно свободно, без акцента говорили по-русски. Они были дружны и, вероятно, однокурсники в университете, но не походили друг на друга. Вольнер был очень добродушный человек. В его синих глазах, при черных, как смоль, волосах и бородке, светилась и доброта, и приветливость. Поэтому я не особенно протестовала, когда дядя объявил мне, что Вольнер будет мне давать уроки древних языков. Винкельман был красавец. Черные, очень красивые глаза, русые волосы и усы. Он обращал на себя внимание, даже на улице. Но в глазах и осанке его была такая гордость, от него веяло таким холодом, что фрау Хенинг с домочадцами ходила перед ним на цыпочках. За столом уставленным кружками пива и колбасой всех сортов, он никого не удостаивал своими беседами и только в пол-голоса, да еще часто недовольным тоном, разговаривал с Вольнером. Он наводил на меня непреодолимый конфуз, и я, на мое несчастье, еще вздумала краснеть. Не тогда, когда он ко мне обращался, этого никогда и не случалось, а тогда, когда тетя произносила при мне его имя и испытующе смотрела на меня. Тогда я краснела до слез, и от конфуза, и от досады на себя, и от того, что тетя думает, что я поражена Робертом Винкельманом, тогда как я только бесконечно злюсь и на себя и на его гордый вид, унижающий меня, на его манеру держать себя гордо, свысока. Вообще, мне претило особенно, когда за столом поднимались рассуждения нашей

хозяйки о России, о которой она понятия не имела, и представляла себе ее только как страну вечных льдов и лютых морозов, а если говорили о „Russland“, она тотчас добавляла, как бы единственное прилагательное для России: und so viele Wölfe![1] Даже ее комплименты были ядовиты и обидны.

Ее, например, удивляло, как могла Оленька, ein so zartes, feines Kind[2] прожить и даже родиться в России.

„Вот она,—ворчала я, сообщая Леле свое негодование,—эта немецкая тупость! Воображает, что они только культурные люди, а мы—дикари! Ей бы сперва географии да истории поучиться.“ Леля мало реагировал на мое возмущение. Он был слишком поглощен своими уроками и тем, чтобы быть учеником, достойным своего „российского происхождения“, говорил он шутя. К сожалению, у меня не осталось никаких следов о пребывании его в Лейпцигской гимназии. Режим немецкой гимназии—штрафы денежные за рассеянность, удары линейкой по пальцам за шалость и многое другое—делали пребывание совершенно неприятным. Помню только, что и его репетировал Вольнер из древних языков, и, сознаюсь, теперь я сравнительно усердно готовила уроки приятелю этого „зазнайки“. Вольнер очень хвалил меня, да, вероятно, я и делала успехи, судя по сохранившемуся письму моему к дяде на греческом языке.

Но дяде все было мало. Он приготовил уже мне пансион: Tochterschule некоей фрау Шульц. Странно отнеслась эта высокая, толстая начальница ко мне, junge Russin.[3] Побеседовав со мной с полчаса, вместо экзамена, она определила меня в 5 классов зараз. Из французской и немецкой литературы я очутилась в старших классах, даже в выпускном, остальные же предметы проходили в нисходящих классах, английский же язык—в младшем классе, хотя я совершенно свободно переписывалась на нем, практики ради, с Сесиль Ширковой. Что руководило матроной, бог весть, вероятно, та же фантазия, что в России обучают шиворот-навыворот. При Оленьке была очень милая, молодая девушка, еврейка, фрейлен Штейнберг. Она учила ее

---

[1] Столько волков!

[2] Такое нежное, тонкое дитя.

[3] Молодой русской.

всем предметам по-немецки. Праздниками мы делали с ней длинные прогулки за город, в Schillers Häüschen[1] и пр.

Так прошло два месяца. В общем жизнь эта не очень была нам по душе. Город, пропитанный угольным и сигарным дымом, нам не нравился... Но всех более стал тяготиться этой жизнью дядя. Мы, собственно, не знали, чтó послужило толчком к разговорам о переезде в Париж. Как бы то ни было, но в начале нашего декабря мы простились с Шульц и в довольно морозное, туманное утро die russe Familie[2] очутилась в какой-то дорогой гостинице в Париже.

XVI

1877 г.—В Париже

Конечно, как только мы прибыли в Париж, появилась у нас, ежедневно, тетя Лиза Еропкина. Она же поехала с тетей в лицей и в пансион Коллет и Жанин. Познакомила нас с умной и живой Жанин, по годам более мне подходящей, нежели старшая—Коллет Дюма. Но прием в пансион и в лицей был отложен до января, так как наступили заграничные праздники. Пока нужно было позаботиться о помещении, менее дорогом, чем гостиница. Было подыскано 4 комнаты с пансионом на Rue de Provence. Все это заняло не мало времени. Чтобы его не терять напрасно, мы стали знакомиться с городом Парижем. То тетя с дядей, то тетя Лиза водили нас по всем музеям, картинным галлереям и дворцам. Мы не расставались с путеводителями, ездили в Булонский и Венсенский лес, в Версаль. Тетя и дядя, хорошо знавшие Париж, находили большое удовольствие знакомить нас с ним. В „Illustration“ 1870 г. в Губаревке мы насмотрелись еще с детства на виды Парижа. M-r Тьер, любимец дяди, маршал Мак-Магон и многие другие были нашими добрыми знакомыми еще с тех пор!.. Поэтому теперь мы с тем большим интересом на-яву знакомились с местом действий этих лиц, и все эти: Rue de 4 Septembre, Бастилия и прочее являлись живой иллюстрацией страшной драмы, пережитой городом в 70-ом году. Конечно, все раны уже были

[1] Домик Шиллера.

[2] Русская семья.

залечены, город был великолепен, но с Тюльери еще далеко не были смыты следы разорения. По вечерам мы вслух читали „Историю Франции“ Гизо. Великолепное издание, аккуратно присылаемое нам А. Г. Ширковой, как праздничный подарок, пропало с прочими книгами, которые мы везли с собой, но дядя немедленно абонировался и стал нам читать последние, еще не дочитанные тома.

Так настало и наше Рождество. Мы провели его тихо, но сравнительно приятно. Иногда проводила у нас вечера тетя Лиза, и тогда все ее рассказы вертелись вокруг семьи Александра Дюма, которую она так любила. Жена Дюма была русская,—Нарышкина. Заходил Симьо, бывший дядин учитель гармонии и контрапункта. У нас было пианино и дядя постоянно наигрывал свои сочинения, восхищавшие старика-француза. Под его наблюдением был издан в Париже целый ряд романсов и „Плач Ярославны“. Все они были сочинены еще в молодых годах, годах любви и увлечений, 1850—62 гг., а в прозаическое время, уже при нас, помнится, дядя написал только „Demoiselle, arrête un peu“, песня, упоминаемая в „Malgré tout“ G. Sand.

Помню ясно, как в 1873 г. осенью в Губаревке тетя читала дяде вслух этот роман в „Revue des deux Mondes“ (получавшемся нами на протяжении десятков лет, так же как и „Русский вестник“). Дядя тогда, прервав чтение, подошел к пианино, и тут же создал этот красивый мотив.

Конечно, к праздникам мы получили целый ряд книг в дорогих переплетах, да и у нас были заготовлены сюрпризы для дяди с тетей. Я не помню, чем мы с Оленькой „обрадовали их“, но Леля написал им письмо (от 24 декабря 1876 г.), которое случайно сохранилось.

„Милые тетя и дядя. Поздравляю Вас с праздниками Р. Х. в этот раз на письме, хотя мы так близки друг от друга. Чем же другим выразить Вам мою любовь, мое уважение к Вам? Историей—каким-нибудь историческим выводом? Но история, начиная со скифов, до самого Рюрика всем надоела (исключая меня), потому что я дальше не двигаюсь. Поцелуями, но поцелуи безмолвственны, хотя и должны выражать любовь, впрочем они тоже надоели. Я люблю историю и буду

любить ее: я влезаю на лестницу, начиная с низших ступеней, и влезаю медленно, часто спускаясь назад, но влезши, я больше не спущусь. Впрочем, занимаясь историей, в самом деле я нисколько не забывал уроков, я нисколько не смотрел равнодушно на поступление в лицей. Я не занимался ими, ибо был занят историей. Ежели я поступлю, мне останется сказать то же, что говорил в Москве и в Лейпциге: надеюсь выдержать тут экзамен, даже для поступления в Университет, но к, сожалению, мои надежды не исполнялись, и я же был виною того, что мне приходилось выступать из гимназии [1].

„Итак мне приходится довольствоваться этим малым количеством строчек, чтобы поздравить Вас, милая тетя и милый дядя, но надеюсь, что эти строчки, хотя в них нет ни чувства, ни духа, выскажут Вам хотя унцию моей любви и уважения к Вам".

От того же числа сохранившееся поздравление на греческом языке за моей подписью, по всей вероятности, должно было послужить и моим подарком дяде.

Много тогда получилось поздравительных писем из России, но одно из них, из Саратова от Михалевских встревожило нас. Тетя Надя писала, что к ним перед праздниками приезжал Ясиевич, прося помочь им выполнить условие, написанное ими с тетей—аренду на 3 года; им невозможно—у них сын растет, средств не хватает, необходима служба, а Губаревка ничего не дает. Он просил о том предупредить тетю. Вслед за тем пришло письмо от m-me Сесиль о том-же: у них нет денег, питаться воздухом нельзя и т. п. „Как нечем жить? Ведь, амбар был полон хлебом, подвалы ломились от овощей!" —волновался дядя. Завязалась переписка... Николай Петрович Михалевский писал, что кража нашего багажа обнаружена. Артельщик Краснов попался в краже какого-то другого имущества и этим дал повод сделать у него обыск. Кое-что из наших вещей нашлось, но все что носило метку, штамп, герб (все книги наши были помечены именем нашим), было уничтожено и, по словам Краснова и супруги его—сожжено. Оба преданы суду. Железная дорога готова выплатить за пропавшее

1 Виною своей считал Леля дважды прерванное поступление в Крейманскую гимназию и, вероятно, и в Лейпцигскую.

имущество известную сумму, но желательно было бы присутствие тети по обоим вопросам. Пришлось думать, что делать. Съездить ли тете одной и вернуться обратно или же возвращаться в Россию всем и на-совсем? После долгих обсуждений взяло верх второе, но почему-то отъезд наш был отложен до марта.

Быть может, тетя еще надеялась, что возможно будет избавиться от этого переезда, но во всяком случае и Лелин лицей, и пансион Коллет (как мы его звали), были отложены в долгий ящик. Дядя сделал нам расписание уроков так, как бы мы учились в школах, и после Крещения мы принялись „за учебу". Дядя с тетей руководили нашими уроками, заставляли читать вслух на всех шести языках, диктовали, задавали задачи и сочинения. Когда же наступал праздник, каждый из нас принимался за любимое занятие: Леля за свои исторические выводы и послания, а я за ботанику. Кроме того, мы с Лелей придумали издавать газету, раз в неделю. „Новое и старое время" — было название Лелиной газеты; „Сплетница" — моей. Дядя желал, чтобы в каждом номере была хоть одна серьезная, передовая статья. К сожалению, теперь я совсем не помню содержания наших газет, но помню, что газета Лели была гораздо серьезнее моей газеты, одно заглавие которой позволяло мне сплетничать. Помню также, что мы подражали газетным репортерам и перебранивались, „как в настоящих газетах", и в каждом воскресном номере задевали друг друга, конечно, шутя. Только однажды, после описания наших походов в Лувр и другие музеи и галлереи, составлявшие суть наших „серьезных статей", я рискнула написать „серьезно" о бессмертии души, но сбилась с пути и завязла в каких-то глубокомысленных теориях, связанных с понятиями древних о душе и бессмертии души... Получался вывод, будто бессмертным остается, т.-е. сберегает свою душу бессмертной, только тот, кто ее передал детям, и рождение сына означает бессмертие отца [1]. Этот трактат встретил сильнейший отпор Лели. Но, так как я сообразила, хотя и немного поздно, что он осо-

[1] В то лето, перед отъездом за границу, хозяйничая в библиотеке дяди, я начиталась, довольно некстати, Ренана, Дюпюи и др., сумевших поколебать многие понятия, и в голове зарождался сумбур.

бенно бестактен по отношению к бездетному дяде, то и не отстаивала своей теории, а поторопилась обратить все внимание на то, что еще с осени так волновало весь свет. Пожар на Балканах разгорался. Добровольцы в России, одушевленные самыми героическими чувствами, с радостью и необыкновенным подъемом духа, шли спасать и выручать своих братьев, славян. Все газеты в Париже были полны сообщений о Сербии и Герцоговине. В них я стала черпать то, что с меня требовалось, т. е.—„серьезные передовые статьи".

Что делала в то время Оленька? И она училась, долбила катехизис, писала и читала на трех языках с тетей, решала задачи с дядей, зубрила историю с Лелей и географию со мной. Но она в воскресные дни отдавалась „театру". Это было разыгрывание в лицах—с помощью вырезанных из бумаги фигур—целых эпопей царства Петидрольского.

Леля давно забросил свое царство Рантанплана (Царство Гольдкрема так и завяло без расцвета), зато оленькино царство, Петидроль, теперь расцветало пышным цветом, и Леля находил большое удовольствие „играть в него" с Оленькой, проводя за этой игрой целые часы.

Столицей Петидроля был город Букарест и жило там некое королевское семейство. Королевские дети André et Stanislas, „храбрые шалуны", приводили в ужас своими шалостями какого-то папа Коко, воспитателя, иначе не являвшегося на сцену, как с розгой и ослиными ушами для своих воспитанников. Главным действующим лицом была некая кн. Воронцова, воспитательница королевских детей и гофмейстерина букарестского двора. Откуда взяла Оленька этот тип—важной до смешного дамы, представить себе не могу. Кн. Воронцова говорила всегда нараспев, низким, „жирным" голосом, постоянно выкатывала с негодованием глаза и, благодаря своим взбалмошным выходкам, попадала в самые комические и неприятные положения. На создание такого характерного типа не было никаких данных,—разве мятлевская Курдюкова или сегюровская мадам Фишини так подействовали на ее фантазию! Кроме королевских детей у взбалмошной княгини был собственный сын, le bien aimé Chemisette. [1]

[1] Горячо любимый Шемизет.

Вырезанный из бумаги и размалеванный мной мальчик, вершка в два ростом, пользовался особенной любовью Оленьки, удивительно привязавшейся к этой бумажке. В „комедиях“, даваемых в ее театре, бонны и гувернантки, пробовавшие его учить и наказывать, вылетали à coup de balai [1].

Все комедии давались исключительно на французском языке. Но кроме них были другие представления на русском языке. Их сочинял сам Леля и представлял их собственной персоной. Тут были разбойники, пленники, в особенности несчастные пленницы у турок. Тогда Оленька сидела, свернувшись клубочком в кресле, поджав ноги от страха, и с замиранием сердца следила за каждым словом и движением Лели, то падавшего на ковер, сраженного вражьей пулей, то бросавшегося бить врагов, спасая черкешенок и бедных пленниц. Очень жалею, что я не разделяла тогда с Оленькой страсти ее к театру и не могу теперь яснее вспомнить канву этих кровавых драм, я в то время предпочитала свою игру: путешествие вокруг комнаты, не касаясь пола. Я неслышно прыгала со стола на стул, с умывальника на низкий шкаф [2] и т. д. Но случалось, что стул опрокидывался, а в то же время какой-нибудь „Мустафа“ отбивал персиянок от арабов или сербы гнали турок... Тогда поднимался такой шум, что являлась хозяйка пансиона, m-me Сендик, с сердито поджатыми губами, прося вести себя потише, а то нижние жильцы, больные старые дамы, грозят покинуть пансион. Тогда Леля менял сапоги на туфли и старался менее яростно колотить подушки —врагов своих, турок. Но, каюсь, еще не раз появлялась m-me Сендик...

Тетю с дядей, часто выходивших без нас из дома или сидевших далеко от нас, в 4-й комнате, за чтением или музыкой, вероятно, мало беспокоила возня и шум наших игр: топот ног не раздавался над их головой... Только однажды, когда Леля, накрывшись „тигром“ (служившим ковром), пополз к Оленьке на четвереньках с тихим рычанием, изображая охоту в Африке, Оленька так отчаянно запищала и заплакала, хотя

[1] Выгонялись метлой.

[2] Вероятно, прочтя „Путешествие вокруг моей комнаты“, Ксавье-де Местр.

Леля облекался в шкуру на её глазах, что тетя испугалась и, застав тигра на месте преступления, очень строго запретила подобные игры.

Мы прожили в Париже очень хорошо, но тесной семьей и так прожить с неменьшим успехом могли-бы и в Губаревке. Париж мало влиял на нас, и только знакомство с внешностью города: с дворцами, музеями, бульварами и их кипучей—на глаз—жизнью произвело на нас впечатление на всю жизнь, но парижане, т.-е. душа города, остались для нас непрочитанной страницей; мы их видели только на улице.

XVII

Домой, домой!

Между тем, письма из России становились все тревожнее. Ясиевичи торопили наше возвращение, грозя выехать, не дожидаясь тети и оставить Губаревку без надзора, и тогда не отвечали за сохранность ее. В 20-х числах марта мы, наконец, покинули Париж. Остался только еще там дядя. Ожидал ли он присылки денег из Саратова, занят ли он был изданием своих романсов, вместе с Симьо,—не даю себе отчета. Весь багаж наш, которого все же набралось теперь достаточно, был отправлен малой скоростью на Марсель, морем до Константинополя и Одессы, хотя уже грозила война.

Обратная дорога была гораздо веселее прошлогодней, поздней осенью. Мы останавливались в Кельне, чтобы запастись столь любимым тетей одеколоном, любовались каменным кружевом Кельнского собора; почему-то мост через Рейн переходили пешком; в Бреславле поднимались на какую-то башню с видом на весь город. Вообще, вид заостренных шпилей немецких кирок и даже их соборов, заостренных черепичных крыш и, вообще, вся германская архитектура со своими прямыми линиями и острыми углами леденила душу, даже из окон вагонов, и после мягких, округлых, веселых тонов Бельгии наводила тоску. Я все-таки все смотрела в окна и записывала свои впечатления, потому что дорогой же, в белых стихах, подробно описывала всю нашу заграничную поездку. Леля с Оленькой избрали более интересное занятие. Всю дорогу

они с громадным увлеченнем играли в Петидроль. Королевские дети в сопровождении своих воспитателей—Воронцовой, папа Коко и старой фрейлины m-me Popincourt, тоже предприняли поездку, с целью знакомства с чужими странами. Их попеременно сажали на край рамы окна, чтобы они могли любоваться видами. Но однажды Алекси, третий королевский сын, и шалунишка Шемизет зазевались и соскользнули за раму. Поднялась тревога. Оленька плакала, точно потеряла дорогое существо. Пассажиры купэ приняли в ней живейшее участие и предлагали ей апельсины и конфеты. Но Оленька не унималась. Тщетно Леля принимал разные меры, чтобы извлечь легкомысленных путешественников из подрамника. Много раз мочил он водой кончик зонтика и упорно пытался, как водолаз, ощупать погибших, надеясь, что бумажки прилипнут к мокрому концу зонтика. Но—они не прилипали! Видя горе и замешательство обоих, я тихонько нарисовала второго Шемизета, моментально размалевала цветными карандашами на подобие первого и, с помощью небольшой хитрости Лели, этот новый Шемизет очутился на конце его зонтика и был торжественно вручен обезумевшей от горя мамаше. Трудно было бы не заметить, что второй Шемизет свежее, новее заигранного первого, если бы даже и походил на него, но Оленька так хотела верить, что это ее bien aimé [1], что он спасен: искренно, или нет, но она поверила.

Что же касается Алекси, то он погиб безвозвратно между рамами окна вагона, проезжая долиной Эльбы, о чем и был составлен „королевский бюллетень". Только понятно, Алекси погиб в долине Эльбы не потому, что попал за раму окна, а потому, что: „il a attrappé une indigestion [2] благодаря немецкой колбасе",—стояло в донесении гофмейстерины.

Мы ожидали, что испытаем большую радость, когда на границе увидим первого русского носильщика и кондуктора, а в буфете спросим настоящего черного хлеба и кислых щей. Но мы ее не испытали в достаточной мере: нас так строго допрашивали на таможне, рылись в нашем небольшом багаже,

---

[1] Любимый.

[2] Схватил расстройство желудка.

отобрали несколько книг. Пришлось хлопотать об их возвращении. Нам их вернули, но „Мишель Строгов“ Жюль-Верна, рождественский подарок тети Лизы, прекрасное издание в красивом переплете, застряло в цензуре навсегда, хотя это была детская книга! Хорошо еще, что мы сумели отстоять наше любимое „Aventures d'un petit parisien“[1] и другие книги.

Застигнутые в дороге Пасхой, бывшей в том году в конце марта, мы провели конец страстной и Пасху опять у Софочки в Бресте. Теперь мы ближе сошлись с ее семьей и Окуловым, который боготворил свою Софочку. Он был очень добрый, кроткий, милый человек. Он водил нас по городу, показывал крепость и прочие достопримечательности Бреста. Он один из съехавшейся большой семьи Репе пошел с нами к заутрене: весь женский персонал и сама Софочка так были поглощены приготовлением разговения, что, когда розовая, тюлевая и „пятинетая“ бабы и куличи поднимались, запрещено было разговаривать и даже дышать поблизости их. Зато разговенье удалось на славу, и мы никогда не видели такого разнообразия яств. Отпустив нас на второй день праздника, Софочка снабдила нас куличами, мазурками, фаршированным поросенком и прочим, хватившим нам до самой Москвы.

В Москве пришлось опять провести несколько дней у Есиповых, в ожидании Франца Ивановича Креймана, который куда-то уехал. Тетя надеялась вновь поместить Лелю в гимназию, чтобы не потерять учебного года. И Леля теперь очень желал этого. По приезде Франца Ивановича, Леля сдал небольшой экзамен из древних языков и 5 апреля был принят в 3-й класс. Простившись с ним не без грусти, мы продолжали путь. Есиповы все также обласкали нас, но Николай — был в Петербурге, а кузина Саша говорила, что всегда ожидала от m-me Сесиль одно худое, что очень огорчало тетю Софи...

8 апреля мы подъезжали в фаэтоне тройкой от ст. Курдюм к Губаревке. Грустно было подъезжать к нашему опустевшему гнездышку! Матвей дорогой сообщил нам, что Ясиевичи переехали в Саратов еще до Пасхи и сдали Губаревку Ивану

[1] Приключения маленького парижанина.

Григорьевичу на хранение; что пара лучших лошадей продана, а для выезда осталась только молодая тройка. А Милка дома— воду возит. Проданы и коровы, осталось всего две, а все рабочие волы были зарезаны по приказанию Ясиевича и вывешивались в тире зимой как приманка волков. Съезжались тогда охотники и стреляли их, а затем гостей угощали ужином и всю птицу, до одной, скушали... А когда Ясиевичи стали в город переезжать, так две недели, в самую мартовскую распутицу, перевозились! И сколько вывезли тогда хлеба, овса, гороху, сколько кадок с солониной... А мы так доверились им, так радовались, что сдали им Губаревочку нашу!

Мы остановились в Главном управлении [1], которое Иван Григорьевич, предупрежденный телеграммой, вытопил и приготовил. Он встретил нас с печальным и озабоченным лицом: как-де перенесет барыня такой погром? Тетя была ужасно возмущена: „Как! две лошади проданы и две пали? И Белянка продана?"—допрашивала тетя.—„Да-с, да-с",—сумрачно повторял Иван Григорьевич. „А вы-то что? Вы отчего молчали? Вы отчего не написали мне всю правду?" —Иван Григорьевич оправдывался. Ясиевич призвал его уже в марте и говорит: „На, мол: береги как хочешь, а мы уезжаем!" Писать тете он не смел: „Боялся побеспокоить". „Раб с одним талантом!"— с горечью произнесла тетя, вспоминая определение Ивана Григорьевича дядей. Но терять время на сожаления не приходилось. Надо было приняться за дело, да поскорее, весна уже наступила, пора было сеять, а семена тоже были проданы! С помощью Ивана Григорьевича, тетя спешно сдала землю крестьянам, а затем, оставив нас на попечении Афины Ивановны, поехала в Саратов, хлопотать о прочих делах.

Остановившись у Михалевских, принимавших живейшее участие во всей этой беде, тетя послала за Ясиевичами. Оба явились, на вид довольно сконфуженные. Он уже поступил на какую-то службу. Стали оправдываться: „Nous ne pouvions manger du bois, nous ne pouvions vivre d'air"[2],—говорила m-me Сесиль, затейница катастрофы. Александр Петрович держался

[1] Контора.

[2] „Мы не могли питаться деревом, мы не могли жить одним воздухом".

скромнее и сознавал, что причинил убытки, „в силу необходимости, конечно, но готов их возместить, выплачивая по мере сил“. При этом он подал тете вексель на себя в 200 рублей. Тетя разорвала тут же этот вексель, считая подобную сумму насмешкой, и прибавила, что не желает их больше видеть, потому что они жестоко обманули ее доверие к ним... С тех пор ни тетя, ни мы, их более никогда не видели и не встречали! После дела с Ясиевичами, а затем и разных неприятностей и убытков с жильцами городской квартиры, которые сбежали, не заплатив аренды, но предварительно выломав все дверцы от печей, вьюшки, гвозди и крюки в доме,—ликвидировалось дело и с железной дорогой. Краснов с женой, за неоднократное похищение багажа, был осужден на 20 лет каторги. Железная дорога выдала тете две тысячи, сумма совершенно не соответствовавшая убыткам, конечно. При оценке в Москве, книги оценены были грошами, а в них-то и была главная ценность. Пришлось огорчить Лелю, сообщив ему, что Соловьев, Карамзин, Нестор—были сожжены Красновым. Чудом уцелели две его тетради, в которых он, 10-ти лет, писал „Историю России“. Уцелели и „Русские люди“, Иловайский, Берте... Нашлись и некоторые платья, вещи, шкатулки со сломанными замками, но дочиста опустошенные. Шубы и ценные платья исчезли. Пока тетя сводила таким образом счеты и ликвидировала последствия неудачной попытки надолго увезти нас из России и оторвать от Губаревки, мы с Оленькой тихо проводили время с Афиной Ивановной, тотчас же переселившейся к нам из своей кельи с Ванюхой. Ванюха все более дурнел. Рохля, рыжий, в веснушках, он и с годами не выравнивался. Одна Афина Ивановна попрежнему в нем души не чаяла. По вечерам Оленька играла с Афиной Ивановной в шахматы и шашки. Выучиться играть в шахматы на старости лет Афине Ивановне было очень не легко, но все же она выучилась, и этим очень радовала Оленьку, потому что всегда проигрывала, а выигравший всякий раз получал от меня варенья из китайских яблочек. Я запрятала, уезжая, несколько банок варенья в печки, и Ясиевичи не увезли их, как увезли все варенье из кладовой.

Весна была поздняя, не только шли дожди, но и два дня лежал снег. Утренники попортили сады. Наш сад был спасен

Иваном Григорьевичем, который зажигал на заре кучи хлама и сухих листьев, заготовляемых с вечера. Дым стлался низко по траве, окутывал яблони и спасал цвет от мороза. Все хозяйство наше теперь было доведено до размера дачного, так как вся земля была сдана крестьянам. Поэтому вся забота наша с Иваном Григорьевичем была направлена на садовые работы. Оранжерею и теплички — рабочие топили зимой кое-как, персиковые и абрикосовые деревья померзли, потому что садовник, не получая жалованья, еще зимой ушел в город. В парниках тянулась одна редиска и капуста. В фруктовом саду зайцы и мыши натворили массу бед. Залечить раны, нанесенные Ясиевичами нашей милой Губаревке, стало моей горячей мечтой. Целыми днями я мыла и обчищала все заплесневевшие растения в оранжерее, проращивала в горшках корни канн и георгин, сеяла цветы в ящиках. На птичьем дворе курицы не осталось! Достали несколько клушек, посадили их на яйца. Поэтому, когда тетя, задержанная делами в Саратове, соскучившись о нас, прислала за нами Стешу, чтобы провести с ней несколько дней до конца апреля, я умоляла ее отпустить меня скорее, „потому что весна год кормит". И все-таки мы были вынуждены провести целую неделю в Саратове, остановившись у Михалевских. Тетя вновь сдала дом, а также и флигель.

В Саратове было большое оживление: 12 апреля была объявлена война [1].

Всю дорогу Стеша[2], как лучшая газета, сообщала нам сведения, дошедшие до нее по поводу всех этих событий. Ее патриотический пыл разгорался. Она была готова бросить своего рохлю—Буданцева, детей, лететь на помощь к братушкам. У Михалевских тоже только и было разговора, что о войне, о добровольцах...

XVIII

Крейман, 3-й класс.

Леля был счастлив вернуться в свою гимназию и стать опять на рельсы учебной жизни. В письме своем (от 9 апреля), к дяде

[1] Балканская война 1877—1878 г. г.

[2] Стеша—Софронова.

который все еще был в Париже, он писал, что все товарищи узнали его и встретили, как старого приятеля, некоторые из учителей его целовали. Только многие из его товарищей остались во 2-м классе, не выдержав экзамена в 3-й класс. „Хотя я здесь 4-й день, но первые ученики 3-го класса: Дирибизов, Кизеветтер и Перевощиков говорили с Лавровским, Мизко, Потапьевым, Блудовым и др., каким способом помешать мне стать первым в классе. Они стараются уличить меня в незнании и постоянно меня экзаменуют. Но я не обращаю на это внимания и, чем более они мне мешают учиться, тем более я буду стараться.

„В 3-м классе больше не дерутся (все дурные мальчики исключены), и, если желают дразнить, то дразнят только словами. По всем предметам я наравне с ними, только из греческого они немного впереди, да и начали геометрию. Всеволожские еще в гимназии, и я попрежнему с ними дружен".

Одновременно Леля писал и мне в Губаревку: „Гимназия очень переменилась. Трубецких—ни Жени, ни Сережи, ни Алексея—нет. Женя и Сережа вышли из гимназии, не выдержав экзамена в 5-й класс (так рассказывают), они теперь в одной из прогимназий, а Алексей в Катковском лицее.

„Несмотря на мое 4-дневное пребывание в гимназии, весь 3-й класс вооружился против меня мыслью, что я добиваюсь места первого ученика, как это было в 1875 г." Затем, повторяя то, что писал о Перевощикове и прочее, добавляет: „весь класс пристает ко мне, расспрашивая меня, как наречие от manifestus, как звательный падеж от Απωλων, сравнительная степень от κακοσ и т. д. Но они мне этим помогают, ибо не зная чего-нибудь, я посмотрю в книгу и буду знать.

„Есть, конечно, и дурные мальчики, которые, например, называют меня форсило (гордец) и т. д., которые, когда я заговорю с Всеволожскими, Голяшкиными и Михельсоном по-французски, называют меня, или, лучше, нас, — подпольными аристократами. По совету Всеволожского, я не обращаю внимания на них и, подобно Михельсону, когда меня закидывают бумажками, смотрю на потолок, будто с намерением видеть, откуда падают бумажки. Часто я удивляюсь твердому характеру Александра Всеволожского, который со всех сторон

окруженный мальчиками, дразнящими его, смеющимися над ним, называющими его форсилой и т. п., сидит и спокойно читает книгу, даже не глядя на них. Тронуть никто его не смеет, потому что боятся его класса, и, видя что с ним ничего не поделаешь, мальчики уходят от него. Эти мальчики еще ничего, но между мальчиками есть нигилисты...

„Про учение мое я могу сказать следующее: из французского я получил 5, из латинского—4, из истории—5+. Кстати, про историю: я участвовал только при одном уроке, но по мнению всех учеников уже из нее я первый. Мизко, малороссиянин, бывший первый из истории, заплакал, когда я получил 5+, и бросился с яростью на меня: мы держим теперь пари, кто лучше будет знать историю во вторник?..“

В письме к дяде от 17 апреля Леля писал:

„Война объявлена. Когда об этом узнали у нас в гимназии, все мальчики, большие и маленькие, обрадовались до сумасшествия. Нас повели в церковь, Франц Иванович прочел всем ученикам манифест. Сегодня я прочел в „Московских Ведомостях“, что русские уже заняли Измаил, Браилов, Галац—турецкие крепости. Черногорцы снова открыли войну, болгары тоже взялись за оружие; на Кавказе русские уже вошли в пределы Малой Азии и проч. Быть может, „Soleil“ [1] еще этого не знает“...

В том же письме Леля писал, что уроки у него идут хорошо: „Из истории мы теперь проходим—Магомет и калифы; из русского языка — мы анализуем и разыскиваем корни слов и пишем сочинения. Покровский, учитель русского языка, очень доволен мной, как он мне сказал. Урок немецкого языка очень интересный: мы читаем древние германские поэмы—Нибелунги, Гудрунсагу, за уроком говорят о филологии древних германцев...

„Думая, что тетя Софи не возьмет меня на воскресенье, я взял интересную книгу из гимназической библиотеки: „Историю Фридриха Великого“, Кони. Это очень интересно. Но тетя Софи за мной прислала, потому что отложила свой отъезд в Петербург.

---

[1] Газета в Париже, которую дядя любил читать.

„У нас в гимназии очень смешной мальчик Рыловников. У него более десяти прозвищ: мохнатый скелет, косая крыса, и проч. Мельгунов, учитель истории, нам объяснил в классе, что название Гибралтара происходит от арабских слов Gebel al Tarek, (имя Тарека, арабского лейтенанта). Сказав это, Мельгунов спрашивает Рыловникова, от какого слова происходит „Гибралтар". Подумав немного, Рыловников отвечает: от слова „адмирал". Весь класс захохотал. Такие ответы его не редки".

Скучал Леля только по праздничным дням, потому что тетя Софи уехала в Петербург. „Ужасно скучно!"—писал он мне (24 апреля): „Нечего делать: ах, эти противные воскресенья! Почти что никого нет: человек 20 только и к тому еще наихудшие. Пристают ко мне, просто невыносимо. Так и ждешь понедельника, товарищей и уроков. Вчера я был у Трескиных. Они только что приехали со смотра войскам. В гимназии разные сборы в пользу раненых".

Все было бы хорошо, добавлял Леля, если бы только не Дирибизов, положительно не терпевший его. Один раз он накинулся на него в бешенстве. Если бы не Голиков, лицо Лели было бы в крови.

„Как и прежде, так и теперь,—продолжал Леля в этом письме,—некоторые мальчики составляют общества, друг друга защищающие или друг с другом соперничающие. Казаки, Алферов и Прогульбицкий, и еще Колесников, Пономарев, Алабушев и пр. составляют одно общество, где говорится про войны и т. д. Всеволожские, Голяшкины, Перевощиков, Голиков, Уваров, Бутеноп, Сазонов—составляют другое. Я принадлежу скорее ко второму. Дирибизов, Потапьев, Лавровский, Латышев, Эйхенвальд—третье и т. д.

„Извини пожалуйста, что я пишу так дурно, но nonchalance[1] отнимает у меня руку. Как здоровье Chemisette?"[2]

Сохранилось и письмо к дяде (от 23 апреля): „Вы ошибаетесь, дорогой дядя, думая, что все ученики любят меня в душе.—Нет! Иные из них совсем не разговаривают со мной, особенно Дирибизов, московский Шак[3], с большим авторите-

[1] Лень.

[2] Шемизет (игрушка Оленьки).

[3] Шак—первый ученик в Лейпцигской гимназии.

том в нашем классе, не хочет понять, что я учусь ради знания, а не для того, чтобы быть 1-м учеником. Если своим усердием я и получу это прозвище, так это нечаянно, против желания... Надо заметить, что я младший в классе. Есть мальчики, которым 18, 19 и 20 лет. — Дирибизову 14 лет. Но все эти ненависти меня не слишком трогают. Но что меня сердит, так это мое прозвище—форсила, что означает щеголь, гордец, франт и проч. „И чем я могу гордиться?“—спрашиваю я их. „Тем, что ты хочешь быть 1-м учеником“. Но все эти прозвища водятся только среди младших учеников. Старшие же любят меня. Один раз, когда Дирибизовы, Бахрушины, Потапьевы, Мейеры и прочие хотели меня побить, все старшие ученики, 3-й класс и весь 4-й класс с Всеволожским во главе, меня высвободили. Оба казака — Алферов (уже записан в полк) и Прогульбицкий меня очень любят. Они составили еще с несколькими товарищами отряд, который всех защищает. Одновременно с вашим письмом, получил письмо от тети. „Мы нашли Губаревку в полном разорении,—пишет она,—лошади проданы“... и прочее.

„Я не скучаю. Завтра, не выходя из дома Самариной [1], буду в театре: ученики будут играть комедию „Publius Terentius“ на латинском языке.

„Вы меня спрашиваете, надеюсь ли я перейти в 4-й класс. Я не боюсь латинского, французского, немецкого и греческого языков, потому что мы повторяем теперь все пройденное. Экзамены будут в начале июня. Я не смогу провести 20 мая в Губаревке.

„Тетя Софи надолго уехала в Петербург, быть может, навсегда. Григорий Васильевич также в Петербурге и Николай. У него там очень хорошее место, я не знаю какое“. После этого бесконечно длинного письма к дяде в Париж, письмо Лели к тете от того же 23 апреля было написано наспех, всего на двух страницах, перед самым сном. Он сообщал, что был у Трескиных: „Заказаны платье, сапоги, кушак и т. д. Финансы не в очень хорошем состоянии: просил денег у Натальи Васильевны [2] в пользу раненых, будет у нас театр, она будет тоже

[1] Т.-е. Креймановская гимназия.

[2] Н. В. Трескина.

в числе спектатеров .... пришел учитель... все встали... сейчас идем спать ... “ Даже почерк Лели, вероятно, от усталости, был небрежный. Бедный мальчик! Мы с тетей остались им недовольны и написали соответствующие письма, когда и следующее его письмо к тете было также коротенькое, исключительно о кастелянше, которая не давала ему чистого белья, и заканчивал припиской, что пишет так скверно, потому что „толстый сосед все время награждает его толчками, которые трудно выдержать... “ Тем не менее, наши письма с выговорами полетели к нему 27-го апреля (мы еще были в Саратове). „Мне не понравилась небрежность твоего письма, писала ему тетя: ты не уведомляешь, отчего ты не у тети Софи, это 1-е; 2-е, что ты позволил себе взять деньги на пожертвование без моего разрешения у посторонней женщины. Твое дело было меня о том уведомить и прошу тебя, чтоб подобная выходка была бы первая и последняя. Без особенного позволения Франца Ивановича прошу тебя также не получать приглашений. Будь здоров и весел, помни свою домашнюю обстановку и правила“.

В том же письме и я добавляла свои нравоучения: „Твое сегодняшнее письмо написано под влиянием школьного духа („brize de l’école“, придумала я французское выражение) и не очень понравилось тете. Ты, например, пишешь тете: „Твое милое письмо“. Оно может быть доброе, приятное, дорогое, нравоучительное, но не „милое“! Также ты пишешь о своих финансах; ведь, ты пишешь по-русски и о себе, а не о каком-либо государстве... “

Огорчился бедный Леля, получив эти письма!

„Благодарю тебя очень за твое дорогое письмо,—писал он тете 30 апреля,—но к величайшему моему сожалению оно заключало в себе порицания. Ах, как забьется у меня всегда сердце, как я заплачу, когда получаю такие письма!.. Так было и в третьем году... Я взял деньги, потому что они были нужны сейчас: сбор кончался в воскресенье. Прости меня пожалуйста за то, что я забыл написать, по какому случаю я не у тети Софи“... Леля повторяет то, что писал дяде о переезде Есиповых в Петербург, и что Франц Иванович его отправил к Трескиным со швейцаром.

„Не сердись на меня, миленькая моя тетя! Как неприятно подумать, что за 800 верст ты недовольна мною!“... Возвращаясь к своей учебной жизни, после перечисления пройденного из греческого и латинского языков, он заключает: „В отношении ко мне мальчики видимо переменились. Они больше не так пристают ко мне. Большая часть называют меня или Алешей Магометом или Шахматёнок.

„Я не понимаю, как это Ясиевичи оставили Губаревку, самовольно отдав присмотр над ней Ивану Григорьеву. Лучше Женя написала бы мне про это, чем про то, что „милое“ письмо не есть нужное выражение, что слово „финансы“, которое я употребил в насмешку, подлежит критике“ и т. д.

Во втором письме, уже от 22 мая, Леля писал накануне устного латинского экзамена: „Мы будем переводить по билетам всего „Мильтиада“ из Корнелия Непота, будем отвечать на вопросы по этимологии и синтаксису, и т. д. Роспуск будет 7 июня в 12 часов. В 8 часов вечера запирается гимназия. Надеюсь, дорогая тетя, что ты не опоздаешь послать кого-нибудь к назначенному сроку, так как в 8 часов 7 июня распускают поваров, наставников“... и т. п. Баллы были отличные по всем предметам, но древние языки его сокрушали. „Мне очень бы надо приготовиться хоть немножко из греческой грамматики, иначе я отчаиваюсь выдержать экзамен. Единственная надежда перейти в 4-й класс, это держать экзамен в августе“. Затем идут поцелуи всей семье, а также тете Натали, проводившей с детьми май у нас. В ответных же наших письмах тетя писала ему, что ездила в Саратов, чтобы заказать ему все новое белье; я же продолжала писать в шутливо-нравоучительном тоне, хотя Леля и недолюбливал этого: „Если вечер—спи спокойно, если день—учись хорошо, если утро—будь бодр“. (Кроме упомянутых писем Лели, остальные его письма к дяде, к Оленьке и ко мне—все пропали).

Дядя выехал из Парижа только в половине мая и в начале июня был в Москве, где провел несколько дней с Лелей и, конечно, прежде всего помог ему решить мучавший его вопрос о древних языках, в которых Леля себя чувствовал слабым. С общего согласия было решено отложить экзамен древних

языков до августа, подогнав их за лето с репетитором, по рекомендации Франца Ивановича.

День своего рождения, когда Леле минуло 13 лет, он с дядей провел еще в Москве. Дядя повез его к Тестову и угостил хорошим обедом. Были они, конечно, у Трескиных: после отъезда Есиповых в Петербург, их дом становился самым близким для Лели, где он мог проводить воскресные дни.

10 июня дядя с Лелей и с репетитором херр Гревингом после целого года отсутствия вернулись в Губаревку.

XIX

Репетитор Гриф

Полный, розовый, с светлыми, длинными бакенбардами херр Гревинг, тотчас же окрещенный нами „Грифом", а прислугой „Гривенником", приехал к нам на все лето, готовить Лелю к экзамену древних языков в августе.

По всем остальным предметам Леля благополучно перешел в 4-й класс.

Радость нашего свидания с Лелей омрачилась наличностью этой серьезной, грузной и важной фигуры. Гриф медленно говорил, медленно двигался... И, не прошло 3—4-х дней отдыха для затомившегося в городе Лели, как он поднял вопрос об уроках и уроках пренесносных—догонять Крейманских четвероклассников. И это—в лучшем месяце всего года! А к довершению беды дядя настоял, чтобы я училась с Лелей и не отставала от него в древних языках. Грифу была отведена комната в конторе, и там же была теперь нам устроена классная, где мы с Лелей стали проводить по нескольку часов за переводом Цезаря и зубреньем греческих склонений. О послеобеденных прогулках с Грифом, как бывало с Ясиевичами, нечего было и думать. Всему предпочитал он отдых, сладкий сон, медленное чтение у себя на кушетке, запивая это чтение, клонившее его ко сну, стаканом молока. Но это не мешало нам и без него, конечно, уходить после обеда втроем на прогуки в парк, лес и поля.

В общем, то лето 1877 года прошло тихо и однообразно, после отъезда Трироговых в особенности. Отклики разгорев-

шегося пожара на Балканах долетали, конечно, и до нас. С невыразимым волнением ожидали мы два раза в неделю получаемую почту, бросались читать газеты, передовые статьи Каткова... и радовались, и гордились успехами „наших“, и страдали за увечных и раненых войнов. Стеша в то лето открыла в своем Буданцеве скрытый талант, страсть, до тех пор дремавшую—к огородничеству, и в мае переехала к нам со всей семьей на лето, она—в роли старшей камер-фрау, он—огородником. Политика всецело владела ее умом. Она знала и все, что пишут в газетах с театра военных действий, и что знает народ по устной передаче, а беседы ее с дядей по этому поводу, помнится, были бесподобны. Я целиком их записывала в свой дневник (привычка, несмотря на гибель первого дневника в Варшаве, глубоко въевшаяся в меня, просто, как необходимая отдушина переживаний), но передать их теперь на память не смогу. Только помню ясно, что я в то лето переживала личную, душевную драму. Я так сжилась за два последних лета с ведением хозяйства в Губаревке, что жизнь безучастная, в стороне от жгучих вопросов, из которых соткана вся хозяйственная жизнь, стала для меня положительно невозможной. А между тем тетя, не отвлеченная теперь Саратовым, взяла в руки бразды правления и отстранила меня от него.

Прежде всего она сама стала с вечера писать меню обедов и с помощью Стеши занялась всем домашним хозяйством. С этим я примирилась, потому что у меня еще оставалось широкое поле деятельности,—хозяйство внешнее, т.-е. во дворе и в саду. Но вскоре тетя отстранила меня и от хозяйства во дворе, т.-е. хозяйства, хотя и очень сокращенного, по молочному и пернатому царству. Мы с Парашей ухитрились развести массу цыплят. Крестьянки „жалели“ нас из-за погрома Ясиевичей, принесли нам клушек, раздобыли яиц утиных и гусиных. Понятно, с каким нетерпением я вставала с каждым днем все раньше и раньше, чтобы не опоздать к утреннему завтраку моих малышей... И вдруг, такое горе свалилось на меня в одно прекрасное майское утро, еще до приезда Лели: я прибежала к тете, объявить с полным восторгом, что Милка, ходившая в последнее время и толстой и понурой, теперь

вдруг стала как всегда, и весело гуляет по лугу с маленьким жеребенком. „Жеребенок такая прелесть! Матвей говорит, что он весь в отца, в Воронка!"—Тетя, вместо того, чтобы порадоваться вместе со мной, сделала озабоченное и недовольное лицо и даже не помогла мне придумать новорожденному имя. После завтрака она позвала меня в свой кабинет и заявила каким-то необыкновенно строгим тоном, что желала бы, чтобы я иначе понимала обязанности хозяйки. Носиться по двору как ураган, с раннего утра, совершенно нет надобности. Хозяйка должна управлять издали, из своего кабинета! О, наши точки зрения оказались диаметрально противоположными! Как же управлять из кабинета, когда хозяйке необходимо самой везде побывать? После этого „серьезного" разговора, мне пришлось сократить свои набеги по двору и направлять все свое внимание исключительно на сад. Но вскоре и сад стал вызывать у нас разногласие. Тетя была олицетворением гармонии и равновесия. Всякая крайность, увлечение, вызывала ее полное неодобрение... А я начала положительно увлекаться работой в саду. Садовника в то лето так и не было. Буданцев посвятил себя только огороду, и длинные ноги его теперь торчали из зарослей лебеды и лопухов: высыпаться и отдыхать он попрежнему очень любил, пока его благоверная, зная его привычки, не разыскивала его и не начинала ему читать своих нравоучений. Я выбрала себе одну из девочек, с деревни, которую я заметила в толпе девушек, подбивавших весной сады—Машу Монахову (Кузьмину позже) и вместе с ней занялась садоводством. Я уходила с ней мотыжить, сажать, полоть. Маша, высокая, тонкая девушка лет 15-ти, сначала обратила мое внимание своими „астрономическими" сведениями: когда на тени ее уставлялось 5 ее „лап"[1], был полдень... Сторона дерева в парке покрытая мхом, означала север, и мн. др. В разговорах со мной она выказывала такую хорошую душу, такие высокие правила, что я искренно ее полюбила. Новая беда! Увлечение садовой работой также не нравилось тете, потому что было увлечением. А когда дальние ягодники, т.-е. кусты крыжовника и смородины заросли высоким бурьяном,

[1] Т.-е., ног.

и я выкосила его, мне показалась эта работа настоящим наслаждением и я за завтраком объявила, что косить—теперь моя единственная мечта. Тетя не только нашла, что это совсем не дело молодой девушки 14 лет, но и стала допрашивать, что руководит мной. Заподозрила какое-то замаливание грехов праотцов... словом, что-то для меня глубокое и сложное, о чем я и не мечтала: мне просто нравилось косить так, как понимал это наслаждение Левин (Толстого), и с нетерпением, ложась спать, ожидала момента, когда на зорьке, пока все спят, Маша постучит мне в окно.[1] Тогда я бежала с ней в сад, полный росы и утренней прохлады; мы брали мотыги, косы и принимались за работу под лучами тихо поднимавшегося солнца[1]. Тетя объясняла мою страсть к этой работе—властностью характера. Я-де не хотела выпускать из рук власть! „Какую власть?—удивлялась я: хочу быть только твоей самой преданной помощницей! Но не могу я согласиться, что хозяйничать можно из кабинета". И правда, чего только не готова была я делать ради своей дорогой Губаревки, от жалости к заброшенному саду, зараставшему крапивой и лебедой, к цветникам без цветов, к лужайкам с пробивающимся полынком и чертополохом, еще недавно столь гладко подстриженным... С этих пор и надолго между тетей и мной стало что то, много попортившее мне крови. И меня в особенности огорчало, что под влиянием такого отношения к вопросу о хозяйстве и дядя поторопился запречь меня опять в классическую лямку. Я могла делать успехи в этих „никчемных" языках, чтобы лейпцигский зазнайка не смел иронически, скривив рот, улыбаться, когда при нем говорили о „русских" девушках-студентках... Но продолжать потерю времени с Грифом, чтобы догонять крейманских гимназистов... ну, нет, с этим я не соглашусь! И я всячески старалась „не терять времени" за этими принудительными уроками. Я читала Корнелия Непота и Цезаря. Особенно пристрастилась к Плутарху (в переводе), но зубрить грамматику решительно теперь отказалась. Будет, достаточно ее зубрила! Гриф, поглощенный своей прямой задачей сдать Лелю Крейману, не очень меня преследо-

[1] Маша Кузьмина и по сей день со мной в переписке и в тяжелое время не раз высылала мне „посылочки".

вал, и случалось, что в жару, за уроками вялого немца, я ухитрялась даже выспаться, закрыв лицо книгой в то время, когда он медленно, но упорно допрашивал Лелю. Или, под чтение Гомера, которого я давно знала наизусть, я принималась мечтать о реформе учебных заведений вообще и учебной программы в особенности. Учиться истории по Иловайскому? Географии по Белоху, Берте? Зубрить хронологию или заливы—проливы? Да это то же, что долбить panis, piscis, crinis! Что же останется в памяти, в воображении, в душе? Миллион слов, названий, сухих цифр и годов...

Всю эту философию я, конечно, сообщала Леле, предварительно записав в дневник, но он качал головой, кажется, чуя в ней только непременное желание вырваться из рамок учебной жизни. В последнее время он как-то особенно, болезненно стал относиться к тому, что я недоучусь и перезабуду даже все то, чему научилась, тащась за ним на буксире.— „Тебе 15-й год... Тебе надо еще многому учиться, так же как и мне... дай мне слово, что ты 3—4 года посвятишь тому, чтобы доучиться,—убеждал он меня,—Тебе не хочется поступать в учебное заведение, но мы поговорим с дядей, выпишем сюда учителя... или ты переедешь в Саратов, в Москву“. — „Когда денег нет!“—прервала я его, пожимая плечами. Неудачная поездка за границу, разорение губаревского хозяйства Ясиевичами и расходы, вызванные постройкой и ремонтом городского дома, действительно, сильно подорвали бюджет, и предстояло зимовать в деревне. Леля еще более огорчался: „Это не резон! Стешины дочки—без гроша, а все-таки доучатся в гимназии“, говорил он, но придти к определенному решенью, как ни обсуждали мы этот „больной вопрос“ и в парке, и в Дарьяле, и на „Шумке“, мы не могли, а когда дядя начинал говорить о классической женской гимназии Фишера, я совсем упиралась: „Не хочу бросать Губаревки, пока мы не залечили ее ран! Не могу бросать семью! Оленьке 10 лет и ей надо учиться (а при ней теперь не было даже гувернантки)! Не хочу зубрить у Фишера древние языки!... И, наконец, что мне нужно?— поставила я этот вопрос Леле очень решительно: ну, ответь: аттестат зрелости? Нет, не нужно! Пока программа учения винегретная, я никогда не займусь педагогией.“—„Но ты

можешь не выйти замуж, ты можешь очутиться в большой бедности, тогда тебя выручит аттестат“, настаивал Леля. „Тогда я стану ученой садовницей или заведу большой птичник, но учить детей—своих или чужих—против своего убеждения не стану! Засорять голову, убивать время в лучшие годы их нельзя! Ты говоришь, мне надо знаний. Ну, как же их приобрести?“— „Переехать в город и приняться учиться. Так делают сотни молодых девушек“.—„А к чему же мне искать вдали то, что у меня есть вблизи, дома? У меня под руками настоящая сокровищница, редкая по выбору книг библиотека дяди“ — „Это не то, без руководителя.“—„Трудно учиться без учителя? —Нисколько, была бы охота... А вот с таким Гривенником всякая охота пропадет учится, сон так и разбирает“... Леля не соглашался. Быть может, он и рад был бы согласиться, зная по опыту, как тяжело отрываться от семьи, но ему за этими научными занятиями дома, на свободе, без программ и учителей, наверное, мерещелись покосы бурьянов, подсадка садов в октябре и хозяйство, хозяйство, вопреки всему и всем, даже тете, потому что „властность“ моего характера продолжала проявляться в утренних набегах, до вставания тети, к своим пернатым малышам, ласковым телочкам и „сыну Воронка“, не говоря уже о садовых работах с Машей Монаховой. Как же было от них отказаться, когда торчащие длинные ноги совсем не умели обходиться с садом,—все внимание Буданцева всецело было посвящено одним огурцам да капусте! Даже знаменитые наши розы заросли бы лебедой да крапивой. Без поденщиц, которые обыкновенно толпой все лето работали у садовника, мы с Машей боролись с этим бичем садов с такой яростью, точно турки с христианами...

Но день отъезда Лели приближался, и „больной вопрос“ все еще не был разрешен. Леля зашел ко мне не в урочный час для прогулок, после утреннего чая. У нас до завтрака было 3 часа и мы углубились в парк.. Что за красота была в длинной „зеленой“ аллее! Воздух уже посвежел, жары прошли, и наступала ясная, теплая осень... По обе стороны аллеи зелень еще была густа и только кое-где висел желтый листок, да в траве показались осенние цветы. Как счастлив был бы сам Леля оставаться с нами, проводить осень в деревне!...

К концу прогулки мы решили следующее: даю твердо и непоколебимо Леле слово целых три года учиться не менее 5—6 часов в день, не ссылаясь ни на какие хозяйственные дела, ежедневно, но по своей программе.

Сначала Леля колебался подписаться под наше 3-летнее условие, не надеясь на мое постоянство, но тогда мы отправились к дяде на совет, и, к удивлению Лели, дядя одобрил и программу и договор наш. „Запрись в мою библиотеку и ничего тебе более не надо",—были его слова, навсегда мне памятные. Тогда мы с Лелей отправились в кабинет, к низким шкафам дяди. Рядом, в очень красивых переплетах стояли в одном отделении любимые дядей классики древности, в другом—исторические книги, в третьем—по естественным наукам: Фигье, Жувансель, Фламмарион, Гильемен и пр. Отдельно, в узких, но высоких до потолка шкафах стояли литературные произведения. Было чему научиться! Помню, как Леля, пересмотрев заглавия указываемых мной книг (подобранных заранее), с чувством сказал мне: „О, если ты не изменишь своему слову и твоей программе, тогда завидую тебе! С радостью и я бы променял свою гимназию на такое наслаждение—работать свободно и с любимыми книгами". Он был прав. Но как было решиться ему—мальчику, не кончать курса, не сдавать экзаменов, не получать аттестата? Насколько счастливее мы—девочки! Леля с этим всегда был согласен.

XX

1877 год.—Крейман, 4-ый класс.

16 августа Леля с Гревингом уехали в Москву. Это была пятая по счету разлука, но, как ни крепились мы все, без раздирания душевного, покойно мы не могли к ней отнестись!

Конечно, тотчас же началась переписка, и письма того времени почти все сохранились. Приведу эти письма в выдержках.

„Милая тетя,—писал Леля 20 августа 1877 г.,—покамест все хорошо, довольно весело, хотя и нет ни Веверы,[1] ни Гацисского, ни Сошальского, никого из этих интересных личностей. Приехал я с Гревингом в половине шестого и отправились тотчас же в гимна-

[1] Вевера—прозвание старшего брата Александра Всеволожского.

зию. Франц Иванович встретил меня очень добродушно и тотчас отправился приказать, чтобы поставили самовар. Г. Гривенник же на вопрос Франца Ивановича, готов ли я в 4-й класс, отвечал (по немецки): „По-моему он вполне готов; мы были очень прилежны этим летом".

„На другой день начались уроки (я не буду держать экзамена) очень легкие, самые пустые..."

Следующее письмо ко мне, уже от 29 августа. В нем он описывает свои визиты к Есиповым и Трескиным, затем возвращается к своим товарищам. „Всеволожского все еще нет! Приехал Филатов, своим поразительным сходством с Ванюхой часто заставляет смеяться. Вернулся Алферов, раненый в ногу во время разведки вольного ополчения для защиты своего города[1] от нападения черкесов и татар.

„Гимназия наша стала чище, салфетки стали белые, вилки и ножи выздоровели от походов, которые они совершали. Молоко дается к чаю с тех пор, как поступили Ширинские-Шихматовы, сыновья товарища министра просвещения. Один поступил в 5-й, другой во 2-й класс. Старший много рассказывает мне про учебные заведения; он говорит, что в Катковском лицее и в Правоведении мальчики так ведут себя, что просто ужас...

„Через Михельсона, родственника (по Винклер) Трубецким, я узнал, что Павел Петрович кланяется мне, а что Елизавета Петровна очень часто вспоминает маму, и что 3 мая этого года была панихида по ней.[2] Рыловников развлекает нас своими греческими молитвами, которые он произносит басистым тоном, причем устремляет свои взоры на потолок. Окончив молитву, он с боязливым видом садится около кого-нибудь и говорит: „Кто знает, может быть, это грех молиться по-гречески? Господу не угодно?" Мы рассмеемся. Он махнет рукой и скажет: „Эх болваны!"

„Вчера тетя Софи поехала обедать к Олсуфьевым и взяла меня с собой. Какое красивое помещение, какие красивые

---

[1] На Кавказе, вероятно.

[2] Наша любимая Елизавета Петровна кж. Трубецкая тогда была замужем за Винклером, бывшим доктором в ее семье. Имела двух детей: дочь и сына.

оранжереи, аквариум.[1] Вечером была музыка. Играли Шопена, Рубинштейна. Адам в 1-м классе Военной гимназии. Скажи (тете), что брат Адама, которому 16 лет,—на войне, на Кавказе.

„В моем туалете произошла тоже перемена; я имею длинные панталоны: так велела мне носить тетя Софи, так как сколько ни плати этим дядькам в гимназии, они все-таки не чистят, и голенище очень порыжело, но, когда я буду подъезжать к Губаревке, я выпишу себе мурманские сапоги[2] и приеду тру-тру-трукать![3] Я опять читаю Афанасьева II том[4] и по праздникам наслаждаюсь его литовскими стишками, его санскритскими словами, его премудрыми речами, его прекрасными строками. Уроки идут покамест очень хорошо....

„Целую дорогие ручки тети (так хочется н ь к и прибавить), дорогие щечки дяди и будущую солдатку, сестру Ольгу Александровну.

„P. S.—С каким удовольствием вопоминаю, как, сидя в конторе, я склонял ὁ ἡμέττερος στρατηγός, при чем ἡμετερος—выходил с двумя м (?). Кланяйся Стеше, Дмитрию и всем вообще, имеющим счастие жить около тети. Вспоминай почаще мои выражения: „Алеш! Алеша! а-а-а-а.... как будто бы, а сама?“[5]

„В субботу мы играли в крокет, который Франц Иванович купил для гимназии. Я выучился играть“...

В следующем письме от 11 сентября к дяде (по-французски) Леля сообщал, что приехал Вевера, и тотчас же началась большая ссора с Ширинскими: „Mais ce Шихматов a un goût extraordinaire, il m’ennuie affreusement“,[6]—жаловался Вевера на него и уверял, что он поляк, несмотря на его русскую фамилию.

[1] Олсуфьевская оранжерея славилась своими орхидеями на всю Москву.

[2] Так называл Леля тогда высокие сапоги.

[3] Военный клич в детскую трубу, означавший его мужественность, вопреки отсутствию высоких сапог, все—это по адресу Оленьки, питавшей пристрастие к военной форме.

[4] А. Н. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. М. 1866—1869, в 3-х томах.

[5] Эти выражения, произносимые с особенной интонацией очень трудно пояснить. Последнее выражение можно перевести: как будто бы не хочет, а сама очень хочет, когда, напр., отказываются от сладкого—из ложной скромности.

[6] Да у этого Шихматова необычайный вкус, он мне страшно надоел.

„Рыловников нам декламирует греческие молитвы, а потом склоняет все наши имена: Шахматос, Шахмату, Шахматон и проч.“

В письме от 18 сентября к тете Леля писал, что „тете Софи чрезвычайно не нравится Крейманская гимназия, и она непременно хочет, чтобы меня переместили в Саратов. Я откровенно выскажу тебе, моя красавица, милая моя, мое мнение. Хотя здесь пища очень скудная, хотя здешняя домашняя обстановка очень плохая (здесь все-таки чисто), но зато здесь очень хорошие учителя... Во всяком случае, если дядя хотел бы взять меня отсюда, чтоб поместить в какую-нибудь Саратовскую гимназию, я потерял бы целый год, так как Франц Иванович очень хитро распределил программу: в 3 классе проходят у нас геометрию, а в казенной - алгебру, в 4-м— у нас алгебру, а в казенной—геометрию. Зачем менять кулика на ястреба, верное на неверное? Баллы покамест у меня хорошие, вовсе не трудно после гривенниковских уроков...

„Насчет еды, моя миленькая, хотя бываешь очень голоден, но я надеюсь, что на оставшиеся от 26 рублей деньги можно будет достать себе что-либо съедобное...

„Про товарищество и говорить нечего: я со всеми очень дружен и, хотя есть разные дела у меня, хотя и принадлежу к некоторым партиям, все же я со всеми в хороших отношениях. Не знаю, чью сторону я должен принять—Всеволожских или Ширинских? Быть нейтральным невозможно... С Веверой рассорился весь 4-й класс, благодаря действиям Алферова, стоящего на стороне Шихматова“...

20-го сентября в письме ко мне Леля жалуется, что у него нет ни денег, ни почтовой бумаги, чтобы писать чаще. „Для устранения скуки я беру книги из библиотеки, именно: „Жизнь знаменитых греков“ Фелье, „Пропилеи“[1], издававшиеся Леонтьевым; из „Пропилей“ я прочел „Венеру Милосскую“, „Венеру Таврическую“ Леонтьева и Нестроева, „Бакхический памятник“, „Саллюстий и его сочинения“ Бабста, „Женщины“ Кудрявцева, „Древности Южной России“ Леонтьева, „Очерки древнейшего

---

[1] Сборник статей по классической древности, издававшийся П. Леонтьевым М. 1856 (3-е изд), 5 книг.

периода Греческой философии" Каткова, все очень интересные и длинные статьи. Я буду продолжать чтение последующих книг „Пропилей".

„Уроки еще не распределены, а потому не могу послать тебе их распределение... У нас начались и танцы, и пение, и гимнастика"...

Письмо от 25 сентября мне: благодарит дядю и меня за присланные деньги: „Я полагаю, что нужно так сделать (сумма была, вероятно, небольшая), отложить рубля 2 или 3 на Афанасьева; 2 рубля употребить на покупку III тома Соловьева, на 2 рубля или 3 рубля купить книги, которые помогли бы мне поддержать первенство из истории (именно какое-нибудь сочинение про среднюю историю), определенного учебника нет. Мельгунов позволил руководствоваться какими угодно книгами.

Вчера в 2 часа я отправился со швейцаром к тете Софи. Оттуда через полчаса с Тюриным в Университетский книжный магазин, где купил книги. Сегодня ходил в церковь с тетей Софи—в Никитский монастырь. После обедни мы зашли к игуменье Флоре Павловне, которая ослепла. Оттуда мы поехали к фотографу Дьяговченко, на Кузнецком мосту. Я там снялся (6 карточек—5 рублей).

„Тетя пишет, что она пошлет мне маленькую посылку с съедобными припасами, положи туда семячки. [1] Рыловников к общему сожалению в классе попался в курении. Его застал наставник. Франц Иванович этого не знает, а то уж не стало бы в гимназии Косого (прозвание Р. „Косой заяц"). Он написал всему классу, кому на греческом, кому на латинском языках прощальные письма, переполненные выражениями Цицерона и др. Смешной ужасно. Всеволожские даже подрались с Ширинским во время приготовления уроков: „Mais celui-là sait se battre, il m'a griffé. O peste, c'est un petit diable".[2]

Леля подробно описывает это столкновение: Вевера высказывает ему свое удовольствие по поводу того, что Леля не в родстве с Ширинскими, которые портят ему жизнь и с которыми он вовсе не желает драться; он, Всеволожский, из благородной семьи—с князьком, каких столько развелось теперь,

[1] Яблоновые, забытые им. Леля очень любил их грызть.

[2] Да этот умеет драться, он меня оцарапал! О! да это чертенок.

что не знаешь, кто не князь! „Все это на французском языке и с непередаваемым апломбом“. Алферов молодец такой, что просто Оленька не может вообразить его. Прыгает выше тетиного роста. Сапоги у него высокие, гораздо выше колен“...

От того же 25 сентября в письме к тете Леля отдает отчет истраченных денег и кончает: „2 октября, в воскресенье, у нас будет акт; высокопарные речи, громкие рукоплескания, единогласное ура—будут довершать праздник по случаю 17- или 18-летнего существования гимназии. Прощай милая тетя... посылаю мокрый поцелуй, т.-е. поцелуй со слезинкой“...

В письме Лели ко мне от 1 октября он сообщает важную новость: Гревинг был назначен к ним репетитором. Каждый вечер он приходит спрашивать уроки учеников, все тем же голосом и теми же важными манерами, каким он был „Губаревским пятиалтынным“.

Затем, ответив на целый ряд заданных ему мной вопросов, он продолжает: „Теперь поговорю о ссоре Ширинского и Всеволожского... Я поссорился и с теми и с другими: они мне надоели и ежели бы я и принял участие в их ссоре, то как лицо более или менее самостоятельное“...[1]

Ссора Ширинского с Всеволожским и тревожила и раздражала Лелю. „Какая цель этих раздоров, чего добиваются партии?“—удивлялся он. Отчего произошла эта ссора, Леля сам не мог понять, но, вероятно, из-за характера Веверы. Ширинский, старший, оставленный своей партией, пришел про-

[1] Это письмо от 25 сентября разминовалось с письмом тети в ответ на его письмо (от 18 сентября), в котором он не знал, чью сторону взять. „Все это нам с дядей очень неприятно. Наш дружеский совет тебе, не принадлежать ни к каким партиям, держать себя отдельно и самостоятельно. Пусть они там ссорятся, как знают. Который из них тебе по душе нравится с тем и оставайся дружнее, но старайся удалиться от всех этих мелочных школьных интриг и помни, что ежели Всеволжский и Ширинский считают себя в праве почему-либо ставить себя во главе каких-то партий, то по тем же самым причинам ты сам, Леля, имеешь полное право быть во главе своей какой-нибудь партии не подчиняясь, как дурак, нравственному влиянию ни того, ни другого, так как ты ни в каком отношении не хуже никого, и это дело твоего благоразумия и благородного самолюбия. Помни, что во всех своих действиях, хотя бы в самых мелочных, в школе, должны руководить правда, честность и рассудок“ (письмо от 27 сентября).

сить поддержки у Лели. Леля отказал, потому что дружеские отношения к А. Всеволожскому не позволяли ему примкнуть к партии, враждебной его партии. Но Ширинский настаивал. Тогда маленький Добров, сын покойного священника, любимец всего 4-го класса и близкий Леле мальчик, обещал Ширинскому свое содействие, если Леля „поможет ему выйти из дурных обстоятельств, в случае Вевера возьмет верх". Достаточно было, что Всеволожские увидели, что Добров на стороне Ширинских, они просили мира и, по совету Лели, получили его. „Но когда об этом узнали Киселевы, Потаповы, Кишинские, они удвоили свою силу и так надоели уже нам (мне тоже), что мы положительно соединились, и Ширинские из врагов стали друзями, и на всяком шагу бьем их". „Он очень нравится мне именно потому, что мы во многом сходимся. Не по Рюрику,[1] нет, а по разному другому". (Письмо к тете от 30 октября). В этом же письме Леля пишет: „Математика вечно терзает и мучает меня... Кроме того из французского и немецкого были у меня в прошлом году пятерки, а теперь 5 и 4; ибо я исключительно занимался этой геометрией"... И кончает: „я чувствую тоску по родине, по вас, по Губаревке, мне ужасно скучно"... Еще раньше, в письме от 16 октября, он писал тете, что видел сон, опечаливший его, будто все лошади наши пропали и поэтому ему нельзя будет приехать на рождественские каникулы. „Я, признаться, очень соскучился о вас, и мне бы хотелось расцеловать твои щечки, похожие на розы в полном цвету"... О рождественских каникулах он мечтает уже и в письме ко мне от 22 октября. В нем же он упоминает, с каким наслаждением он читает „Дочь египетского царя". [2] „Характеристика не только египтян, но и персиян, Камбиза и т. д.—гораздо подробнее Геродота, история основанная на иероглифах и гвоздеобразных письменах".

Другим увлекавшим в то время сочинением была „Всеобщая история" их учителя истории Мельгунова. Она стала выходить тетрадками, литографированными, и достать можно

[1] Т.-е. не из-за любви к истории только.

[2] Исторический роман Г. Эберса. Первый русский перевод его вышел в Петербурге в 1873 г.

было только через членов Академии Наук. Но один из его друзей—Горбов предложил ему покупать через него—у его брата, который был в Академии (по 50 копеек за тетрадку). В ответ на письма Лели о тоске, мы, конечно уговаривали его потерпеть до Рождества—недолго. Тетя писала: „Преодолей свою тоску по родине, по нас, по Губаревке—терпением: „Le patient vaut mieux que le brave et celui qui dompte son coeur vaut mieux, que celui qui prend des villes“.[1]

„Ты не скучай, мой милый Леля, что же делать! И хотелось бы устроить иначе, но в этом году нельзя“...

Но эти утешения, которыми мы и его и себя поддерживали, теряли все значение, когда получались в письмах его подобные концы:—„Вечером лежа, я часто говорю тиетя, диядя, вантрилоком[2] и начну, начну реветь. Целую тебя, мой кулиочек, дядю милого моего, и Женю, и Оленьку“ (16 октября). И думалось тогда: будь я у Фишера, я бы сумела его утешить, ему не было бы так скучно!.. И я готова была опять зубрить греческую грамматику, и переехать в Москву, но... сознавала ясно, что средств не хватило бы жить в интернате, а на частной квартире не у кого, да и не менее дорого. И приходилось повторять: „до Рождества недолго“... и принялись ему собирать посылочки с провизией, так как Леля писал не раз, что пища становится очень скудной: „утренний и вечерний чай так крепок (воды горячей не дают), что в рот не возьмешь; за завтраком редко бывают котлеты, а все или говядина или винегрет, такая маленькая порция, что, положительно, не заморить ею червячка... Ученик не может посылать ни за чем служащих; хотя и посылают в украдку, все же многие попадались“...

XXI

1877 год.—Наша переписка

Первая посылка, полученная им 3 декабря, доставила Леле большое удовольствие: „Я испытал довольно приятное чувство

[1] Терпеливый человек стоит более, чем храбрый, и тот, кто укрощает своим сердцем, выше того, кто берет города (9 ноября).

[2] Вантрилоком—т. е. низким, почти внутренним голосом.

когда открыл ящик... С каким аппетитом я буду есть, в особенности, когда вспомню, что твои ручки прикасались к этому", —писал он тете.„ Я сперва не знал, что в пирогах этих яйца,—писал он мне (15 ноября) о второй посылке,—а вот оказывается яйца, причем очень и очень свежие. Там мазурка, ничуть не попортившаяся, там лепешки, там другой пирог! А кто перебирал все эти вещи, кто уложил их так мастерски? Ты да тетя, душка моя! Не сомневаюсь, что и Оленькины ручки принимали в чем-нибудь участие"... „К несчастью,—писал он мне уже 23 ноября—мало чего досталось мне из посылки: я начал, несмотря на Оленькины предостережения, угощать Алферова и Веверу. Конечно, это обстоятельство повело к быстрому опустошению в моем ящике, так что у меня нет теперь крошки"... Понятно, что Оленька всполошилась, узнав о судьбе посланных нами любимых им миндальных кольчиков, лепешек и коржиков. „На Алферова и Веверу я сердита, всю посылку съели!!!"—писала она ему поэтому 30 ноября...

В постскриптуме Лели стояло: „Передай от меня Оленьке, что я сильно, по-солдатски, целую ее за ее длинное письмо со всеми малёрами. Теперь отвечать не могу, зато напишу в воскресенье".

Малёры—несчастия Оленьки, о которых она писала Леле, вероятно, касались букарестского двора. Она с Лелей до сих пор продолжала интересоваться Петидрольским царством и в каждом письме своем сообщала ему что-либо. Кроме того каждое воскресенье выходил „Букарестский листок" с иллюстрациями, оленькина газета, которую Леля ожидал прочесть на Рождестве с большим нетерпением. Рисунки Оленьки были очень неважные, но смешные, а пояснения к ним еще смешнее. Так, например, помню картинку: „Кн. Воронцова перед балом берет ванну". Торчит один нос и шиньон. Надпись гласит: „В ванне так много воды, что кит, я думаю, мог бы вымыть в ней свою лапу"... На бале почтенная гофмейстерина падает на нос посереди зала, кринолин поднимается парусом и храбрые шалуны Андрей и Станислав выносят ее при общем хохоте из залы: „Веселье и бонжуры опять настали",—заканчивает она. Леля в одном из ноябрьских писем ко мне спрашивает, прошла ли с Оленькой ее „bécasserie" [1], благодаря ко-

[1] Наивность, опять-таки ссылка на бекас, будто глупую птицу.

торой и ему столько раз приходилось над ней подсмеиваться. На это я отвечала, что „ума у ней теперь прибавилось и даже слишком... Говорит о тебе часто. „Когда я буду большая,— говорит она,—я продам все свои книги и платья, только чтобы брат мой был военный!.. Что это такое? а? будет школьным учителем что ли? Володя—гусар, Алеша—моряк, а Леля, который должен быть селебр[1] и вдруг штатский!!!". Своей школьной жизнью Леля становился довольнее, хотя занятия геометрией и шли у него в ущерб иностранным языкам, но скоро, надеялся он, установится равновесие. Зато русский язык давался ему легко. За характеристику Кимона (Корнелия Непота) и Плюшкина он получил 5+. „Я не могу сказать, что я стараюсь из русского: о, далеко не так! Я сам удивляюсь, что получаю такие баллы. Я подал теперь сочинение „Мое детство", сочинение очень длинное, но заключающее в себе преимущественно не факты, а характер детства"... О друзьях своих Леля писал 3 ноября, что „сошелся с Ширинским старшим, Всеволожским младшим, Олениным, „с которым я ссорюсь каждый день". Друзья его, кроме них—Чижов, Свечин, Всеволожский старший, Ширинский младший, Алферов и т. д. Косой[2] ужасно смешит. Покамест еще ничего, не особенно скучно. Случись какая-нибудь выходка Косого, и смешно"... Но в письме ко мне от 7 декабря опять начинаются жалобы на скуку: „Я очень скучаю: в этом и нет ничего особенного, удивительного. Ласкаю себя надеждою увидеть мое дорогое гнездышко. Какое приятное, какое хорошее ощущение испытываю я, увидя губаревский дом издалека; я почувствую себя свободным, когда очутюсь в ваших объятиях. Но когда это будет, когда это случится: через целые 18 дней! 18 дней пройдут, как 18 веков. Неужели так долго? Я не имею более терпения, ибо жду желанного 21 декабря уже $1\frac{1}{2}$ месяца. „Воскресенье и праздники в особенности скучны, поэтому я беру разные книги из библиотеки, как, например, „История Филиппа II Испанского", сочинения Прескотта, очень интересная книга, „Пропилеи" и т. д. С некоторых пор я пристрастился к греческой грамматике. Иногда в свободное время, сам того не

[1] Célèbre—знаменитый.

[2] Рыловников.

замечая, начну разглагольствовать разные греческие формы глагола... Я сегодня считал... прошло 109 дней, как я вас не видел. Разве это мало?“

На беду еще все он опасался, что почему-либо его приезд на Рождество не осуществится, о чем он упоминает опять в своих письмах от 3 и 12 декабря: „Я все как-то сомневаюсь о моей поездке. О, как будет ужасно, ежели я узнаю, что вы почему-либо не будете в состоянии прислать за мной или, вообще, если представится препятствие моей поездке! Я считаю время не по дням, а по часам. Беспрестанно говорю я про себя: вот осталось еще 19 дней, теперь $18^1/_2$ дней. Ах, как это приятно... Нам задано сочинение: „Лиса по басням Крылова“... Я целый месяц уже никуда не ходил. Мой друг Горбов говорил мне, что в Москве есть особенное общество, которое занимается литературой, и члены которого читают по праздникам свои произведения. Он хочет непременно повести меня туда, говорит, что Франц Иванович с удовольствием отпустит меня. Надо заметить, что этот Горбов уже на выпуске в 8-м классе, и если на то будет ваше и тетино согласие, то я поеду с ним 11-го в воскресенье. Денег у меня теперь 1 рубль. Кажется я еще не писал тете, что Наталья Васильевна[1] дала мне 3 рубля, на которые я купил мыло и Нестерову летопись. Из этих денег у меня осталось кой-что, но это кой-что не у меня, а занято товарищами“.

Леля, вероятно, так боялся, что за ним не пришлют из Губаревки, потому что это представляло известный расход. Поэтому он объяснял дяде, что мог бы приехать один, потому что ему уже 13 лет, и он в 4-м классе и под локомотив не попадет, и на поезд не опоздает...

К сожалению моему теперь (!) я не могла не написать нравоучения по поводу скуки, хотя сама тихонько плакала о нем, но надо же ему было, наконец, стать „garçon“, мужественным, и не писать писем таким карамзинским слогом и с такими дикими восклицаниями: „Гожа-гожа! Гулинька! Ижинька! лопас, чурни! Изинька!“

Поэтому в ответ на письмо Лели о скуке, я опять ворчала на него: „Очень разделяю твое нетерпение скорее вернуться

[1] Н. В. Трескина.

Губаревку, понимаю твою радость увидеть нас, понимаю и сочувствую... Но не понимаю, почему ты скучаешь, mon pauvre chou?[1] Ты занят весь день... Ведь, это и тебе вредно и нам грустно... Нет, ты, верно, не так выразился: ты с величайшим нетерпением ждешь 21-го, но не скучаешь, я уверена что нет. Ты слишком умен, слишком занят, чтобы скучать". Далее шли советы не волноваться и не беспокоиться, будто 21-го его не возьмут, потому что 22-го в четверг он непременно будет с нами, и до 22-го не 18 веков, а всего 10 дней. Такие наставления не могли нравиться Леле, почему в письме своем от 17 декабря (последнем перед отъездом на каникулы), от отвечает мне:

„Вы... (не говорю ты, так как по тону диссертации о скуке видно, что это не тон сестры, а тон добрых родителей) вы, говорю я, удивляетесь, что я скучаю, вы относите это к тому, что я жду с нетерпением 21-го числа, вы полагаете, что я выбрал неудачное слово. Я сказал, что скучаю, но смотря ка̀к и когда. В будни весело. Занятый уроками, в немногие свободные часы похожу я с друзьями... Воскресенье и праздник, вот что скучно Приготовив уроки, я возьму какую-нибудь интересную книгу. Но ведь я не один. Товарищи (какие это товарищи!), которым все равно получить кол, сидят без занятия и пристают ко мне. Это приставание не состоит в одних колких насмешках... Нет, она состоит или в сильном ударе кулака, или в снимании сапога или щекотке. С тех пор, как я числюсь в 4 классе, мне противно фискальство, и я должен равнодушно смотреть на то, как 15-летние болваны пристают ко мне. Ведь мне при таких обстоятельствах остается только защищаться, а уж читать совсем я не могу. Иногда я, с мне свойственной вспыльчивостью, наскочу на какого-нибудь великана, опрокину его, но тут же множество возьмет верх. Ах, если бы мои товарищи имели работу, не скучал бы я тогда". После перечисления уроков, уже заданных на Рождество (повторение пройденного), Леля кончает письмо: „Теперь $6^1/_2$ утра; лампы еще горят. Я теперь уверен, что я увижу вас на этой неделе. Я занят сочинением, оказавшимся довольно трудным"... Не трудно представить себе радость Лели, когда за ним приехал дядя, и 22

[1] Ласкательное прозвище.

декабря (1877 г.) он с ним поехал к нам, как теперь помню, в коляске, потому что до самого сочельника не было ни снега, ни санного пути.

XXII

1878 год.—Корни слов

Не стану расписывать, как счастлив был Леля при свидании с нами! Что за прелесть Губаревка в зимнем наряде густого инея! Как беззаботно и радостно мы встретили тогда рождественские праздники.

К новому году из Аряш[1] на долгих приехали тетя Натали с детьми, с глазастой ворчуньей няней и красивой, скромной Машей. Приехал тогда и наш друг Алеша, очень довольный своим Морским корпусом и уже в морской форме. Дядя же Владимир Григорьевич уехал хлопотать о месте в Петербурге, так как тетя Натали очень тосковала в разлуке со своим первенцем и любимцем. Младшие—Сева с Гришей, милые и живые мальчики, стали постоянными товарищами игр Оленьки хотя игра в царство Петидрольское была им недоступна и оставлялась для Лели, который, впрочем, начинал уже немного рассеянно относиться к приключениям букарестского двора. Он предпочитал с утра уезжать с Алешей в розвальнях и кататься без кучера. Потом, после завтрака запрягали троечные сани. Молодая тройка звенела бубенцами. Матвей должен был клясться, что не опрокинет нас (Оленьку, конечно), и мы уезжали в Вязовку, Нееловку, Новополье[2]. Праздниками были мы у обедни, также на крещенском водосвятии со стрельбой из ружей при погружении креста в прорубь над родником у Сухого переезда, в голове речки Вязовки; а в сочельник и под Новый год, и в Крещенье, мы зажигали елку, над украшением которой мы с Оленькой усердно хлопотали, приготовляя всем сюрпризы.

Но главной заботой нашей в ту зиму, и святками в особенности, было заготовление подарков нашим героям, страдавшим

---

[1] Имение Трироговых в Кузнецком уезде, Саратовской губ.

[2] Соседние с Губаревкой деревни.

на Балканах. У нас была целая мастерская, со Стешей во главе.

Дядя заказал нам все необходимое, начиная с кисетов табаку и кончая теплыми фуфайками и носками на 250 человек солдат той роты Стрелкового баталиона, в которой он служил в молодости.

Весь женский персонал двора был занят этой работой; привлекались со стороны и Афина Ивановна, и новопольская кормилица, словом все, кто только умел держать в руках иглу, спицу или крючок. Но главной мастерицей и душой этой мастерской была все-таки Стеша. Теперь горевшее в ней чувство жалости к братушкам, да и к нашим героям-страдальцам—находило известное удовлетворение. Скажу тихонько,—и мы с неменьшим, не скажу—удовольствием, но удовлетворением душевным сшивали нагрудники, вязали рукавички, а Оленька щипала корпию.

Почтовые дни, два раза в неделю, были для нас днями больших волнений. Газеты читались от доски до доски и, можно сказать, ни одно событие на Балканах не ускользнуло от нашего внимания.

Леля вполне понимал нашу с Стешей „дружбу", возникшую на этой почве. Он был в восторге от нашей мастерской. Но это не мешало ему, тотчас после приезда, меня проверять, точно ли я исполняла наш договор. По совести я могла ему сказать и доказать, что слова своего я держалась крепко, нередко вставая до петухов, со свечей, чтобы отработать 6 часов в день. Поддерживал это и дядя, часто проверявший мои занятия. Не всегда понятными были для меня сведения по естественным наукам, которые я изучала в его библиотеке по Жуванселю, Либиху, Эдварду, Фламмариону и др. С ним же я продолжала свои уроки музыки, и сонаты Бетховена, Мендельсон, Бах и Шуберт особенно связаны у меня с воспоминанием о нем.

В награду (!) нам была выстроена большая деревянная гора с павильоном. Она стояла с начала декабря в конце, так называемой, Ступишенской аллеи[1] (от крыльца дома к восточным воротам).

[1] Названной так в память Ступишина, пензенского разорившегося домовладельца, одно время занимавшегося хозяйством в Губаревке.

Ожидали только снега... И, когда он, наконец, в изобилии нападал в ночь на сочельник, гора была превращена в каток, а санки с горы летали до самого дома на протяжении 50 саженей, удовольствие громадное для таких неизбалованных удовольствиями, какими мы были тогда.

Конечно, в первый день катания с горы к нам присоединились все дворовые дети. А за ними пришли проситься кататься с деревни—и подростки, и малыши. Через несколько дней мы их всех знали по имени и в лицо. Многие из них были красивые, милые, деликатные, „хорошо воспитанные". Не было ни брани, ни драк, все были веселы и оживлены. Черноглазая, с сверкавшими белизной зубами, Леся Гагурина сразу завоевала мою симпатию своей живостью и остроумием, также Груня, дочь полесовщика Никанора—решительная и рассудительная девочка. Иван Доронин, высокий, тонкий, с вьющимися темными кудрями, стал „дружком" Лели, а брат Леси Фокей один только и стал катать с горы Оленьку, попрежнему темную трусиху. Ловкий и осторожный, он никогда не опрокидывал в снег „свою барышню", как делали это Сева с Гришей, да и Леля в Алешей. К тому же очень красивый, стройный, с глазами „как огонь",—Фокей Гагурин, по мнению Оленьки, нисколько не уступал храбрым шалунам букарестского дворца. С этих пор у нас завязалась большая дружба со всеми этими детьми и длилась она затем... всю жизнь.

Но... миновало Крещенье, и 10 января (1878 года) тетя собралась с Лелей и Алешей в Москву. Алеша поехал дальше в Петербург, а тетя вернулась к нам через 10 дней. Бедный Леля опять принялся нам писать свои длинные, подробные письма. Первое письмо это было адресовано дяде (от 18—19 января 1878 г.). Второе полугодие началось для него неблагоприятно. „Гимназия встретила меня или, вернее, я встретил гимназию, совсем другой чем я ожидал. Несколько хороших мальчиков вышли, другие встретили меня толчками, третьи в первый же день почему-то рассорились со мной. Но мне нет до них дела; я буду итти тем же путем, каким шел прежде; назовут ли они меня аристократом, актрисой, демократом, дрянью и т. д.,—я на них смотреть не буду. Тетя, верно, расскажет, как она разговаривала с Францем Ивановичем: он

заметно похолодел ко мне. Но неужели мое образование, моя жизнь может зависеть от Франца Ивановича? Не буду я обращать внимания на его дунье, мне то что за дело!

„От газеты и ее сотрудников я отказался: во-первых, потому что вопреки своему обещанию, они начали писать насмешливые статьи над Крейманом и гимназией, во вторых, они начали торговать статьями и платить за них деньгами и тетрадями. Неужели вся моя жизнь протечет в сообществе таких людей? Шихматов, старший, очень занят новым уроком музыки, так что я не нашел случая разговориться с ним. Всеволожские в восхищении от портретов; „La ressemblance est frappante, ma foi!“ [1]— поговаривает Вевера. Оленин придумывает какой-то шар, на который потребуется 120 аршин сукна, чтобы быть в состоянии летать...

„Сегодня за обедом происходила перебранка между Всеволожскими и Ширинскими и они совсем рассорились. Верчусь я между ними и стараюсь помирить их. Вот неприятно еще, если они не помирятся; не будет единства против наших врагов, a l'union fait la force. [2]

„К нам поступил армянин Кочкарев. Я просил его написать мне армянские числительные: но армянин человек торговый и этого не пожелал сделать даром; я обещал ему несколько миндалей, которые мне дала Женя; завтра числительные будут готовы. Очень и очень благодарю за сравнительные таблицы славянских языков!

„Я уже говорил тете, что мне Крейманская гимназия противна; мне противны мои товарищи...

„Чаю с молоком еще не было, хотя теперь уже середа вечером... Только что я встаю, я уже помышляю о вечере, когда я снова лягу спать, ибо только ночью могу я вас видеть во сне.

„Я не жалуюсь, я не преувеличиваю, я говорю правду.

„Но не все же мне кататься подобно сыру в масле, надо поработать, а потому я смирно жду апреля, когда ваши личики будут около меня. Я думал, что карточки помогут горю, нет,

[1] „Сходство поразительное, честное слово“. Это были копии, набросанные мной с двух портретов Всеволожских, бывших в кабинете дяди.

[2] В единении сила.

слезы навертываются на глаза при виде их[1]... и теперь горькие слезы поминутно оставляют мои глаза. Я утешаюсь тогда, когда беру какую-нибудь книгу, но скоро я бываю принужден оставить мирное занятие после ловкого удара какого-нибудь товарища(!!!). Вот подходят они наши молодцы..."

Как жутко стало, когда мы прочитали „вот подходят они наши молодцы"... Подходят бить, оскорблять Лелю, и за что? Письмо обрывалось на этой фразе...

Но, ничего не случилось, судя по письму ко мне, помеченному от утра до вечера. В этом длинном письме, начинавшемся: „Чувствую какую-то потребность писать вам, так и тянет"... Леля сообщал о полном разрыве своей партии (двое Ширинских, двое Всеволожских, Оленин и он сам) с так называемыми демократами (Рыловников, Усов, Дирибизов). До сих пор отношения еще кое-как поддерживались, благодаря Леле, но, „когда Усов назвал нас „подвальными (?) аристократами", „я не выдержал и началась перебранка. Ширинский пожелал драться, Дирибизов не пошел... После этого демократы стали приставать ко мне, говорить про мир, но мы не пожелали. Хотя нас 6, а их около 15, они боятся нас"...

К сожалению, к этой партии теперь примкнул и наш любимец Алферов. Увидя нечаянно карточку тети, с которой Леля не расставался, и узнав, что это наша тетя, Алферов назвал ее рожей (!). Леля не стерпел и дал ему пощечину, конечно, отданную ему с лихвой: „От ссоры с Алферовым оборвались гнилые нитки, кой-как прикреплявшие товарищей ко мне: Алферов пристал к демократам!"

Следя по письмам Лели за всеми его волнениями из-за товарищей своих, мы с Оленькой просто огорчались за ссору Лели с этим лихим казаком, героем, силачем „в высоких сапогах"... Но что же было делать! „Courage, Lolò, courage! Défendez bien votre Petite-Tante, souffletez bien ces drôles"[2],—писала я ему в ответ.

Это хорошо было нам ему советовать, а переживать все эти драмы было очень не легко! Леля начинал решительно

---

[1] Семейные фотографии, данные Леле по его просьбе при отъезде.

[2] „Смелее Леля, смелее. Защищай свою тетушку и колоти этих мальчишек".

тяготиться своей гимназией. Для него синонимом всего плохого становилось название „ученика Креймановской гимназии!" Так, например, упоминая о 17-летнем сыночке, к которому пришел отец, навестить, и который вслед уходящему отцу делает гримасу, пояснял: „Он, поистине, достоин быть учеником Креймановской гимназии!" „Эта выходка достойна ученика Креймановской гимназии",—писал он о другой выходке кого-то из товарищей. Ему претило, что эти товарищи его читают романы и говорят, что „вошли в такой возраст, когда чувствуешь потребность таких книг. Какая ирония! По крайней мере я не войду никогда в такой возраст... Ах, как хотелось бы мне покинуть этот кружок, где благоразумным почитается тот разговор, в котором побольше является рассказов о любви (много очень они про нее понимают!). Ах, как мне бы хотелось видеть вас.." [1]

Читая эти письма, мы начинали тревожиться за Лелю не в шутку, хотя он и просил не беспокоиться, в особенности, Оленьку: „Я своим тру-ту-ту всех перепугаю!" Просил и не сердиться на него за то, что бранит свою гимназию, но „что у кого болит, тот о том и говорит"... но в каждом письме он повторял: „Скоро ли я вас увижу?" и уже в конце января высчитывал, что „остается 72 дня и несколько часов до свидания в блаженном жилище счастливых и хороших людей!"

„Я живу днем одною лишь надеждою,—надеждой ночи, в которую я опять вкушу сладость бытия, до той минуты, в которую я каждый раз вас вижу во сне, до той минуты, когда припавши к тете, буду лобызать ее ароматные рученки и целовать дядю сильно и крепко, сильнее и крепче любящего сына... С ужасом жду то время, когда я вас лишусь! Кто будет тогда порицать, кто хвалить, кто гладить по головке? Происходит ли это от недостатка энергии, от ребяческой боязни одиночества?... Чем же мне высказать вам мою благодарность?—Не поцелуями же (ибо это действие преходящее); —учением, отвечу я: учением не грамматики, не алгебры, а всего этого вместе, которое поведет меня на Моховую, в Университет".

„Теперь только я почувствовал, что я живу не для войны, не для битв, хотя до сих пор люблю страшные и трагические

[1] Письмо ко мне от 26 января.

сцены, а для спокойного созерцания вещей! Я слишком глуп для того, чтобы заниматься природой; сейчас же мысли мои гуляют за ее границы. История и, в особенности, словесность имеют прелесть для меня".

Что называл Леля словесностью было для меня довольно неясно;—набор слов на неизвестных, особенно, древних языках, в которых он разыскивал корни современных языков? Почему же это уж так интересно? Но, так как ничто не могло ему доставить большего удовольствия, как н о в о е слово, я всегда записывала ему их и посылала, как подарочек в Москву. Так писала я ему, что „поймала для него в „Revue des deux Mondes" массу слов, которыми я заняла половину письма[1]. Тут были и санскритские (hima—холод, откуда hiems и Himalajoi), зендские (cniz—снег), латинское—nix, литовское—Gnigti, санскритское—gal (холод), французские - gel, латинское—gel, f'al—персидское и т. д. Еще больше „наловила" я их ему в „Histoire des croisades", Michaud[2], которую я читала тогда с особенным увлечением. „Знаешь ли ты, что Азовское море прежде называлось Mer de Zabache, а река Кубань—Hypanis, Балканские горы—Monte Hemus и т. д., Babylone по персидски - Babyrus?"

Иногда у нас с Лелей начинались прения. Так, например, я сообщала ему, что вопреки тому, что нас учили в детстве, что Илиаду писал не Гомер, а целый народ, я теперь думаю что Илиаду писал именно Гомер! Леля стал опровергать такое заключение, утверждая, что учитель Сергиевский говорил, что слог Илиады не во всех частях одинаков, что она писана на протяжении многих веков и не одним лицом. „Не опровергаю существования Гомера, ибо я знаю, например, что существовал Моисей и знаю, что Моисеевы книги не им писаны." Но, так как я упиралась, утверждая, что, если Илиада составлена из песен и преданий р а з л и ч н ы х певцов, но собраны они в одно целое о д н и м человеком, Гомером,—Леля разыскал этимологию имени Гомера в двух греческих словах ὁμοῦ αἴρω —все собираю, иначе сказать, сборник... и этими разбил все мои доводы: вот для чего, повидимому, он так старательно возился с корнями слов.

[1] Письма от 18 и 29 января и 14 февраля к Леле.

[2] „История крестовых походов". Мишо.

XXIII

Купля-продажа слов

29 января (в воскресенье) произошло у Лели большое событие, отвлекшее его на время от его мрачных мыслей: он поехал в итальянскую оперу. Еще за неделю до того, в позапрошлое воскресенье, в его отсутствие, в гимназию к нему заехали две дамы, оказавшиеся кузинами мамы. Ее любимица—Любовь Антоновна Иванова и Наталья Антоновна Козен, вдова дяди Станислава. Они обещали еще раз к нему заехать и оставили ему три, поразившие его величиною корзины с фруктами и пирожками. Леля был очень сконфужен таким подарком, а затем ему пришлось и огорчиться, потому что эти корзины не входили в его сундучок. Из 32 пирожков он съел один, да яблоков только два, 15 пирожков было роздано товарищам, а все остальное было украдено.

„Наши надзиратели часто повторяют,—писал он по этому поводу,—что в школе все равны, следовательно—я равен воришке?—Странное обстоятельство! И нет ни суда, ни расправы! Наше начальство хуже мирового суда; мировой скажет: „Помиритесь“, а Франц Иванович скажет: „Напрасно вы держали это не на замке, оно соблазнило ваших товарищей“... Ваших товарищей? —Вор мне не товарищ! Так и пришлось промолчать. В следующую субботу вновь заехала к нему тетя Люба (Иванова), которую Леля помнил еще по Одессе. Она все время говорила о его сходстве с мамой и младшим ее братом Станиславом. Уходя, сказала, что непременно хочет, чтобы он поехал с ними на другой день в оперу, и что она сама заедет за ним к Трескиным. Теперь Леля каждое воскресенье проводил в Трубном переулке и часто с ночевкой.

„Попробую, авось музыка избавит меня от мрачных мыслей, которые нагоняют на меня товарищи. Не думаю, чтобы там было хорошо. Лучше ее та музыка, которая по временам слышится dans votre cabinet, [1] лучше ее та музыка, которую производят искусные тетины ручонки, играя vos romances. [2] Эта же

[1] В вашем кабинете.

[2] Ваши романсы.

музыка, казенная, не будет иметь для меня прелести. Окруженный неизвестными лицами буду ли я в состоянии вслушиваться в нее, подпрыгивать за хорошеньким местом, как я это иногда делаю? Впечатления, сей музыкой произведенные, напишу после. Мне часто приходит в голову мысль, как коротка человеческая жизнь. Может статься, что я уже прожил половину всей моей жизни: и что же,—я ничего не сделал, а деньги во множестве тратились на меня вами, моими р о д и т е л я м и, родителями в полном смысле слова! То покупали вы мне книги, то тетради, то конфекты, или заботились о моем воспитании, или делали мне удовольствие и брали меня к себе на Рождество. А я, ничтожное создание, то жалоблюсь, то ленюсь. Ничто еще в моей жизни не достойно похвалы"... За этим бесконечным письмом следовало письмо еще длиннее от 1—2 февраля, в котором он описывал прошедшее воскресенье 29 января, когда за ним к Трескиным приехала в 5 часов старшая сестра тети Любы—Елизавета Антоновна Арцыбашева. Она поехала с ним в Эрмитаж, где в отдельной комнате обедала тетя Люба с кузинами: Сашей и Леной, ее младшими дочерьми.[1] „Вообрази себе: обед стоил 17 рублей 50 копеек! Я был (т.-е. старался) галантным кавалером—„кринолином": несколько раз благодарил, например, за обед"... После обеда все поехали в гостиницу, в которой остановились Ивановы. Кузины переоделись, а в $7^1/_2$ часов были в Большом театре. Давали „Севильского цирюльника", бенефис Герстер. „Эта опера мне довольно понравилась (ибо лучше я не видел). Очень смешно брили опекуна Розины. Герстер привела всех в восторг, как только явилась". Но стоимость ложи (35 рублей) привела его в ужас. „Ну-ж я и 50 копеек не истратил бы на театр, а эти 35 рублей употребил бы на покупку книг!.." Кончая это описание, он заключает: „Теперь эпилог к этому дню. Был ли он для меня весел?—Нет, нет! Один час, приведенный лицом к лицу с вами, милые, дорогие, умные, сердечные, швушалочки,[2] стоил в 3 раза более 30 таких дней. Ах, когда я вас увижу?!"... И начинается опять

---

[1] Старшей не было. Замужем за Мих. Роговичем, она жила в Западном крае.

[2] Леля не мог не придумать какого-нибудь дикого ласкательного прозвища.

целая жалобная эпопея, читая которую я даже начинала сердиться: „Я взволнован, вспомнив о вашем блаженном житье— насилу держу перо“... Так писать, когда провел так приятно время с родными и в театре, где я еще ни разу не бывала!.. Впрочем Леля сам спохватился и сознался: „Фу, какое у меня глупое письмо! Уж не сердитесь на меня, это для меня хуже всего. Напиши, душечка, сердишься ли ты на меня? Уж я гадал по пальцам, выходило—да, ужасно!“ Ни тетя, ни дядя не сердились, читая эти послания в 12 страниц мелкого, убористого почерка, но я пожимала плечами; все еще в нем не было мужественности. Дядя с тетей, вернее, беспокоились о нем, помня его нервную болезнь в 1-м классе, и уже был поднят вопрос о переезде нашем в Москву. Об этом я тотчас же сообщала ему, добавляя, что в таком случае мы с Оленькой, вероятно, все-таки поступим к Фишер, и просили выслать нам программу: „Не радуйся еще очень, но надейся, потому что об этом уже серьезно говорят дядя и тетя. А пока будь спокоен, вооружись терпением, мужеством „для отражения врагов и низвержения супостата!“ Терпением, в особенности, прибавила бы я, читая в дальнейших письмах его: „Отношения к Рыловникову улучшились, ибо он часто списывает у меня... Искусным уважением я заставил Алферова подойти помириться... У Дерибизова и еще у двух мальчиков за сочинения, написанные мною, разные,—5. Дерибизов подходит ко мне, протягивает руку и говорит: „Мерси, мадам актриса, за ваше маранье!“

Частые, бесконечно длинные письма служили Леле (как мне дневник) отдушиной переживаемого и в феврале письма стали еще длиннее, и писал он их почти-что ежедневно: на него свалилась большая забота—болезнь дяди Гриши, того, который томился, не зная, что с собой делать...[1] После смерти дедушки, когда дедушкин дом перешел тете Натали, он жил в Саратове одиноко, в небольшом собственном домике в 3 окна и, опутанный Ведиияпиным, лишившись Козловки, жил почти без всяких средств, более чем когда-либо замкнутый, молчаливый и печальный. Зимой он сильно заболел и в начале января очутился в Москве, в Екатерининской больнице. Чем он болел,

[1] Григорий Алексеевич Шахматов, брат моего отца.

не знаю. Доктор Кноппе требовал для него, главным образом. спокойствия и беззаботности, состоянья довольно трудно достижимого, вообще. Леля, вернувшись из Губаревки, навещал его каждый праздничный день. Улучшения здоровья не было, дядя Гриша терял терпенье и рвался из больницы, собираясь то в Саратов, то в Петербург. Леля принимал живейшее участие в судьбе и положении „страдальца“, как он писал о нем, хотя подчас ему было очень тяжело, потому что раздражительность больного была нестерпима. Он кричал и сердился на всех и на все... „Я не люблю, когда меня хвалят, —писал нам тогда Леля,—но и не люблю, когда понапрасну бранят или винят, а это последнее я только и слышу от дяди Гриши. Мне это трудно переносить. Дядя Гриша говорит, что я не умею поставить себя в глазах родителей, и они обращаются потому со мной, как с младенцем; что я не развит, не опытен, глуп и т. д. Может быть, все это правда, но для чего полчаса после этого он спрашивал во многом моего совета?“—Особенно доставалось лелиной гимназии. Он настоятельно требовал, чтобы Леля писал дяде, что Крейманская гимназия никуда не годится, а его надо поместить в лицей или в Правоведение.

Получив эти письма с описанием отчаянного положения дяди Гриши, дядя командировал в Москву полесовщика Никанора, человека умного и расторопного, с поручением уговорить дядю Гришу приехать в Губаревку, где ему приготовили отдельное помещение, и где он мог бы жить покойно и беззаботно, пользуясь уходом, то, что, по словам доктора Кожевникова („личность в высшей степени симпатичная“), [1] было ему нужнее всякого лечения. Приезд Никанора, бывшего близким человеком дяди Гриши с детства, очень обрадовал Лелю. К тому-же, и ему с этой „оказией“ были посланы особенно длинные письма и гостинцы в виде лепешек, засахаренных фруктов и орехов... Он надеялся, что Никанор сумеет успокоить и убедить дядю Гришу ехать с ним в Губаревку. Сначала дядя Гриша назначил день своего отъезда и собрался в Губаревку; вызвал Лелю, прося его остаться начевать у него, но утром раздумал, говоря, что климат севера для него полезнее.

[1] Из письма Лели.

Никанор вновь убеждал дядю Гришу ехать домой, к родным, вновь дядя Гриша собрался в Губаревку и потребовал, чтобы Леля опять ночевал у него (не смыкая глаз из-за тяжелого воздуха, вида сукровицы от пролежней и криков, стонов и гневных возгласов больного), а утром решительно отослал Никанора в Губаревку, сам же стал собираться в Петербург и в среду на масленице, наконец, покинул больницу и поехал на Николаевский вокзал. Сопровождавший его Леля и лакей его Макар внесли его в мягком кресле в вагон. Леля тепло укрыл его, подстелил ему подушки и т. д., и в 8 часов 30 минут курьерский поезд умчал его в Петербург.

Вскоре получилось известие от дядя Володи, что больной доехал благополучно. Заботливый Макар с вокзала отвез его в военный госпиталь, где его устроили очень хорошо. Но жил после того дядя Гриша не долго и скончался в госпитале. К похоронам его, о которых узнали поздно, никто из родных не поспел, и одна Наташейка провожала гроб этого одинокого и несчастного человека... Отъезд дяди Гриши был в среду на маслянице, а с четверга Леля отправился к Трескиным и провел у них всю масляницу. В четверг же вечером он с Трескиными отправился в манеж: Арцыбашева дала ему почетный билет. „Там было пропасть моих товарищей,— писал Леля,— повидимому весело, но без умолку гудевшая музыка так расстроила мои нервы, что я делал невольные движения руками; нет, не надо мне увеселений, не надо опер итальянских, манежов, балов и театров, не надо ни шуму, ни веселья; мне надо тетю и дядю“.

Но переезд в Москву откладывался, все из-за денежных и хозяйственных затруднений. Прежде всего надо было позаботиться о том, как оставить Губаревку. „Раб с одним талантом“ был произведен в дворецкие, так как управляться с дворовыми он был не в состоянии. Даже будучи дворецким он, командуя только банками варенья и клюшником в амбаре, ежедневно устраивал драмы, в особенности со Стешей, которая никак не могла помириться с его придирчивой скупостью.

Тогда управляющим Губаревкой был назначен молодой человек, Шмит, сын землемера, незадолго перед тем кончивший какое-то сельско-хозяйственное училище. Мать его, Марью Дмитриевну, мы знали с детства. Она всю жизнь прожила сна-

чала у родителей тети—Челюсткиных, а потом, как вдова без средств, всегда „надарживалась“ [1] в районе челюсткинской семьи.

Хозяйство в Губаревке стало понемногу налаживаться: наняли годовых рабочих, прикупили лошадей, выписали хороших семян и готовились приступить весной к посеву, не сдавая в аренду: арендаторы истощали и иссушали почву, сплошь все засаживая подсолнышем. Дядя, считая Шмита еще не опытным, рассчитывал его направлять (сельско-хозяйственная библиотека дяди и выписываемые сельско-хозяйственная журналы очень делу помогали) и поэтому отпускал нас в Москву без себя. Но пока шли сборы да переговоры, настал великий пост, письма Лели стали гораздо покойнее, ехать было не крайность, и мы остались в Губаревке. Одобрял это теперь и Леля. С тех пор, что он избавился от праздничных дней в гимназии, проводя их у Трескиных, ему стало гораздо веселее. „У Трескиных в доме очень симпатично,—писал он,—теперь все слышатся разные словообразования после вчерашнего вечера“. В субботу, накануне, Леля в 12 часов ночи занимал их историческими беседами, и Трескина поручила ему написать родословную индо-германских семейств (!). Добрейший В. А. Трескин, умная, образованная, очень живая, всем интересующаяся Наталья Васильевна и дети их — составляли действительно редкое сочетание семейного счастья и согласия. Кроме того, Леля стал часто бывать у тети Любы Ивановой, у Арцыбашевой (Елизаветы Антоновны), жившей с своим старичком. Заходил не раз к Николаю Арсеньевичу Бартеневу, большому приятелю дяди с тетей, жившему с ними и в Париже, и в Губаревке, до нашего приезда. Теперь он был в большом горе, потеряв незадолго перед тем жену, оставившую ему двух крошек - дочек. Невольно, Леля уходил в интересы вне гимназии, что им и выражено ясно в письме от 12 февраля.

„Я ищу теперь такого сообщества, где царствует принцип повиновения, где русское юношество не задалось ужасной мыслью—свободы в безграничном ее смысле, свободы в ее исковерканном понятии, а, следовательно, с удовольствием выхожу из стен нашей гимназии и ищу такого сообщества далеко от Петровки!..“ Он даже стал холоднее или, может быть, покой-

[1] Гащивала.

нее, относиться к своим друзьям: „Я нашел в Всеволожских простодушие, нашел в них сочувствие, но их природная пылкость влечет их далеко от книг, им бы только на бал, им бы только веселье“... В Ширинском он заметил охлаждение к отцу, который „своей строгостью, желая воспитать сына старательно и направить его мысли в правую сторону, сделал то, что сын стал смотреть на отца, как на чужого, стал бояться его, стал скрывать от него и, наконец, разлюбил его“... „И так я solo, но это уединение, которого я ищу, уединение, которое я испытываю ночью, спасительно действует на меня“.

Кроме того, его все более и более увлекало раздобывание слов. Продолжала и я снабжать ими, и сам он „прикупал“ их в гимназии. „Очень тебя благодарю за слова,—писал он мне 6 марта,—пожайлуста не ленись, пиши всякое слово, которое узнаешь, ибо каждое слово для меня равняется каждому рублю для другого—по ценности. У меня теперь одних санскритских слов более 700. Я теперь могу сказать фразы две—три; напишу когда-нибудь письмо с переводом.

„Если Вам интересно, можете посмотреть на мой филологический бюджет за эту неделю, т.-е. приход и расход,—писал он о том же 12 марта: у отца ученика 4-го класса я купил за 50 санскритских слов и за 3 готских слова—60 исландских. За 40 персидских слов и 8 арабских—50 финских и литовских. У дяди ученика 3-го класса—я купил за 257 древне-германских слов—60 редких готских слов.

„За 641 санскритское—еврейскую азбуку и готские спряжения и склонения. За 70 кельтских—340 санскритских, еще не всех выданных.

„Я называю покупкою—обмен, и, конечно, даю только копию со своих слов; торговля производится через сыновей“.

В том же длиннейшем письме от 6 марта Леля писал об одном ученике своего класса, Прогульбицком, который, по поручению отца, хотел купить у него слова, примечания к ним и, кроме того, его сочинение „Взгляд на историю с филологической точки зрения“ за 6 рублей. „Конечно, я не согласился, а дал мое сочинение даром“.

В следующем письме он писал о том-же: „Прогульбицкий предлагает за мои сочинения 8 рублей,—цена всего Афанасьева.

Вот честь для меня, но я не желаю отдавать, во первых, потому что я не купец, во вторых, я не достоен такой чести, в третьих: при чем я останусь, если все отдам?"

Тем более, что незадолго перед тем Леля написал „громадную статью" для себя, конечно,—„Республика и монархия", карамзинским слогом, [1] но имел неосторожность защищаться от нападавших на него товарищей, и это творение исчезло в их руках.

„Я составил филологические теоремы, т.-е. истины, требующие доказательства; доказываю я алгеброй". Но Прогульбицкий не отставал. Он предлагал уже 8 рублей 75 копеек „Я тебе, дядя, не показывал их еще и вдруг отдавай чужому! Да пожелаешь ли ты, чтобы твой племянник писал их для публики?" И добавлял, что если-бы и позволили ему это, то все-таки не продал, а отдал бы их даром.

„Но, если бы я видел, что вы умираете с голоду, я за 2 копейки продал бы все, все мои произведения, все мои книги и поднес бы каждому из вас однокопеечную булочку... Я одно только чувствую, сознаю, но бессознательно, но со смыслом, что если я что-нибудь знаю, если сколько-нибудь понимаю, это только благодаря богу и никому более другому, и вам. Моя любовь к языку не есть врожденное мамой; это есть моя существенная потребность, мое призвание, увеличивающееся мыслью, что это может послужить и вам, что если я выручу за это несколько лепт, они могут вам быть полезны; на них, может быть, можно будет купить книгу дяде, тебе, красавица, шелковое платье, Жене—юбку, Оленьке—башмаки". В письме от 16 марта Леля продолжал: „У меня критическое положение; желаю купить армянскую азбуку и несколько мифологических песен, но за нее требуют 1200 слов санскритских. Такого у меня нет капитала. Отец Прогульбицкого предлагает 10 рублей, но присовокупляя, что больше не даст. Я узнал, что он занят каким-то большим сочинением и надеется многое из меня исчерпать. Я предлагаю ему просто-напросто переписать даром, что ему нужно; но странно, он не соглашается, а непременно хочет целиком добыть мое.

„Странный ты мне даешь вопрос, не желаю ли я прусские божества?—Конечно, непременно. Когда Прогульбицкий просма-

[1] Как ворчала я, прочтя „Бедную Лизу".

тривал мои тетради, он сказал, что пруссы не славянского племени, ссылаясь на одну из антропологических моих таблиц. На другой день я отправил ему заметку, занимавшую 5 страниц, в которой я доказываю славянское происхождение пруссаков; он ничего на это не ответил. В последнее время я перечитал 1-й том Соловьева и нашел, что можно было написать два таких тома, доказывая неверность взгляда его. А ведь это первоклассное сочинение, сочинение образцовое.

„Конечно, мне не подобало-бы написать такого тома, но просто жалко становится, видя заблуждения такого высокого ума; как же, я думаю, заблуждаются низкие умы, как же заблуждаются мне подобные люди, и, хотя я так устроил, что всякое в моих тетрадях определение подтверждается доказательством, все же не избегнул ошибок, и всякий из будущего поколения найдет тьму ошибок на каждой странице. Писал Татищев, его обвинял Карамзин, писал Карамзин, его обвиняют уже открыто в книгах (например, Афанасьева): просто страшно писать: Крылов и то боялся критики. Не знаю, как ты, Женя, но я нахожу, что Наполеон не был великий человек, а стоит даже ниже Александра Македонского. Все его победы суть не им одержанные, но духом времени, народом французским, тогда как Александр Македонский одержал победы личным влиянием и, можно сказать, что не было бы Александра Македонского, не было бы войны персидской и индийской, но если бы не было Наполеона, была бы общеевропейская война".

История попрежнему сильно интересовала Лелю, хотя он и уделял свои досуги словесности. Он читал с особенным рвением тогда Грановского, хотя находил, что не все его мнения правильны: „Он слишком философствует. Он понял, по моему мнению, историю, ее задачи; взгляд его сторонний (!). Карамзин—явная его противоположность, но еще хуже его. Надо занять середину между ними, чтобы создать себе новый, верный взгляд на историю. Хочу писать сочинение—Карамзин и Грановский. Я думаю, что мне придется держать экзамен в университет на 2-х факультетах: юридическом и историко-филологическом".[1]

[1] Почему Леля упомянул о юридическом факультете, совсем не помню, т. к. о юридической карьере никогда и речи не было.

XXIV

Крейман, прощай!

С половины марта письма Лели вновь стали нас тревожить. В гимназии начался брюшной тиф, „верно от прекрасной пищи: сегодня за завтраком была вонючая солонина, вчера гнилая говядина"... Многие из учеников заболели, и родители их взяли, не надеясь на Франца Ивановича. Леля был мнителен, и перспектива заболеть и лежать в лазарете гимназии сильно тревожила его. Всполошились и мы, конечно. Отвращение его к гимназии росло. „Ничего утешительного, ничего родственного, ничего семейного, кроме милейшего джентельмена, хитрого политика Франца Ивановича,—жаловался он,—с его вечно натянутым видом, нахмуренными бровями, строгим выражением на лице, с грубыми отношениями на словах. Я сказал грубыми не зря, совсем не зря"... Идет рассказ о том, как маленький Ширинский получил единицу за французский перевод. Его заставили переписать и он принес его Крейману переписанным красными чернилами. Крейман усмотрел в этом революцию! „Вы хотите этим показать ваше неуважение к старшим? а это делают, знаете ли, одни подлецы: следовательно, я могу вас причислить к их разряду!"—Попробовал бы Франц Иванович сказать мне это!"—возмущался Леля и грубостью директора своего, и тем, что Ширинские это ему спускали. К сожалению, Леля вскоре должен был убедиться, что и Ширинские и даже Всеволожские не отличались особенным гражданским мужеством, так восхищавшим его в Александре Всеволожском: теперь им пришло вдруг на ум, что они погибнут и будут разбиты, если продолжат ссору с вдвое нас сильнейшей партией! Они стали умолять Алферова о мире, хотя Леля увещал, убеждал, умолял этого не делать. И Леля очутился „solo". „Странное дело, странное положение—меня покинули союзники, к делу которых я так радел, о благе которых я так заботился!" Леля не хотел мириться потому, что не чувствовал себя виновным: „Странно подойти и просить, как милости, руки, чтобы мириться, просить руки у тех, кто злословили, просить руки для отвращения грозы! Ну ж, мне кажется, что Ширинские могли бы

заткнуть за пояс Дизраэли! К прочному миру подача руки повести, по моему мнению, не может, раз мысли, взгляды разнородны. С римлянами, например, мирились многие народы, но жили в согласии не долго, так как римлянам желалось поработить эти народы, народам—же освободиться... Что касается до Оленина, он держится более меня, но... какие странные характеры"... Лелю возмущала известная нравственная распущенность товарищей, чего не было в младших классах. „Теперь я понял,—писал он,—почему Наталья Васильевна назвала нашу милую гимназию—развратной. Именно, развратная в полном смысле слова. Ах, как неприятно оставаться тут! За душу так и тянет!" И далее: „Дядя говорил, что я люблю город: хуже его ничего нет. И если бы я не имел инстинкт кормить вас моим трудом, когда будете стары, я остался бы жить после университета безвыездно с вами. С ужасом мыслю про то время, когда неизбежный рок отнимет кого-нибудь из вас от меня[1]. Я почувствую себя одним, без начала, без конца, и я кинусь искать семьи—иначе жить невозможно! Не понимаю, как вы можете жить без родителей! Заменяет ли дядя отца и мать для тебя, и заменяешь ли ты отца и мать для дяди?"

Возвращаясь к безнравственности в гимназии, Леля сообщал, что и родители Всеволожских недовольны гимназией и подумывают взять сыновей. „В нравственном отношении это было бы полезно, но не в отношении учения, говорит их отец". Учение шло своим чередом, но, как всегда бывает, к концу учебного года заваливали уроками. Так, например, из Цезаря было переведено всего 25 глав, а на экзамене требовалось 70. Приходилось заниматься до 1 часа ночи и вставать в шесть утра. „Греческий прихрамывает,—писал Леля,—арифметика идет хорошо". „Из греческого поправился. Вообще, отметки продолжали быть хорошими, хотя, вообще, стали учиться плохо, так как задавали слишком много. Половины не сделали того, что требовалось программой, а времени оставалось мало, говорили, что в мае будут распущены все учебные заведения из-за эпидемических болезней в Москве".

Приближались пасхальные каникулы. Леля ожидал 7 апреля, день отъезда, с невыразимым нетерпением: „Все пройдет,

[1] Леля пережил тетю всего на 8 месяцев.

когда я увижу губаревский дом, все покажется хорошим и сладким"... Но у него, кроме уроков, до отъезда было еще серьезное дело, поручение тети отыскать для Оленьки гувернантку.

Оленька попрежнему терпеть не могла уроков, и русская грамота (историю и географию она любила) ей, вероятно, давалась также нелегко, как и мне. По крайней мере, сохранилось письмо Лели к Оленьке (единственное, хотя он писал ей нередко). Он писал, того же 19 марта, о радости, которую он испытывал, получив ее предыдущее письмо, и о досаде при получении последнего, полного ошибок письма. „Прочтя оленькино письмо (стояла на нем приписка тети), напиши ей от себя назидание хорошее о том, что в 11 лет стыдно писать с ошибками и т. д., что-нибудь в поощрение ее к учению со вниманием." И Леля написал ей серьезное назидание: „Мы все знаем, что ты умеешь писать без ошибок, но ты, мне кажется, не стараешься. Тебе, я думаю, должно быть стыдно перед тетей, которая употребляет столько стараний, чтобы учить тебя. А что же ты? Изъяви свою благодарность, по крайней мере, твоим прилежанием!.." Поручение тети он принял, „особенно к сердцу и занялся им с особенным жаром",—писал он тете.

Еще с половины февраля Леля выслал нам программу Фишерской гимназии. Я прочла ее, как читают цветочный каталог, когда нет сада. Переезд в Москву откладывался, а перспектива поступить к Фишер в августе, при чем Леля брался мне отравить все лето, подготовляя из древних языков в 5-й класс (в который я будто была почти готова), мне нисколько не улыбалась. Быть может, тетя была права, говоря, что все-таки необходимо выдержать экзамен об окончании наук и получить аттестат, чтобы видеть „конец", закончить образование (порядка ради), но,—философствовала я,—все это ведь только удовлетворение самолюбия, а заканчивать приобретение знания нельзя... Век учись, и все-таки (!).. К чему же терять время на эту формальность?.. Педагогом не буду, буду птичницей, садовницей, если аттестат нужен для заработка. Программа моего договора, приведенная в исполнение этой зимой в деревне, без обычных перерывов и скачков, так

начинала меня увлекать, что только тревога за Лелю могла меня заставить с ней расстаться... Когда, после волнений Лели из-за дяди Гриши, получились его письма покойные под впечатлением ласки Трескиных и добрых тетушек, звавших его обедать каждое воскресенье, я решилась написать Леле все на чистоту, добавляя, что только об Оленьке следует подумать, потому что мы с тетей не можем ей уделять достаточно времени, к тому же она меня совсем не слушает". Поэтому с радостью прочла я целую диссертацию Лели в длинном письме к тете: „Ради бога не отдавайте к Фишер. Инстинкт говорит мне, что к Фишер не надо, нельзя отдавать моих милых сестер..." Леля пояснял, что послав нам программу, он целый месяц собирал всевозможные сведения об этой гимназии и убедился, что она еще хуже его дорогого пансиона. Судить об учении и воспитании Фишер трудно, потому что первые выпуски будут только в будущем году, но, как ему говорили, разврат проник и туда: „В особенности Оленьке надо избегать учебных заведений; ее пылкая натура занесет ее далеко с истинного пути; очень понятно, что Жени хочет познакомиться с древними авторами, но разве ей одной нельзя ими заниматься, как делала некогда великая Екатерина, знавшая наизусть почти всего Корнелия Непота и Цезаря?.. Очень понятно, что Жени хочется держать экзамен в университете, но разве без латыни и греческого нельзя? Наталья Владимировна[1] держит экзамен в сентябре, ни в зуб не понимая ни латыни, ни греческого.— Оленьке же достаточно учительницу. Потом натура возмет свое, и она сама начнет учиться"... И вот тетя и поручила Леле разыскать хорошую учительницу для Оленьки. Сначала он ничего не мог сделать, хотя „пропотел, бегая по Москве" по конторам. Наконец, вспомнил про m-me Каро, рекомендовавшую Иду, Луизу и m-elle Blanc, и пошел ее разыскивать. Найдя ее рекомендательную контору в Чернышевском переулке, он представился ей: „Если бы ты видела ее радостное лицо. Она обнимала меня, распрашивала где мы, и т. д. Радость доброй немки не была притворна. она просила приходить к ней по воскресеньям, ибо ей так приятно видеть меня—олицетворение отца, и память об отце

[1] Старшая дочь Трескиных.

и матери обязует ее употребить все свои старания, чтобы угодить „бедным сироткам“. Она отказалась от своих обычных 3% за комиссию, на что, конечно, Леля не согласился, вообще, не терпя прозванья „бедных сироток“...

После того к Трескиным стали являться молодые девушки и дамы по рекомендации Каро и др., но остановить выбор свой долго не могли ни Трескина, ни Леля. Еще 26 марта Леля сообщал об их неудачах, ни одна кандидатка не нравилась им, но в 10 часов вечера того же дня была послана телеграмма Трескиной о том, что „есть подходящия, русская с языками, науками, музыкой для Жени и Оли за 600 и проезд“. Это была Екатерина Евстафьевна Корсак, молодая девушка, только что кончившая курс в пансионе Эвениус. Тетя телеграфировала в ответ, что согласна, и выслала деньги на проезд, хотя прибыть к нам m-elle Корсак могла только в мае. Задача Лели была исполнена, и в первых числах апреля он был уже с нами в Губаревке, выехав раньше предпологаемого 7 апреля, потому что тиф в гимназии все усиливался, порядочного доктора у Креймана не было, и многие из товарищей его совсем вышли из гимназии, чтобы не рисковать заболеть. Крейман не хотел распускать гимназию раньше страстной: „Он не понимает, что родители, видя его нерадение, будут брать сыновей своих... У многих моих товарищей—дифтерит“,—писал Леля, и состояние его духа становилось все мрачнее. Телеграммы и письма из дома положили конец такому тягостному и рискованному положению, и Леля писал: „Как это бог меня бережет! За что это такое? Что я доброе сделал? Все-таки мне страшно“... Он распростился с своей гимназией и с Францем Ивановичем навсегда! Остались ли Всеволожские и Ширинские тогда— не помню, но только напоследок, они, согласно предсказанию Лели, вновь поссорились между собою...

XXV

Леля вырвался на свободу

Апрель. Пасхальные праздники, действительно, радостные, пролетели для нас, как миг. Много способствовало этому радостному настроению и то, что кончилась бойня, кош-

мар проливаемой крови, державший нас всю зиму, до С.-Стефанского договора, в ужасе и оцепенении. Мы не вникали в политический результат этой войны, нам дела не было до конгрессов и расширений территорий, мы знали только, что теперь многие матери дождутся своих сыновей, а жены своих мужей. Одна Стеша продолжала шипеть: так скоро забыть изуверства турок она не могла, хотя все громы и молнии приберегались ею не только туркам, которые даже оказались симпатичными, когда их ранеными стали привозить в Саратов, а коварной, завистливой и фальшиво-жестокой Англии, которой она приписывала все беды, и в особенности ядовито относилась она к „Англичанке", т.-е. королеве Виктории..

Но святая приходила к концу и приходилось решать, как быть с Лелей? Возвращаться в тифозную гимназию, о которой Леля не мог теперь вспомнить без содрагания, было жутко и рискованно: он просто ненавидел ее. И вот на семейном совете было решено: к Крейману не возвращаться, экзаменов весенних в 5-й класс не держать, а в августе держать экзамен в какое-либо другое учебное заведение, хотя бы опять в 4 й класс, учебную программу которого не пришлось закончить. Его годы не ушли, летом ему только минет 14 лет, и рваться в 5-й класс не к чему.

Теперь Леля мог вполне „вкушать сладость бытия", о которой он так мечтал зимой. Кроме семейной обстановки эту „сладость бытия" вызвала и красота окружавшей нас природы в чудном весеннем наряде, дивный воздух, напоенный ароматом зелени и цветов, непрестанное пение птиц, трели соловьев, днем и ночью, а сверх того—полная, давно им не испытанная свобода располагать собой и предаваться с увлечением своим любимым занятиям. Леля приводил в порядок свое „филологическое тело", как называл он за зиму приобретенные слова, подбирал свои выводы и заключения о происхождении слов и языков, и расширял то сочинение с алгебраическими доказательствами теоремы звуков, которое зимой так усердно добивался у него приобрести отец его товарища, Прогульбицкий.

Еще незадолго до отъезда Лели из Москвы, этот господин написал Леле записку на латинском языке и, вложив в кон-

верт 10 рублей, просил опять о том же. И еще раз Леля, вложив деньги обратно, также на латинском языке ответил ему отказом: „Dignitas mea mihi non permettit tibi literas meas vendere“.[1] Леля давал ему свою тетрадь в полное распоряжение, но отдавать ее на совсем—не желал. И теперь, принявшись за это сочинение о звуках, он начинал мечтать о том, чтобы, вернувшись в Москву, показать его какому-нибудь специалисту-филологу, который высказал бы ему свое мнение и направил бы его дальше по этому пути. Дядя, умевший руководить его в истории и литературе, совсем не был сведущ в науке о происхождении языков. „Филоложничает“,—говорил он про лелины занятия, пожимая плечами, и даже, мне казалось, не вполне сочувствовал этой узкой специальности, в которой Леля проявлял изумительную, кропотливую усидчивость. Каюсь, и я никак не могла проникнуться интересом к звукам, издававшимся нашими праотцами, когда они еще только начинали слагать свою речь. Я еще слушала лелины доказательства и „открытия“ в этой области более или менее рассеянно во время наших утренних и вечерних прогулок, но читать и понимать это сочинение, написанное мелким бисером, казалось мне свыше моих сил. Один Ларионов, иногда приезжавший к нам подышать весенним воздухом и поговорить с дядей о собираемых им песнях, находил, что Леля сочиняет что-то „весьма интересное“. Сидя с Лелей друг против друга, они вытягивали разные ноты и прислушивались к звуку своих же голосов. Оленька находила „что это снотворно!“ и совершенно отвлекает Лелю от ее театра, а мне эти праотцы с птичьими голосами мешали сосредоточить внимание Лели на результатах выполненной за зиму программы. Я переводила Овидия и Горация (проверяя по подстрочному переводу на французском языке), углублялась в „Savants illustres“ Фигье и „Hommes illustres“ Плутарха[2] и с нетерпением ожидала длинных бесед с Лелей по поводу моих исторических соображений. Уж очень мне казались противными вычурные костюмы французских королей и королев, эти буфы, обтянутые ноги, эспаньолки, ментики, а позже напудренные косы, обширные кринолины

[1] „Мое достоинство мне не позволяет продавать вам мои слова“.

[2] „Знаменитые ученые“ Фигье и „Знаменитые люди“ Плутарха.

и прически (!)... Как это чувства меры, красоты и гармонии, не удерживали их от подобного уродства! Ведь образцы древних эллинов и римлян еще были у них на памяти... Но Лелю, увы, более париков (с косичкой и без оной) Людовика XIV и буфов Франциска I—интересовали совершенно непостижимые для меня алгебраические теоремы: а = i + ü = α, не грешившие против чувства меры, не носившие париков и буфов праотцы, которые почему-то выводили своими птичьими голосами из бüi-бüi = баба...[1]

Я просто в толк этого не могла взять, наконец, все это становилось уж чересчур мудреным и даже скучным. Впрочем, это не мешало иногда Леле предаваться такой шаловливой веселости, что в сохранившемся письме к тете, я жаловалась на него: „Он стал ужасно гримасничать, таращит глаза и перебивает, когда я говорю; не дает мне слова сказать, дразнит и, в особенности, невыносим, как только я сяду за фортепиано". Верно, так счастлив и весел был Леля, что вырвался навсегда из своей опостылевшей ему гимназии!

Конец апреля был неожиданно омрачен почти внезапною смертью (от аневризма) Н. П. Михалевского. Тетя, бывшая при кончине его в Саратове, вызвала нас с Лелей телеграммой. Мы приняли самое живое участие в горе наших молодых друзей и тети Нади, слабой и беспомощной женщины, неутешно плакавшей над покойником. Особенно жалели мы Володю, который совсем не плакал, хотя, казалось, очень страдал. К похоронам поспела старшая сестра Аделаида Николаевна Яковлева, ехавшая из-за границы. Телеграмму о смерти она получила уже в Москве. Решительная и энергичная, в противоположность тете Наде, она немедленно приняла довольно крутые меры к ликвидации всего оставшегося имущества Михалевских. Свели со двора красивых караковых выездных коней, ежедневно отвозивших Николая Петровича на службу, за город, в Институт; старая няня и старый лакей Петр Иванович были предупреждены о расчете, и было решено продать дом. Мы тихонько очень осуждали тетю Адель. Не могла она, женщина бездетная, одинокая, проживавшая свои очень значительные чердымские доходы в Ницце, где у нее была вилла, уделить

[1] Мне почему-то казалось, что праотцы начали с птичьего языка.

что-либо сестре, впавшей в бедность![1] Как можно было наспех продавать такой чудесный дом, разорять дом—полную чашу и заставлять (тетя Адель теперь взяла семью Михалевских под свою опеку) тетю Надю с детьми переезжать в Москву, в недорогие меблированные комнаты, с единственной прислугой—верной, с одним всего желтым зубом во рту,—Аришей!.. И теперь она деспотически, без дальних разговоров, увезла с собой детей в Чердым[2], чтобы они не мешали матери производить ею предписанную ликвидацию! Что за решительный тон, что за жестокая быстрота, ворчали мы, хотя не могли не согласиться, что тетя Адель все-таки была не только умная, но и обаятельная женщина!

Мы возвращались с похорон 3 мая с тетей Натали, на почтовых, по большой дороге: тетя оставалась еще в Саратове при неутешной тете Наде. Из Широкого до Каменки нас стал бить холодный дождь с градом Тетя Натали спустила меня с Лелей под фартук коляски. Там было темно и душно, но Леля, несмотря на прочувственное горе об усопшем, был в своем припадке шаловливой веселости: то снимал с меня шляпу, извиняясь, что принял ее за свою шляпу и за свою голову, то пытался сморкать меня, уверяя, что в темноте принял мой нос за свой...

Дома нас ожидал дядя с Оленькой, оставленной на попечении Марии Дмитриевны Шмит. Сева с Гришей также оставались в Губаревке вместе с мадам Люко, очень толстой, старой француженкой с черными усами, выписанной к ним еще до Пасхи. Она обыкновенно, надев черные выпуклые очки и запасшись тяжелой сучковатой клюкой в одной руке и кружкой, в которой сидел ее котенок, в другой, весь день проводила в разыскивании по саду и по двору своих питомцев, которые совсем не желали говорить по-французски и предпочитали, особенно Гриша, болтать в волю и по душам с „глазастой“, обожаемой няней.

Не успели мы зажить опять своей губаревской жизнью, прерванной этой катастрофой, как получился ряд телеграмм,

---

[1] Н. П. Михалевский не оставил никаких сбережений после себя для семьи.

[2] Имение при селе Чердым, Саратовской губ. и у., на берегу Волги.

с нарочными со станции Курдюм. Телеграфировали о своем приезде к нам дядя Владимир Григорьевич Трирогов из Петербурга, m-elle Корсак из Москвы и семья Зузиных из Костромы...

Начались спешные приготовления к приему гостей. Столяр сбивал детские походные кроватки, управляющий и экономка готовили провизию, и в половине мая дом наш наполнился гостями. Вся жизнь наша потекла как-то особенно весело и парадно, и новая гувернантка Оленьки—Екатерина Евстафьевна Корсак сразу попала в очень оживленное общество. Особенно были милы Зузинята: 10-летний шалун Сережа,—прямой, живой и решительный до дерзости мальчик; Борис—гримасник, но умница, остряк и поразительно музыкальный; Миша—тогда тоненький, точеный, как куколка, очень живой мальчик, но уже сдержанный и себе на уме; и 3-летняя Наташа—кудрявый, прелестный ребенок...

20 мая, день ангела дяди и Лели, особенно торжественно было отпраздновано у нас в том году. Я не говорю о традиционных гирляндах из зелени и цветов, обвивавших балкон дяди и террасу, о громадном кренделе с вензелями, честь и слава повара Василия, но главное торжество ожидалось вечером: мы приготовили иллюминацию и живые картины в кегельной галлерее в саду. Как только стемнело, вдоль аллей зажгли плошки, а вокруг дома по всем деревьям загорелись разноцветные фонарики. Шмит пустил несколько ракет и дал несколько залпов из пугачевских пушек.

Конечно, кроме всех своих, которым Леля, выбранный кассиром, очень серьезно выдавал бесплатные билеты, а Гриша с Севой усаживали в ряды стульев в галлерее, сбежалась вся дворня и масса деревенского люда, уже привыкшего к нашим семейным праздникам. Им было приготовлено угощение: мешки орехов, сладких рожков, пряников и леденцов. В живых картинах участвовали, конечно, мы все, дети, и дворовые дети. Вероятно, все было очень удачно, потому что нам, по крайней мере, было очень весело...

В июне нас ожидало новое удовольствие—сборы всем домом в Аряш. Сначала двинулась тетя Натали, гостившая у нас с Рождества, чтобы приготовиться к приему гостей. Она

уехала на долгих, т.-е. на своих лошадях, присланных из Аряш, в двух экипажах. М-me Люко, как теперь помню, заняла второй экипаж, небольшой тарантас на высоком ходу, да к тому же ее посадили с Машей на груду подушек и узлов. Она с опаской оглядывалась кругом, держа в руках свою кружку с котенком. „Vous êtes là comme une reine!“[1]—сказал ей дядя, выйдя на крыльцо провожать и глядя на ее высокое сиденье. „Comme une reine en fuite, peut-être!“[2]—ответила она, смеясь. Через неделю стали собираться и мы в Аряш, уже в трех экипажах. Излишне говорить, какое удовольствие доставил нам этот переезд в 120 верст на переменных, почтовых лошадях и затем вся жизнь в Аряш.

Весь строй жизни был иной, чем у нас в Губаревке; как-то проще и вольнее. К тому же и красота природы была поразительная. Наш дивный дубовый парк с длинными аллеями, глубокий Дарьял с 80-ю ключами, бившими из земли крутого ущелья, бледнели в сравнении с красотой аряшинских мачтовых сосновых лесов, с трех сторон обступивших усадьбу. Было что-то грандиозное в этой дикой красоте...

Тетя Натали была отличная хозяйка, все шло у нее в хозяйстве как-то особенно ладно, и старый Саламатин, не то староста, не то ключник, вел свое хозяйство без затей, хотя имение было большое (до 2-х тысяч десятин).

„Женское“ хозяйство шло широко и привольно. Много было варенцов, молока, масла; много было цыплят; в огороде масса овощей и ягод: всего было в изобилии. Мы катались, гуляли, бегали на гигантских шагах, качались на качелях, словом-наслаждались во всю. Много оживления вносил и Алеша, наш милый моряк, приехавший из Петербурга на каникулы, и когда, после 15 июля, дня именин дяди Володи, отпразднованного иллюминацией и ракетами, настал общий разъезд, всем нам было очень жаль расставаться и покинуть Аряш. Уж я не говорю о том, какая новая, совершенно отличная от Губаревки флора обогатила тогда мой гербариум. Разыскивать эти незнакомые цветы вдоль сверкавшей на солнце реки, вившейся у подошвы гор, или в чаще соснового бора, за одно набирая

[1] „Вы сидите как королева!“

[2] „Как королева в бегстве, может быть!“

целые кузова грибов и земляники,—было настоящим наслаждением.

За эти летние месяцы я довольно близко сошлась с Екатериной Евстафьевной Корсак, которую уже звала „Кити", и даже немного отстала от Лели, которым совершенно завладели Алеша и Зузинята. Он их всех очень любил и проводил с ними целые часы в играх, разъездах и дальних прогулках. Но общей любимицей нас всех была милая, живая, умная и ангельски добрая тетя Вава. Друг своих детей, она не держалась от них на дистанции, принципа воспитания ради, и разделяла их жизнь до мелочей. И к нам она отнеслась с такой лаской и простотой, которой не было не только у тети, но и у тети Натали.

Мы расставались с ней со слезами, обещая приехать тоже к ней в Денисово. Оленька, часто напоминавшая ее многими манерами и чертами характера, привязалась к ней на всю жизнь.

Первыми выехали к себе домой Зузины, сначала до ж.-д. станции Канаевки (за 40 верст), затем на Сызрань и по Волге в Кострому. С ними поехал и дядя до Канаевки, чтобы, приехав в Москву, приискать для Лели другое учебное заведение, а по дороге заехать в Пензу, навестить Григория Николаевича Челюсткина, младшего брата тети, жившего в 20 верстах от Пензы в Константиновке. Проводив их, и мы с тетей вернулись в Губаревку, где в наше отсутствие, вместо аряшенской прохлады стояли жары, не было дождей и зной спалил цветники наши, ягоды и огороды! Тощая рожь была отчасти спасена весенней влагой, но яровые, по обыкновению, были совсем плохи...

Григорий Николаевич Челюсткин почти безвыездно жил у себя в деревне с семьей: женой и 4-мя маленькими дочерьми (старшая была ровесница Оленьки). Все 4 девочки—хорошенькие, талантливые, умненькие и живые, а также милая жена его, делали его вполне счастливым мужем и отцом: без семьи он не мог дня прожить. Дядя остался в восторге от всей семьи Челюсткиных и, вероятно, очаровал и их своим остроумием и музыкой—вся семья была чрезвычайно музыкальная. Григорий Николаевич пел и сочинял романсы, играл на виолончели; „Густочка", как звали его жену, удивительно хорошо играла на рояле. Целые вечера проводились ими за музыкой, и дети по

своему пели и играли, подражая старшим. 4 августа дядя приехал в Москву, озабоченный тем, чтобы Леля, не возвращаясь к Крейману, продолжал учение. В Константиновке он слышал хорошие отзывы о 4-ой гимназии в Москве, но, не желая решать этот вопрос без согласия Лели, вызвал его телеграммой. 9 августа Леля выехал в Москву, а в письме от 11-го он описывал тете свой приезд к дяде и Михалевским, уже переехавшим в Москву на зимнюю квартиру, в меблированные комнаты Андреева на Бронной, очень не понравившиеся Леле. „Сегодня дядя хочет узнать про другие гимназии, так что до сих пор ничего не решено. Трескиных в городе нет, Бартенев тоже куда-то уехал, так что в Москве пусто и дорого, и дядя уже поговаривает, не лучше ли нам ехать назад, в Саратовскую гимназию. Обедали мы вчера в Славянском Базаре в 11 часов вечера и все время решали вопрос, куда поступить. Константиновка очень понравилась дяде, и племянницы назвали его „бархатным дядей", по платью.[1] Сейчас пойду к Крейману за вещами." Поцелуи, поклоны всем и целый ряд ласкательных слов на неизвестном языке заключали это письмо Лели. Затем последовала телеграмма дяди совершенно неожиданно из Костромы Дядя телеграфировал, что необходимо иметь немедленно 500 рублей для поступления в учебное заведение и звал тетю в Кострому: „Погостим, вместе поместим Лелю и вернемся через Москву".

В письме от 17 августа Леля пояснил причину их неожиданного отъезда в Кострому. Дожидаться присылки денег в Москве—было дорого и скучно. Дядя не решил окончательно, куда помещать Лелю, одно было только неизменно, что Леля к Крейману не вернется. Когда он поехал за вещами своими и документами, Франц Иванович очень сожалел, что „знаете-ли такой хороший ученик покидает гимназию", но, подозревая в этом дядю, он прибавил: „Дай бог, чтобы ваш дядя нашел, наконец, гимназию, которая ему бы нравилась". 13-го вечером дядя с Лелей выехали в Ярославль и оттуда в Кострому, но, никого не застав из Зузиных в городе, проехали в Денисово (за 12 верст) Конечно, в Денисове их приняли очень радушно, тетя Вава в особенности им обрадовалась: „Зузинята ни наминуту

[1] Дядя неизменно носил черные бархатные тржурки.

не отставали от меня и все время Сережа и Боря были по сторонам, а Миша на шее а Наташа, как услышала, что, „вот едет“, спряталась куда-то и долго не являлась, так она была сконфужена. Накануне она много обо мне говорила и все уверяла тетю Ваву, что я „мигназист“.“

Затем, Леля с Зузинятами, оставив дядю в Денисове, переехал в Кострому. С ним был и дядя Николай Александрович; он, так же как и тетя Вава, был обаятельный человек. Их семейное счастие, добытое ценой стольких усилий и терпенья, было безоблачно. Эта была семья, которой можно было восхищаться, все близкие их обожали. Теперь Зузин привез мальчиков в Кострому, и двое старших поступили в 1-й класс местной гимназии. Они начали свою учебную жизнь нормальным образом, без разлуки с семьей, без раздираний душевных, так отравлявших жизнь Лели... Ну, что бы стоило поместить и его также в местную, Саратовскую гимназию, как настаивала я с самого начала? Быть может, пример такого доступного покоя душевного заставил и дядю поколебаться в своем решении вновь отвезти Лелю в Москву. По крайней мере, после нескольких телеграмм тети, объяснявшей невозможность выехать в Кострому, дядя телеграфировал, что везет Лелю обратно, прямо в Саратов. В конце августа наши путешественники прибыли в Саратов пароходом из Костромы, по Волге, а затем и в Губаревку (!). Помню, что тогда было столько рассказов о Денисове и Зузинятах, о Замерзкой барышне, (как называла себя 3-хлетняя Наташа, потому что жила в Денисове, за рекой Мерзкой), заобожавшей Лелю, а не помню, почему дядя все-таки не поместил Лелю в Саратовскую гимназию, и почему Леля, в самый разгар учебного времени, остался „не у дел“, никуда и не пытаясь поступать... остался с нами зимовать в Губаревке.

XXVI

В один осенний вечер

От этой осени, проведенной вместе, не только с Лелей, но и с „родителями“ нашими, не осталось ни одного письма, которыми бы я могла восстановить это прошлое.

Я прослышала тогда, что в школах и гимназиях задают ученикам темы для сочинений—„автобиографические“: как провели вы лето—праздники и т. д.? Вот я и надумала написать тогда подобное сочинение по адресу анонимного учителя под заглавием—„Один осенний вечер“... Это сочинение у меня случайно сохранилось. Я привожу его здесь, чтобы заполнить этот пробел.

Наступает осень. Сентябрь стоит сухой и теплый, солнце греет. Мы обедаем уже при свете канделябров или висячей лампы. Сезон дыней и арбузов доставляет нам много радости. После обеда дядя с тетей уходят в кабинет пить кофе у горящего камина; Леля всего чаще идет с ними, сыграть с дядей партию в шахматы (оба играют превосходно и никак не могут друг друга обыграть), а Кити с Оленькой располагаются в гостиной. Оленька, в ожидании вечернего урока, обыкновеноо забирается на дальний диван, поджав ножки, с котом Жирофле на руках и, укачивая его, слушает музыку. Это час, когда Кити неизменно садится за свои вальсы Штрауса, Шульхофа, „Le Fou“, „Kalkbrenner“, „Rèveil du lion“[1] и прочие блестящие или бравурные пьесы.

Я тоже слушаю... но меня тянет еще разок выскочить в сад. И я тихонько, через девичью, накинув белый, пуховый платок, скольжу мимо груды тарелок со стола, мимо буфетчика Сидора, который ворчит, командуя Варей и Таней. Вечер лунный, светлый, но уже очень свежо. Бегу по саду, бегу по двору... Жизнь в усадьбе стихла. Рабочие уже сели за ужин в застольной. Я пробую их щи: отличные! Пшенная каша—рассыпчатая с свежим салом—объедение! Я очень довольна новой стряпухой в застольной—Аксиньей. Лошади мерно жуют овес в конюшне; на скотном дворе тоже все в порядке и, зная всех сытыми и прибранными, я испытываю чувство удовлетворения: управляющий Шмит очень старается и за всем смотрит. Но прежде чем вернуться домой, еще надо взбежать на бельведер, еще раз окинуть взором всю нашу усадьбу, такую чудесную при лунном свете. Я только что поднялась по резной лестнице на-

[1] „Безумный“, „Калькбреннер“, „Пробуждение льва“.

верх, как внизу дверь девичьей распахнулась, и на крыльце появился Леля. Услыша, что я его окликаю, он также взбирается по лестнице наверх, и несколько времени мы вместе любуемся: луна как-то особенно высоко поднялась почти до зенита и льет уже холодное, белое, как в зимние ночи, сияние.

Вдали блестит новый тес на крыше немолчно шумящей мельницы, блестят серебристые струи пруда, блестят лепные карнизы каменных надворных построек, холодная роса на лугу сквера, белокорые березы у шалаша в фруктовом саду... в холодной, строгой, белой красоте этой—невыразимая прелесть.

Леля начинает говорить о том, что в начале января ему все-таки придется ехать в Москву, попытаться поступить в какое-нибудь учебное заведение.

Мы, легкомысленные сестры его, так довольны, что он остался дома, что ему хорошо, покойно, привольно, что он с таким увлечением „филоложничает", что мы решили, что ехать учиться куда-либо совершенно лишнее, как будто учиться можно только в обществе противных мальчишек! Но Леля уверяет, что, помимо окончания учебного курса, ему хочется ради своей филологии, ехать в Москву для того, чтобы показать свои сочинения какому-нибудь специалисту и от него услышать определенное мнение. Трескины, зимой, познакомили его с одним англичанином, профессором Ходжетцом, филологом и ему теперь нужно переписать свое сочинение и придать ему менее с у х о й тон. Леля опять развивает свою теорему звуков, которую я никак не могу постигнуть: почему же звуки ü+i=a? Леля тщетно поясняет мне эту мудрость. Удивительная бестолковость: я решительно не могу понять его теорию звуков..

И того хуже—я слышу за ними другие звуки: дальнее ржание, дальний топот Огонька, вороного рысака соседа, того самого, который отравлял нам прогулки при Ясиевичах.

С тех пор прошло 3 года и ничего не изменилось в нашем знакомстве. Мы видимся только в Вязовке, когда выходим по праздникам из церкви и торопливо садимся в коляску. Тогда он молча с нами раскланивается, иногда же подходит: тогда мы перекидываемся незначущими фразами. И так—каждый праздник. Я смущаюсь и краснею: уж слишком пристально смотрит

этот чужой, черной бородой обросший господин, и слишком дразнят меня им домашние: я же боюсь даже на него взглянуть... Летом он купил себе этого рысака и почти ежедневно верхом или в беговых дрожках проезжает мимо ворот. Ни радости, ни удовольствия не доставляет мне это молчаливое ухаживание, о котором говорят в деревне и прислуга на дворе. Такая манера подходить к вопросу сердца и жизни мне совсем не по душе и мне кажется „насилием". И если я смущаюсь и краснею, то потому только, что чувствую досаду. „Он меня компрометирует", говорю я, когда иногда по пять раз в день он проезжает на своем вороном коне. „Запретить кататься нельзя, вольному воля!"—с философией рассуждает Леля, теперь убедившись, что во мне нет ни капли кокетства. „Но я хочу, чтобы он знал, что это мне не нравится",—настаиваю я. „Ты ему это ясно показываешь. Достаточно, что ты никогда с ним не любезна",—заключает Леля... и катание продолжается.

„Опять? — произносит Леля, наконец, услыша знакомое ржание Огонька, прервавшее его протяжный „ю—|—ю=й;—да, ведь, ночь! Что он мычится?". И Леля довольно нетерпеливо за рукав тащит меня на другую сторону бельведера, чтобы при свете луны мы не были замечены с большой дороги. Но прерванную лекцию о звуках не суждено мне слушать до конца: Сидор вызывает Лелю—просят к дяде. Леля торопливо спускается с бельведера вниз, зовет меня с собой, но я хочу еще немножечко... немножечко постоять, полюбоваться луной! Леля поваркивает, но я остаюсь и прислушиваюсь к ржанию и топоту Огонька. М. шагом проезжает мимо усадьбы и топот коня удаляется по направлению к Вязовке.

Мне становится грустно... от того, что там, удаляясь за лес, кто-то думает обо мне, что-то ждет от меня, то, чего я дать не могу. Даже насильно настраивая себя, я не могу вызвать в себе ответа на чувство, которое у него, хотя и не может быть ни глубоким, ни мучительным, но все же за что-то я причиняю ему боль. И грустно мне еще потому, что все-таки мне не безразлично и неприятно, когда вышучивают моего рыцаря: „Муха в молоке", определяет его Кити за смуглость лица в белом костюме; ржание Огонька заставляет ее хохотать до слез. Мы с ней много беседуем о любви, о

романах и героях, мечтаем, упиваемся музыкой и романсами, а Леля все это называет чепухой!..

Я перехожу на сторону бельведера, обращенную во двор, так как облетевший яблоневый сад и темный без зелени парк наводят меланхолию, и вижу, что с высокого каменного крыльца конторы, мимо куртин облетевшей сирени к дому шариком катится Мария Дмитриевна (мать управляющего). Она каждый вечер приходит к нам разливать вечерний чай и, обыкновенно, засиживается с нами, болтая, гадая и быстро-быстро ввязывая какие-то особенные пятки в чулки. До чая остается еще достаточно времени и я, окликнув ее, зову на свою вышку. В одно мгновение старушка вкатывается ко мне на бельведер и, оглядываясь кругом, сильно запыхавшись, говорит:

— Вы одни, без Екатерины Евстафьевны?—Слава богу!

— Отчего вы ее так не любите?—спрашиваю я, смеясь.

— За гордость! Сирота, так молода, и такая гордость. Ну скажите на милость, за что на меня эта королева дуется третий день?

— Кити не дуется... Она только не любит фамильярности: вы треплете ее по плечу, берете под руку (Кити давно поручила мне это передать Марии Дмитриевне).

Старушка отказывается, бормочет что-то в оправдание и, наконец, усиленно сморкаясь, произносит с сердцем:

— Экая маркграфиня! Проходит мимо меня, махая шлейфом, и еле кланяется! Фон-баронство какое! Сядет она за свои фокусы, вот вам крест—сядет!

Я пробую заступиться за Кити, не состоящую ни в каком родстве с графами и баронами, но Мария Дмитриевна уже входит в азарт и, наконец, рыдает у меня на плече:

— За меня вы никогда не заступитесь, все только за нее! Я человек маленький, сирота, всякий может меня обидеть. Сын родной, и тот перестал меня за мать почитать! Совсем одурел, на все глазами жены смотрит. Вторую неделю со мной не разговаривает!

— Ну, поехала!—почти громко реагирую я на жалобы, уже сто раз слышанные.

У старушки при воспоминании о невестке слезы быстро высыхают и гнев сверкает в маленьких сердитых глазах:

— Шкапом дверь ко мне заставила...

— Да вы сами ее комодом от себя заставили,—прерываю я перечень обид, причиняемых ей невесткой.

— Только тогда, когда я увидела, что они тестом замазали мою замочную скважину,—оправдывается старушка и старается всхлипнуть,—говорит, будто я подслушиваю, подглядываю за ними... Отняла она его у меня!..

— Родная жена,—наставительно вставляю я.

— Что же, что жена? Женой она всего 11 месяцев, а я вынянчила и выростила его, я ма-ать!..

Опять всхлипывание... Круглое и сморщенное, как печеное яблоко, лицо прячется в носовой платок. Я в нерешительности: знаю, что слез нет, но мое полное равнодушие к такому горю как-то выходит неуместным.

— Ну бросьте! — говорю я, наконец, треся ее за плечи и давясь от смеха,—все свекрови на один фасон! Вот, когда буду я свекровью—невестки у меня на цыпочках будут ходить!

Старушка быстро вытирает сухие глаза (все еще с злым блеском) и совершенно неожиданно шепчет мне:

— Ах, Женичка, Женичка! Какой я знаю про вас секрет... вы никому не скажете?

— Ну, конечно,—успокаиваю я ее, хорошо зная, что непременно тут-же сообщу его Леле прежде всего, а затем, может-быть, и Кити...

Марья Дмитрьевна мнется, хочет придать больше весу своему секрету. Я не выражаю нетерпения, скорее показываю сомнение в важности этого секрета, порываюсь даже идти домой; тогда старушка шопотом (хотя один месяц в небе мог нас слышать) сообщает мне, что слышала, сама слышала за дверью... „Через замочную скважину?“—перебиваю я шопотом. Слышала разговор сына с женой. Он говорил ей, что попал в компанию охотников в Вязовке и познакомился с М... „Они стали сразу друзьями, и М., после недолгого знакомства, открыл ему душу свою, свою любовь к вам и намерения добиться вашей руки, но так как, сказал ему М., он не так глуп, чтобы не знать, что в доме, где он не принят, ему этого не достичь, что, вообще дядя с тетей на этот брак не согласятся, то он подговорил своих друзей, когда вам минет 16 лет,

похитить вас... подумайте! И Марья Дмитриевна отступила, предполагая, что теперь я пойму всю важность ее сообщения.

— А я-то, я-то захочу-ли быть похищенной? Об этом он не думает? возражаю, очень покойная на вид.

— М. боготворит вас и жалеет вас. С таким деспотом дядей вы жизни не увидите. Как в каземате взаперти, вас в деревне держат.

Я чуть-чуть смущена, но возражаю сердито.

— Никто меня не запирает, напрасно жалеет.

— Ну, Женичка, положим, ваша жизнь не очень-то красна. Такой характер как у дяди, такая строгость, как у тети!

— Очень ошибаетесь! Мне жить отлично и спасать меня не от чего!

— Да я только передаю, что слышала и хочу вас предупредить: не выходите никуда одной, не даром же он два месяца вокруг усадьбы катается. Нет, Женичка, не думайте, что это шутки. Я слышала все подробности заговора. Вас без разговора увезут, накинут на голову шубку и на седло, гай-да!

— А я-то разве кукла?

— Вас и не спросят. Все знают, что вы без позволенья тетеньки шагу не ступите, — в голосе нотка ядовитости.—Так вот вас поэтому и увезут в лесную сторожку и запрут там, пока вы не согласитесь идти под венец. И батюшку посвятили уже в эту тайну, и Кан, сосед, дает лошадей, и еще кое-кто из ваших людей...

— Средневековая сказка во сне вам померещилась, — прерываю я росказни старушки.

В это время снизу опять кричит Сидор: теперь просят меня к тете.

Я чуть не опрокидываю Марью Дмитревну и бегу вниз, в кабинет.

— Будет все гулять!—серьезно замечает тетя, уж мы все дома за делом сидим.

— Все луной любуется, — вставляет и дядя неодобрительно.

Меня сажают к столу набивать папиросы. Дядя, отпустив Лелю после шахматного турнира, перешел на зеленый угловой диван к столу. Его любимое теперь, после болезни, занятие—

слушать чтение вслух. Тетя читает ему или, вернее, перечитывает „Indiana“, G. Sand.[1]

Я уже знакома с этим романом, и „Indiana“, как женский тип, мне не нравится. Не нравится мне ее отношение „страдалицы“ к своему, правда, грубому мужу: „Не умеет за него взяться, — рассуждаю я, набивая дяде папиросы. — Женщина настоящая должна уметь быть счастливой вопреки всему, и кругом себя всех, а мужа в особенности, делать счастливыми. Ведь, видела она за кого шла. Ведь, я и в 13 лет сообразила, что за М. не пойду (этакая дерзость-жалеть меня!), а уж если назвалась груздем, m-me Индиана, без нытья полезай в кузов. Терпи! да так, чтобы одна подушка твоя знала, как весело быть груздем — н-да! (И кто только распускает такие слухи о строгости тети? Не сама ли Марья Дмитриевна? Она так боится прямоты тети!) Быть может, и я завалюсь груздем в чей-либо кузов, и мне станет тошно, но не позволю я себя жалеть, ни за что! Несчастненькие, обиженные судьбой и людьми, сами в этом виноваты. А их теперь так много развелось По крайней мере, вся русская литература взапуски им посвящает свое внимание. Все эти современные типы,—даже Гоголя, Тургенева,—положительно наводят на меня тоску...“

Все эти соображения, конечно, остаются при мне. Я их даже не сообщаю Леле, который примется „их“[2] жалеть и найдет, что я сужу поверхностно и жестоко. Но я старательно это записываю в дневник, который прячу под подушку.

Папиросы набиты, и я с душевным облегчением ухожу в гостиную, место нашего вечернего пребывания. Кити, стройная, затянутая, в длинном, со шлейфом черном кашемировом платье, все еще сидит у пианино и, проводя по клавишам тонкой в кольцах рукой, pianissimo, одним ухом прислушивается к воркотне Марьи Дмитриевны, что-то с особенно постным лицом жалобящейся Леле. „Где это вы весь вечер пропадали?— обернувшись, говорит мне Кити;—верно, все дела у вас? Кого утешали? Кур своих“? Я очень серьезно настроена, мне не до насмешек Кити, но Оленька неожиданно заявляет о себе (она,

---

[1] „Индиана“, Ж. Занд.

[2] „Их“—т. е. героев современной литературы.

бедняжка, под музыку вздремнула вместе с Жирофле в темном углу дивана). „Sapristi! Quand on a du coeur!“[1] у Кити сжались ноздри, она презрительно взглянула в сторону своей ученицы и проговорила сквозь зубы: „Несносное дитя, вас не спрашивают“. Но Оленька смело подняла свои большие светло-голубые глаза и отчеканила: „Я говорю то, что думаю“. Кити передернула узкими плечами и, отвернувшись, заиграла вальс.

Марья Дмитриевна, с чулком у круглого стола под длинным абажуром, сидит против Лели, обложенного своими книгами и тетрадями. Ему, конечно, несомненно, мешают „рацеи“ старушки, но он с большим терпением выслушивает их, чтобы не обидеть ее.

— Вот я рассказываю,—обращается она через голову Лели ко мне, — как судьба меня всегда преследовала: намедни в Саратове я ехала с вокзала в город; взяла извозщика. Темь. Ливень. Отъехали. Вдруг на улице прохожий нанимает моего извощика и садится возле меня! Я кричать. А извощик мне: не твоя лошадь и не ты везешь, сиди да молчи! Так мы и доехали вместе; пассажира подвезли к номерам Сорокина, а меня уже потом, на квартиру. Ну с кем другим могло это случиться?

— Только с вами,—вставляет Кити.

— Это просто ужасно, — вздыхая, говорит Леля и, отрываясь от своей тетради, выражает Марии Дмитриевне свое соболезнование.

У нее лицо становится еще печальнее, лицо мученицы, предавшейся воле божией.

— А когда мы летом переезжали в Саратов,—продолжает мученица, — они, Владимир с супругой, поехали на почтовых, а я 70 верст проехала на возу с кулями муки. Среди ночи мужики обоза выпрягли лошадей и полегли спать под воза, не говоря мне ни слова, точно и я куль муки... И до самой зари, глаз не смыкая, я проторчала с кулями на возу.

Леля качает головой и вместе со звуками „а-а, е-е, і-і“, мысленно представляет себе все неудобство такой ночевки в степи. — Ему искренно жаль старушку. Мы называем его

[1] „Sapristi! (восклицание), когда имеешь сердце!“.

„рыцарем“ Марии Дмитриевны, и Кити постоянно острит по этому поводу: „рыцарь гнилушки! рыцарь печеного яблока!“ Лелю сердят эти прозвища, но он, вообще, особенно любит и жалеет старушек. Изо всех героинь в романах ему нравится всего более бабушка (!) в „Обрыве“ Гончарова и, хотя Марья Дмитриевна — совсем не тип Бережковой, Леля всегда внимательно и особенно деликатно относится к ней, а подчас заставляет нас с Кити краснеть за нашу бессердечность. Кити относится к старушке свысока, с уничтожающим высокомерием, потому что старушка — „слезлива, фальшива, глупа“, потому что старушка, в первые дни знакомства, приняла ее за „сироту“, т. е. несчастное, одинокое существо, судьба которого напоминает ее сиротливость, бедность и ничтожество, а еще более потому, что вероломные зеркала не раз выдавали ужимки и гримасы, которые старушка строила по ее адресу за ее спиной. А я была бессердечна, потому что всегда готова была подшутить, попугать, а слезливые жалобы ее не трогали меня; быть может,—потому, что были слишком часты, мелочны и докучливы.

Но вот, мы кончили вечерний чай. После чая Леля еще почитал дяде вслух газеты. Я кончила какое-то давно начатое рукоделие; Оленька, приготовив уроки, как малышка, первая отправляется спать. К полночи все в доме стихает... но в окне Кити—в башне—свет, и я стучусь к ней с балкона. „Ой! как свежо! Скорее садитесь на диванчик вот так, с ногами“. Я уютно свертываюсь в углу дивана, кутаясь в пуховый платок.

— Ну, о чем же мы сегодня будем с вами трактовать? — начинает Кити, вытягиваясь в качалке,—о Марии Дмитриевне?

— Не-ет,—отвечаю я капризно.

— Что вы сегодня как серьезны?

— Мне так хочется знать, Кити, будущее!

— Что же, и мне хочется знать его, но к гадалкам мы с вами не пойдем.

— Пошла-бы, будь только гадалка не врунья.

— Да на что вам?

— Хочется знать, полюбит ли меня кто-нибудь по настоящему?

— Вот забота; и что же дальше—замуж пойдете?

— Да как же, конечно, а вы?

— Я, замуж, с перспективой—кухня, дети? Ну, нет! Я дорожу своей свободой превыше всего, и добровольно надеть кандалы семейной жизни не хочу. Есть в жизни другие интересы— искусство, музыка, литература, наука, все эта—сфера повыше пеленок и кастрюлей!

— Зачем, Кити, такое к ним презрение? То все прилагательные, а существительное—семья, семейная жизнь... И вырастить сынов своему отечеству—задача превыше всех других,— говорю я очень важно, но это вызывает взрыв смеха Кити. Я становлюсь совсем серьезной: я шла к ней с намерением поговорить о том, что „скребет душу", а она дурачится!

— Постойте, постойте, я заменю вам пророчицу и гадалку... я смотрю в стакан воды... я вижу...—(Кити щурится, глядя в стакан чая),—я вижу вас... окружены 12-ю бутузами, мал-мала меньше,—сквозь слезы смеха не унимается она,—это-же 12 сынов, которые вы подарите отечеству. И все на одно лицо—курчавые и чумазые, в соседа! ха-ха-ха!

— Пифия какая!—огрызаюсь я, недовольная.—А какой вы себя-то видите?

— Себя? О, только не в раме пеленок, ребячьих курточек, кухонных сковород и мутовок! Для такой жизни я слишком нервна и слаба! Я не создана для борьбы с жизнью. Вы—дело другое. Вы любите борьбу, препятствия...

— Да,—соглашаюсь я,—и, знаете, иногда мне кажется, будто за плечами у меня растут невидимые крылья и меня берет нетерпение, скорее встретить препятствия, невзгоды, скорее начать борьбу с теми гадостями, которые сулит жизнь, чтобы их победить, побороть!

Кити смотрит на меня качая головой и опять хохочет.

— Да что вы смеетесь так, без толку,—теряю я терпение.

— 12 смуглых рожиц! 12 сынов отечеству! Какая прелесть! ха-ха-ха...—продолжает хохотать Кити, закрывая лицо носовым платком.

Я не в шутку недовольна, срываюсь с дивана и, несмотря на просьбы Кити, убегаю к себе: тетя, делая вечерний обход, еще хватится меня. Я возвращаюсь к себе кошкой, через окно, и как-раз во-время, еще одетая—до подбородка натягиваю

на себя одеяло: тетя подходит к нам, крестит на ночь: Оленька уже спит. Тетя посылает нам воздушный поцелуй.

Но мне не до сна, мне нужно хоть немного все обдумать. Я сознаю, что мне очень бы хотелось в такую светлую, холодную ночь очутиться под шубкой, прикрученной к седлу... И запертой в лесной караулке... И под венцом в темной вязовской церкви... Но! Боже мой! Не с этим, совсем чужим, незнакомым М... с другим! С таким другим, от одного взгляда которого голова-бы закружилась, в глазах-бы потемнело и сердце бы захолонуло. А нет такого здесь, в Губаревке! Играем мы в жених с невестой с Володей, но это не то! „Он" должен быть старше меня, умнее, сильнее духом и волей. Но о М., конечно, я ничего не скажу Кити. Будет только новый повод к насмешкам, новая тема о пользе подслушивания Марьи Дмитриевны, а, главное, к чему? Конечно, М. не чета красавцу, ее кумиру, певцу Станио, но зачем такое у нее пренебрежительное отношение к человеку, вообще? Я засыпаю, даже слишком скоро, потому что не успеваю решить какие-то важные вопросы, связанные с жизнью, идеалами жизни и пр. и пр. Утром надо встать пораньше и переговорить с Лелей о секрете Марии Дмитриевны.

XXVII

Провинциальная публика

В начале декабря нас ожидал сюрприз. Дядя объявил, что мы переедем во флигель в Саратов, на время отсутствия тети, т.-е., когда она повезет Лелю в январе в Москву. Мы, конечно, этому обрадовались, зная, как все скучаем без нее. Но затем отъезд придвинулся, и в солнечный, морозный день половины декабря наш поезд-возок, кибитка, троечные и парные сани, двинулись в путь. Переезжали мы в Саратов всего на два месяца, но с нами ехали—наши люди, вещи, провизия. Не были забыты и собаки, т.-е. выросшие за лето у нас щенки, носившие клички, соответствовавшие пережитым политическим событиям: Дизраэли, Андраши, Мухтар и пр.

Первое время бивуаки во флигеле показались нам очень неудобными. Было тесно, шумно. С первых же дней у нас

безвыходно, сменяя друг друга, были гости. Наш приезд в Саратов был встречен всеми друзьями тети и дяди так радушно, что флигель наш превратился в калейдоскоп, и заняться чем-либо становилось очень трудным, а между тем, я все так же крепко держалась своей программы и всеми правдами и неправдами старалась выкроить себе-назначенные 5—6 часов в день „учебного занятия". Кити очень забавляло „наблюдать провинциальную публику", хотя в ней ничего не было провинциального. Какая теперь „провинция", когда все эти провинциалы связаны одним-двумя днями пути со столицами, и столько-же времени проживают в столице, сколько у себя в имениях или в провинциальных городах? Но Кити искала пищи своей желчи и критическим наблюдениям. Она ими смешила и нас подчас, подмечая то, что нам бы и невдомек заметить, но в общем—это нам не особенно нравилось, в особенности Леле, который, вообще, не любил острот и насмешек, и сейчас же находил причину жалеть или оправдывать тех, кого она высмеивала (Марья Дмитриевна, дама сердца его, как продолжала язвить Кити, проводив нас, немедленно уехала куда-то „погостить" вглубь уезда). Мои отношения к гордой „маркграфине" тогда были довольно сложные. Кити была первой девушкой, с которой я стала говорить по душе, и я мысленно называла ее другом своим, я готова была привязаться к ней искренно и „навсегда"!.. Но я чувствовала в ней отталкивающий меня холодок и что-то хуже. Я понимала, что она имеет к тому полное основание. Ну что представляла я для нее, избалованной друзьями своего пансиона (как я завидовала учащимся в учебных заведениях, потому что они имели товарищей, подруг, друзей!..). Жизнь наша в Губаревке представлялась ей, избалованной московскими концертами и театрами, какой-то ссылкой, заточением. Я прежде всего в глазах ее была деревеньщиной, с которой нельзя было ей говорить о том, что для нее превыше всего—о театральном искусстве. Мало того, что я никогда в театре не бывала, но, когда Кити принималась вздыхать, вспоминая Федотову, да Ермолову или Станио и других певцов, как лисица перед виноградом, я начинала высказывать довольно „дикие, допотопные" взгляды на любимое ею искусство, тешась ее возмущением.

Других театров, кроме „именинных“ у нас в куртинах, я не видела, но я с апломбом утверждала, что—зелен виноград, то бишь—что трели и рулады для выражения „обыкновенных“ чувств на сцене, должно быть, производят убийственное впечатление, и что, вообще, все представления на сцене фальшивы, ходульны, неестественны, а увлеченья актерами и артистами—блажь!.. Кити никогда не горячилась, даже, когда я задевала ее святое-святых—театр, но умела так уничтожающе взглянуть на меня, пожимая плечами, что я краснела от досады. Молчаливое пожимание плеч выражало мне в ответ, конечно, полное несочувствие, негодование даже. И мало-по-малу я должна была понять, что мы с Кити говорим на разных языках и дружбы мне с нею не связать. Да и к чему?—утешала я себя: у меня есть друг, один, но настоящий друг—Леля! Он пока не знает и даже не догадывается, что помимо его звуков и учебников, есть еще многое, многое поинтереснее на свете, но все-таки он уже понимает суть жизни и суждения его не так односторонни и пристрастны. Он в каждом человеке ищет душу, к каждому относится благодушно, без предвзятой идеи, без насмешек и ядовитости.

Перед самым Рождеством или уже праздниками мне, наконец, удалось попасть в концерт и театр, то, что в Губаревке мне казалось еще почти недосягаемым. В концерте мы были вдвоем с Кити и с нами Мария Николаевна Таушева, соседка, хотя и никогда не жившая в своей Губаревке-Таушевке (или Тамарской, по девичьей фамилии Марии Николаевны). Пел Славянский со своей капеллой. Ну, признаюсь, и теперь, 40 лет спустя, слышу отчетливо дивные мотивы, с которыми выступал этот чародей со своей капеллой... Это было очарование.

С театром вышло несколько иначе. Спектакль был любительский, с благотворительной целью. Играли не артисты, а простые смертные из саратовского общества. Играли, говорят, превосходно, умопомрачительно, но я положительно не могла сосредоточиться, вслушаться, понять содержание пьесы (название ее даже забыла), до того я была отвлечена антрактами, довольно частыми и длинными. У нас была большая литерная ложа внизу, с аван-ложей, а так как дяде из-за больной ноги были запрещены лестницы, и он бы не мог пойти

в фойэ, то с нами прибыл в театр и Сидор с Варей. Они привезли с собой самовар и чашки. Мы пили в аван-ложе чай с домашним печеньем и смоквой, угощая всех заходивших к нам гостей,—словом, пикник был форменный! Не был забыт и кот Жирофле. На коленях у Оленьки в белом платье, он был заключен в шелковый розовый мешок и высовывал свою лукавую мордочку из под оборочек, чтобы грызть сахарные крендельки; слушал музыку со вниманием, а если на высоких нотах принимался мяукать, Варя немедленно выносила его в аван-ложу.

В такой, полу-домашней обстановке театр мне показался очень веселым времяпрепровождением, но меня удивляло, что Леля, кроме того интересуется и сутью пьесы, разбирается в игре „артистов"! По суетливости своей я думала не о содержании пьесы, а о новых и старых знакомых, наполнявших в антрактах нашу ложу, о чае с смоквой, о наших с Кити красивых туалетах, о Жирофле, о впечатлениях Кити, конечно, все критиковавшей... и только одним ухом схваченные трагические монологи с дрожью в голосе какого-то молодого человека на сцене и принужденный, конечно, неестественный смех какой-то вертушки ему в ответ, показались мне именно тем, что я ожидала в театре: ходульность, явный обман и кривлянье!

Но, так как подчеркивала Кити, играли любители, да еще средней руки, а не ар-ти-сты, то вопрос о театре остался пока у нас открытым. Мы вернулись домой всем семейством в своих больших деревенских санях, на тройке, накануне прибывшей с битой птицей и капустой из Губаревки. Все это: свои лошади, свои люди, свой самовар и свои лепешки в театре, совершенно помирили меня с той „казенщиной, ходульностью и фальшью", которыми должно быть все пропитано в театре, думала я, но все-таки не теряла надежды когда-нибудь увидеть на сцене и настоящих актеров!

Вслед за этим первым выездом в театр последовала жестокая расправа, как язвила Кити: начались визиты чуть-ли не всего города. Дядя не выезжал по болезни, тетя не оставляла его одного... и вот друзья наперерыв стали нас навещать! И что за сутолка началась тогда! То заедет Пелагея Никола-

евна, жена дяди Александра Ивановича (Шахматова) с сестрой своей Лидией Николаевной Всеволожской, то соседка по Ивановке (в 30 верстах, в родстве по Ченыкаевым и Сумароковым) О. Н. Деконская, то Е. С. Киндякова, (в родстве с тетей по Сабуровым) и пр. пр. Не в родстве, но большими друзьями дяди были Александра Александровна Хардина, приезжавшая с братом своим А. А. Киреевым и двумя дочерьми, которые, будучи немного старше меня, держали себя уже взрослыми барышнями и начинали уже выезжать, пользуясь большим успехом в обществе. Я чувствовала себя с ними неинтересным для них подростком, без всякого светского лоска и в постоянной борьбе с Конфуз-Ивановичем... Ездить к ним с ответными визитами было для меня пыткой. Когда же после Нового Года мы с дядей остались одни, тетя же с Лелей уехали в Москву... я очень решительно стала отказываться от множества приглашений, которыми нас засыпали, под предлогом, что я теперь также не могу оставлять дядю одного дома! А все-же, помнится, два раза пришлось уступить. Первый раз, пришлось нам с Кити появиться на семейном вечере у Киндяковых. Это был самый открытый и гостеприимный дом в Саратове, оживленный большим количеством детей, из коих Наташа, моя сверстница (ставшая вскоре моей приятельницей), была старшая. Играли у них, пели, танцовали, а за чайным столом, помнится, всем вниманием завладевала старуха Анна Васильевна Селивачева. Эта была одна из тех четырех почтенных, всему городу известных дам, которые ярким созвездием горели тогда на саратовском небосклоне. Мы много слышали о них и на Рождество имели случай познакомиться еще с двумя из них—Байшевой и Сыробоярской. Четвертая звезда—Алена Андреевна Иванова была в то время больна. Селивачева, почитая себя с теми дамами звездами Саратова, все-таки признавала Иванову самой яркой из них. И вот по этому поводу она и вела остроумные рассуждения, слушая которые все хохотали до слез. Еще А. Дюма, в известном описании своего путешествия по России, уделил ей свое внимание, называя ее „La reine du Volga“ .[1] Ни губернатор, ни архиерей не решались обходиться без ее

[1] „Царицей Волги“. У нее было в обычае проводить лето на пароходе между Нижним и Астраханью.

совета или наставления; все считали долгом своим навещать и бывать у нее. Матери везли к ней дочерей, старики приходили к ней отвести душу. Так поставить себя,—царицей общества, она сумела одной силой ума и характера. „Вот такой хорошо быть, Кити, не правда-ли?"—допрашивала я, когда, возвращаясь домой, мы ехали в санках светлой, как день, ночью: месяц стоял высоко-высоко в глубине небес! „О нет!—возразила Кити.—Эта жизнь в провинциальном городе и с провинциальными интересами меня не соблазняет, нет, нет!.." И начались наши обычные споры о жизни и цели ее, о том, что ожидает нас в будущем... и что „жизнь,—уверяла я:—все-таки полна радостей и очарования даже в провинции!.."

Вторым выездом, от которого мы никак не могли отказаться, был обед у старушек Бистром и Левашевой. Кити нездоровилось и мы с Оленькой были вдвоем у них. И они, ведь, были незаурядные дамы. Если Ал. Дюма оценил Алену Андреевну, шах персидский, проездом в Саратове, настолько был поражен В. Дм. Бистром, что подарил ей черные бусы-четки (которые она надевала на себя в парадные дни), а, прощаясь, поцеловал ее в лоб... Шаха пленило поднесенное и посвященное ему стихотворение, прочитанное ему с большим подъемом самой поэтессой. Варвара Дмитриевна очень талантливо слагала стихи и издала их отдельной брошюрой.

Она нам с Оленькой подарила по брошюрке, предварительно прочитав нам вслух лучшие места. У Прасковьи Дмитревны, знавшей эти стихи сестры наизусть, все же от умиления навертывались во время чтения слезы. После обеда я должна была с ней играть в четыре руки увертюру Бетховена, пока Оленька лакомилась апельсинами. Угощали нас, вообще, на убой. Задержали еще и к вечернему чаю. Гостеприимные хозяйки обещали дяде доставить нас домой сами и непременно с Дуняшей, старой, толстой няней, без которой и они никогда не выезжали. Довольно поздно, так что дядя уже стал беспокоиться (и хотел печатать в газетах, что „сбежали две девочки",—уверял он) подали к крыльцу древнюю обширную колымагу, запряженную парой старых разномастных коней. „Ду-ниаша" села против нас и, в своей лисьей ротонде, заняла пол-кареты. Когда кони, погоняемые глухим, старым кучером и понукаемые не менее

древним лакеем на козлах, наконец, сдвинулись и затрусили по снегу мостовой, Дуняша, крепко держа нас за коленки, стала уговаривать не бояться... Но мы не только не боялись, что россинанты нас понесут, но даже Оленька ничего бы не имела, чтобы ускорить их аллюр, зная, как нетерпеливо нас ожидают дома. А на беду еще вспоминалась картинка, ходившая в Саратове по рукам: были изображены—эта самая колымага, разномастные россинанты и „глухие" на козлах. Дорогой в карете провалилось дно. „Глухие", не слыша отчаянных криков трех дам в карете, продолжают двигаться: шесть пар ног, провалились сквозь дно кареты! Дамы вынуждены бежать по мостовой, бежать, оставаясь в самой карете, не имея возможности ни выскочить, ни остановить ее; надпись на картинке гласила: „На улице немецкой, против булочной Федецкой"... и т. д. описывалось это происшествие в стихах.

XXVIII

1879 год—Московская 4-ая гимназия

3 января Леля уехал с тетей в Москву.

Предполагалось что он поступит в 4-ю гимназию, благоприятные отзывы о которой сообщили дяде летом в Константиновке.

К счастию, в гимназии оказалась одна вакансия, и на 8-ое был назначен Леле экзамен. На этом экзамене Леля сплоховал из древних языков, так что явилось затруднение сразу принять его в 4-й класс, но телеграммой от 11 января тетя сообщила нам, что директор дает надежду на поступление хотя „только во вторник учительский совет решит, будет-ли Леля принят".

В ожидании решения этого вопроса, тетя на два дня уезжала в Тверь, навестить Наталью Васильевну: семейная драма резъединила милую семью Трескиных.! Рушилось совершенно неожиданно гнездо их, столь гостеприимное, интересное, столь любимое Лелей, куда каждую субботу, в прошлом году, он приезжал, как в родной дом.

Леля остался проводить это время мучительного ожидания у Михалевских. Они жили теперь в меблированных комнатах

Андреева на Б. Бронной. Жили, конечно, очень скромно. Володя учился в гимназии Сорокина, к Адель приходили учительницы.

Для Лели в столовой была раскинута железная кровать, и он был счастлив, что сможет опять приходить в семейный дом по праздничным дням.

Телеграмма тети от 16 января сообщила, наконец, что „Леля принят и попал прямо в класс на греческий урок. Одет уже в казенное платье“.

„Слава Богу!“—с радостью перекрестился дядя. Перекрестились также и мы, сестры, зная, как серьезно стал теперь Леля относиться к вопросу—доучиться. Были, конечно, подробные письма тети из Москвы к дяде, но все они погибли, а я так и не могу вспомнить, в чем состояла заминка Лели на экзамене древних языков, и как пережил он эти две недели.

Только в 20-х числах января вернулась к нам тетя из Москвы с рассказами о поступлении Лели в 4-ю гимназию.

В письме своем от 27 января Леля подробно описывал свою гимназию (на Покровке), находя ее несравненно лучше Креймановской во всех отношениях. „Она очень мне нравится, и так ее полюбил, что возвращаюсь в нее не с чувством скорби, как то бывало у Креймана, напротив, с чувством довольства“.

Леля был доволен и учителями своими, в особенности воспитателем, и пищей (прислал подробное меню обедов и завтраков), и платьем, и бельем, и... товарищами.

„Конечно, тут также есть курящие Рыловниковы, есть мальчики, у которых изо рта не выходят конфекты и сладкие пирожки,—но это редкие и частные исключения,—писал он в том же письме.—Тут нет особенно выдающихся типов, нет особенно хороших, особенно дурных мальчиков, нет особенных гениев и талантов, но везде простота нравов; такое же дразнение субъектов, которых поведение обращает на себя неудовольствие товарищей, тоже преследование форсовства и фискальства,—одним словом, 4-я гимназия—школа, как школа, но школа без всякого сравнения лучше Креймановского пансиона“.

Это первое впечатление Лели о 4-ой гимназии почти не изменилось у него до самого окончания курса, но, в противоположность его пребыванию в Креймановской гимназии, где его так интересовали товарищи, в 4-ой гимназии товарищи для него

отошли на второй план. Он почти вовсе не писал о них и почти не упоминал их имен. Теперь его всецело интересовала „его филология“, его сочинение о звуках, которое он мечтал показать какому-нибудь специалисту.

Уже в воскресение 27 января он отправился разыскивать „великобританского подданного Мистера Ходжетца“, с которым еще в прошлом году он однажды встретился у Трескиных, и Трескины советовали обратиться к нему, как к специалисту-филологу.

„Но хотя я пошел к нему в полной уверенности, что у него решится моя судьба, то есть, судьба моего сочинения, хотя я захватил мои тетради, мне не пришлось видеть почтенного англичанина, не принимавшего никого, будучи болен; искал я его очень долго и перебывал в 5—6 вонючих квартирах, прежде нежели войти в квартиру опрятного „великобританского подданного“, как он значится на адресе, данном адресным столом. Я поехал назад и после завтрака поехал отыскивать Володю Трескина“.

Несколько дней спустя, 2 февраля, Леля снова собрался к Ходжетцу, жившему очень далеко от Бронной и застал его дома.

Письмо Лели к тете по этому поводу так обстоятельно описывает эту встречу, имевшую такое значение в его жизни, что я привожу его почти целиком.

„Милая тетя! Ну-ж, душенька, ни вы: тетя, дядя, Женя—ни Ларионов, ни я сам не предполагал, что мне будет такой успех в моих сочинениях. Так как этот вопрос для меня самый близкий из всех, столь же близкий, как англичанам восточный вопрос, то начинаю и кончаю им письмо. Итак начинаю также с англичан.

„Сегодня утром после обедни я поехал к Ходжетцу; он только встал и казался в хорошем духе „Also, junger Mensch, was wollen sie mir sagen?“[1]—сказал он мне, сажая на диван (мягкий) против себя.

„Я объяснил ему, что, занимаясь языками, любя их, мне удалось написать маленькую статейку, которую я, согласно совету Ларионова, совершенно изменил, придал ей в неко-

[1] „Итак, что скажете вы мне, молодой человек?“

торых местах литературный оттенок); я желаю показать ее какому-нибудь знающему человеку, который мог бы объяснить, имеет ли она научный интерес и может ли она быть помещена в какой-нибудь журнал. Расспросив меня о ее содержании (все по-немецки), он сказал, что в Англии и Берлине она может возбудить большой интерес и что она была бы помещена в очень многих журналах, но насчет России он ничего не может сказать.

„Далее он начал: „Haben sie Müllers Werke gelesen? nein? Ihre composition ist nicht voll, ja? So ist sie die Repetierung des Max Müllers“.[1]

„Сказав ему, что я читал его „Wissenchaft der Sprache“ [2] и по-русски, и по-немецки, я заметил ему, что, например, М. Мюллер, по моему взгляду, в некоторых местах ошибается, что я доказал в моем сочинении; так как Мюллер—англичанин, Ходжетц с жаром меня спросил: „Wie? Wer hat ihnen dieses gesagt?“.[3] Я прочел ему свое насчет этого рассуждение и Ходжетц сказал: „Wunderschön, wunderschön geschrieben, aber si irren sich ein wenig?“.[4] Тут он, будучи, по всей вероятности, последователем Руссо, его идеи о l'homme primitif [5], представлявшемся ему существом идеальным, лишенным всякой материальности, стал доказывать мне, что М. Мюллер не ошибался, говоря, что человек назвал себя мыслителем или смертным. „Wenn ein Mensch auf ein Pferd sieht, nennt er es nicht ; nach seiner materialischen Seite, nein, er sah auf das Pferd idealisch“, [6] он уподобил коня—его быстроту— быстроте мысли.

Я начал проводить совершенно противоположное мнение, доказывая, что чем человек необразованнее, чем он древнее,—тем он ближе к природе, тем материальная сторона его развита в ущерб стороне идеальной. Мы заспорили,—но он запутался и сам стал противоречить М. Мюллеру, говоря, что

[1] „Читали-ли вы произведения Макса Мюллера? Нет? Ваше сочинение не полно, да?—Тогда это будет повторением Макса Мюллера“.

[2] „Языковедение“.

[3] „Как? Кто вам это сказал?“

[4] „Чудесно, чудесно написано, но вы немного ошибаетесь“.

[5] О первобытном человеке.

[6] „Когда человек смотрит на коня, он называет его не с материальной стороны, нет, он смотрит на коня идеально.“

язык весь составлен из природных звукоподражаний, чему и я следую в моем сочинении. „Nein, nein, der Russe und der Engländer können niemals dieselbe Meinung haben und sie, junger Mensch, sie lieben sehr zu lernen, aber auch zu lehren,“ [1]—сказал, наконец, вспотевши, симпатичный Ходжетц. „Jetzt werden wir von der Sache sprechen, [2]—и он начал: Я сам филолог, но филолог устарелый, английский—не русский; вы обратились ко мне с просьбой поместить это сочинение куда-нибудь, в какой-нибудь журнал,—я по-английски говорить и спорить умею, по-русски и по-немецки понимаю плохо, а посему не могу лично исполнить этой просьбы; далее—я знаком со многими русскими филологами, знаком с Ф. Буслаевым, Стороженко и другими, мне стоит с ними только заговорить про вас, и они вас выведут на свет. Буслаев очень покровительствует всякому филологическому направлению в России, и ваша статья сделает фурор; посему, будучи с вами одной профессии, одними защитниками, последователями филологии, я считаю себя в долгу помочь вам, и в воскресенье вы мне дадите ваше сочинение и с ним я пойду к Буслаеву, который назначит вам аудиенцию—свидание, на маслянице; вы с ним объяснитесь по-русски, будете толковать по-русски и решите дело по-русски“ (все это сказано по-немецки).

„Ты вообрази себе мое счастье; я весь затрясся от радости; Буслаев—это самый замечательный из русских филологов; Буслаев—моя давнишняя мечта и он все мне может сделать. Не напрасно я вспомнил про Ходжетца, не напрасно познакомился я с ним у Трескиных!

„Итак я увижу Буслаева. Mais chaque chose a ses inconveniants, и эти inconvenients в том, что Herr Hodschets, James Fréderic, [3] знает нескольких учителей моей гимназии. А ведь ты и дядя сами знаете, как на все это смотрят учителя; вы знаете историю с Бругманом, я знаю историю с крейманскими учителями, а потому я очень просил Ходжетца ничего не го-

[1] „Нет, русский и англичанин никогда не могут быть одного мнения, а вы, молодой человек, вы очень любите учиться, но также и учить.“

„Теперь поговорим о деле.“

Но в каждом деле есть оборотная сторона—и в этом случае беда в том, что Г. Ходжетц, Джемс-Фредерик.

ворить про мое свидание с ним. „Он плохо учится, а тоже пишет, вот дурак“,—скажут они. И, к довершению несчастья, Ходжетц знает рыжего Кремера, учителя греческого языка... Но бог с ними—моя участь решена“...

Далее, Ходжетц стал пояснять, как бы Леля ошибся, если бы он обратился за советом к Каткову, который бы его „прогнал“, потому что ему нет 21 года. Буслаев же все может для него сделать. „Да, Буслаев—это замечательный человек; он первый из русских составил историческую грамматику. Миленький Ходжетц! Вот осчастливил, пуще Ларионова; не знаю, что дальше будет, а покамест душа бьется от радости, сердце дрожит от волнения, да—я счастлив...

„Я спросил Ходжетца, боится-ли он чумы?—„Oh! spreshen sie nur nicht von die „чума“, man wird mich in Carcer stecken. Die Polizei hat verboten davon zu sprechen: in Russland ist alles so...“ [1]

„Когда я уходил, я нечаянно надел его калош. „Ай, Ай! —крикнул он,—bitte! meine Caloschen!“ [2] Он совсем седой и тоже много пишет насчет филологии“.

Далее, зная, что меня гораздо более, нежели его уроки, интересуют „семейные новости“. Леля в этом письме подробно описывает свое неудовольствие по поводу тех разговоров, которые были подняты при нем во время обеда у тетушки Любови Антоновны. Слишком много у них придавалось значения деньгам—и это удивляло его. Тетушка же удивлялась, что у Лели нет специально карманных денег для конфект и пирожков. „Женя не растет, потому что много учится; пора ее вывозить, а она все долбит „что нибудь“, будто мы у тебя, тетя, в заточении живем и т. д. „Так губы и надуваются от неприятности“. После же обеда все „большие“ разошлись, а „маленький“ Митя и Миша забавляли меня декалькоманиями, заставляя их наклеивать на своих тетрадках. Смотрят на меня, как на маленького!“ Зато тетя Надя совсем иначе относилась к занятиям Лели и терпеливо, с интересом,

---

[1] „О! Только не говорите о чуме, меня засадят в карцер. Полиция запретила об этом говорить, в России все так...“

[2] „Пожалуйста! Мои калоши!“

выслушивала чтение его статьи. На это, по моему мнению, требовалось большое терпение.

Письмо Лели заканчивалось обычными в его письмах выражениями ласки по адресу всех членов семьи, а в конце этого длинного письма он еще раз радостно восклицал:—„Итак, я увижу Буслаева, вот счастье!“

XXIX

Родство слов

„Милая Женя! Начинаю письмо с понедельника 29 января. Я поехал (в гимназию) с Аришей, как всегда, в 8 часов утра;—после $2^1/_2$ часов мы гуляем, и я, между прочим, сблизился, т. е., подружился на гулянии, с некоторым немцем—Икавицем, понравившимся мне потому, что, по его словам, он очень любит историю и очень любит заниматься грамматикой немецкого языка. Ну-ж, повезло мне, думал я, есть кому в гимназии поведать хотя свою разработку германских языков; я хотел возбудить в Икавице любовь к немецкой грамматике еще тем, что предлагал ему дать грамматику (мною собранную) древнегерманского языка. Но что же оказалось?

„Когда мы пришли назад в гимназию с прогулки, все мальчики 4-го класса стали уговаривать меня не водиться с Икавицем... Оказалось, далее, что он последний ученик из истории, и что в журнале в этом предмете фигурируют у него одни 2 и 1; оказалось, далее, что Икавиц передал весь мой с ним разговор приготовишкам, с которыми он, ученик 4-го класса, только и разговаривает и, по случаю этого, дразнение философом и альтерация филоносом. Увидев, что просьба их мною исполнена и что Икавиц более мне не товарищ, ученики 4-го класса более привязались ко мне, и в особенности я подружился с Салтыковым и Храниловым, будучи, вместе с тем, дружен со всеми“.

„Я решился—писал Леля 2 февраля: 1) не съевши пуда соли, ни с кем особенно не дружиться; 2) никому не поведывать своей любви к языкам, которую, впрочем, я могу не скрывать на уроке русского языка. Мне удалось на доске теоремами доказать при учителе что г. Поливанов и г. Перевлесский по грамматикам

церковно-славянского языка, которому мы учимся, ошиблись в одном случае насчет звуков русского языка.

„Что же мне сказал учитель? „Положим, что вы все верно говорите, но нам не следует оспаривать г. Поливанова“,—и ничего не поставил за предыдущие ответы.

„Господь утешил меня хорошими баллами и на следующий день, вторник, я получил из математики (геометрии) 4; четверг—из греческого 4, причем г. Кремер приписал меня к своим любимцам, как это говорят товарищи. Кремер этот страшный оригинал; когда, например, начинает объяснять правило, говорит: „Милые детюшеньки, выслушайте меня“; но тоже материалист, и, например, я отвечаю ему глагол греческий δορδανω—сплю, причем упомянув, что основой его будет—δαρδ, я сказал: латинское—dormio, русское—дремать—родственно этому слову;“—„Это до нас не касается, а посему отвечайте то, что сказано в моей книге (грамматика его у нас в употреблении), и не прибавляйте своих рассуждений“.

„Целый вечер я был занят приготовлением уроков и поправкой моей рукописи, которая очутится в руках Буслаева; сегодня утром я поехал в 9 часов утра к Ходжетцу, отдал ему тетради (но самого не видел), он же передаст их Буслаеву.

„Неправда-ли, Женя, я счастлив по одному тому, что если мне удастся видеть Буслаева, он сейчас же увидит, что я работаю собственно для себя, что я создал эту статью не для журнала, но для моих тетрадей. (Сделал важные и новые открытия по части органов звуков).

„Ивану Петровичу будет, может быть, интересно знать заключение моей статьи; вот ее содержание в некоторых словах.

„Индеец или, вообще, древний ариец назвал землю р—а, (рара) франц. буквами, т. е. рождательницей; р—а звучало также р—u, звучало р—е, звучало р—i; этому слову индеец хотел придать более вескости и он удвоил начальную согласную р. Вышло рар, вышло pup, вышло pip, вышло pep; но b—равно p, посему конечная согласная, как всегда, смягчилась и вышло pab, вышло pub, (инд. pub—земля), вышло—pib, вышло peb; b равно m и, если вы, Иван Петрович, зажав нос двумя пальцами, будете произносить слово baba, у вас получится

слово mama. Индеец придал конечной согласной носовое значение, так как древние арийцы любили носовые звуки, и вышло pam, pum, pim, pem; как мы выше доказали (несколькими строками раньше) p перешло в h, в этих формах, почему вышло ham (греч. Χαμαΐ, англо-саксонск. ham—земля, жилище) вышло hum (латинск. humus) вышло him, (немецк. Heimath, heim—мир), вышло hem; и в последнем слове перешло в z и вышло zem (Зенд.—zema, латышск.—zeme, литовск.—zema, русск.—земь); м соединеное с мягким—а, т. е. с я, как всякий губной звук, в русском языке вставил после себя для благозвучия букву л и вышло—земля".

Сознаюсь, такая филологическая лекция, через голову мою предназначенная Ларионову, была не моего ума делом. Я относилась ко всем этим звукопроизводствам и переходам от одного в другой—более чем скептически; привожу выдержки из следующих затем писем Лели.

От 9 февраля:

„Милая тетя! Милый дядя! Вот и масленица настала, масленица широкая, как говорят в Москве,—и катания и музыка на улицах и беспрестанное гулянье—вот она широкая масленица.

„Мне же она кажется еще шире, чем москвичам: мне, может быть, предстоит на масленицу познакомиться с Буслаевым, и завтра я надеюсь кончить вторую часть моей статьи—„О человеке", что бы начать третью „О земле". Завтра же я пойду к Ходжетцу и узнаю участь моих тетрадей; не думаю, чтоб Буслаев что-нибудь сделал с ними, так как он по своим исследованиям достоин названия евворопейского ученого, но все-же нужно быть осторожным.

„Теперь о моей гимназической жизни. Сам бог внушил нам мысль о 4-й гимназии—лучшего заведения для меня не нужно; во всем видно преимущество ее не только перед Крейманом, но и перед всеми другими гимназиями Москвы. Во-первых, у нас лучшее помещение, во-вторых, главное,—лучшие учителя и, в-третьих,—лучшее содержание.

„Учение мое хорошо. Получил из истории 5, греческого 4, немецкого. и французского 5. Но первый ученик (верно, страшно глуп) взъелся на меня за эти пятерки, и, когда учитель истории

спросил, кто может рассказать ему такой-то факт, и я, зная его, поднял руку, первый ученик и знаками, и жестами упросил меня сидеть на месте и не поднимать руки. Получив уже в понедельник пятерку, я на первый раз, по правилу товарищества согласился, но уступать первому из всех предметов, это мне не будет выгодно. Впрочем, я покамест со всеми дружен, т. е., в хороших отношениях, в особенности в своем классе.

„Передай, пожалуйста, Ивану Петровичу, что я, согласно с его советом, дал первое место скандинавскому сказанию о путешествии Геймдаль, разбирая слово Адам; при том я так критикую М. Мюллера, что мне самому стыдно становится и странно, как это такой великий ученый мог впасть в такие ошибки.

„Разговор с Ходжетцом дал мне мысль доказать в статье о человеке, что древний ариец не был идеалистом, а—материалистом, что природа научила его говорить, что он начал мыслить природно,—но не возвышенно, что он начал мыслить не идеально, а материально: он не называл себя мыслителем, но называл себя рождателем, не назывался смертным (санскр. marta), но производителем,—мнения, не согласные с М. Мюллером, но,—которые я доказываю, и при этом приводя такие веские доказательства, что не остается больше никаких сомнений об истине их. Мы, идеалисты XIX века, принуждены сказать, что наш предок, древний ариец, хотя его имя и значит по Макс Мюллеру благородный, храбрый, стоял гораздо ниже нас; что тысячелетия, отделяющие нас от него, облагородили нашу материальность и внушили нам столь возвышенные мысли и желания, что мы пытаемся доказывать идеальность Ария,—желание благородное, но противоречащее истине".

И заканчивает письмо:

„Да, счастлив тот человек, который имеет занятие, занятие от природы ему данное".

Этим счастием, вполне сознаваемым и ценимым, Леля пользовался до конца жизни.

„11 февраля 79 г. Воскресенье.

„Милая Женя. Масленица прошла, ел блины, но провел всю масленицу почти дома, что гораздо умнее, чем если-бы я бегал по баракам на Девичьем Поле.

„Вчера утром поехал к Ходжетцу; но он еще лежал (было $11^1/_2$ ч.) и сказал мне через горничную, что он покамест отдал тетради г. Фортунатову (тоже замечательный филолог), а что от него уже пойдет дальше к Буслаеву; я воротился назад и всю остальную часть дня имел счастье заниматься.

„Ты не думай, красавица тетя, что я ни с кем не разговариваю, напротив, вечером я стараюсь запастись занятием машинальным, например, переписывать что-нибудь, и мы очень много разговариваем обо всем. Следующие 8 страниц содержат некоторые образцы для того, чтобы ты могла судить о моем слоге; образцы эти взяты из 11 статьи „О человеке" и при том они следуют как бы заключением, последствиями к разным значениям и розысканиям природы того или другого понятия о человеке.

„Иван Петрович сказал мне, что мое сочинение сухо и занять всякого не может, а потому я счел нужным помещать подобные послесловия после частого перечня иногда простых слов. Вообще, все сочинение мое, по моему мнению, изложено хорошо и только в некоторых местах есть маленькая сухота: статья „О человеке" состоит из 35 страниц самого мелкого шрифта. Сегодня был я у обедни, но пришел от нея в таком писательском духе, что отказался от всех визитов и не пошел ни к Трескину, ни к Ивановым, так как счел это возможным. Получил из русского 5, причем учитель Лебедев сказал, что я, должно быть, очень много занимался древними и восточными языками. В субботу из русского 4+, не 5, потому что я не мог удержаться, не поспорить с г. Лебедевым: в пример удвоения церковно-славянских корней, я привел слово пепел, при чем корнем пел—пыль, латинск. pulvis—id., исландское pyl—пепел, а он сказал, что это неверно, но потом, подумав, прибавил: „впрочем—может быть"; а также был на филологическом факультете! Нет, видно морально воспитаться может человек только сам по себе, без чужой помощи, а гимназия и университет—это только внешняя оболочка; Лебедев—филолог, а уверяет, что слово дитя, баба, дед, тетя, дядя это—не удвоение—Уж я промолчал. В субботу же писал extemporale, греческое; мне так кажется, что у меня нет ни одной ошибки—не знаю.

„Дела с товарищами покамест отличны—все уладилось, я не ношу более за собой эпитетов ни философа, ни филоноса,

лажу со всеми; только в субботу какой-то 5-классник, входит в мой класс (приходящие еще не приходили) и смотрит в окно—он увидел, что проходит какая-то девушка (вот дурак!) и потом говорит мне повелительным тоном: „Эй ты, хромоногий чорт, (а он сам хромой), закрой скорей двери". Я сделал вид, что не слышу; он подходит и хочет лезть в лицо; я, конечно, уж не мог сдержаться и сильно ударил его по руке; к счастию, приспели приходящие и с триумфом выгнали непрошенного гостя.

„Уж не знаю, за что я родился таким счастливым на свете (это не самохвальство—не думай пожалуйста), все делаю открытия по филологии. Но вместе с тем, я чувствую потребность внешних материалов, и посему ходил сегодня на толкучку, отчасти по поручению тети Нади,—купить Адель французско-русский словарь.

„Тетя и дядя! Я не знаю почему, но мне совестно всегда перед другими и тоже перед собой, что я трачу деньги на книги—будто цены деньгам не знаю. Нет, я хорошо знаю, что деньги приобретаются трудом, трудом большим, но видя книгу по филологии, я не могу удержаться, чтобы не купить ее.

„Я купил себе 4 книги, следующие: 1) „Sprache und Ohr (Akustisch-Physiologische und Patologische Studien von Dr. Oskar Wolf")[1], могущая мне служить громадным пособием к изучению фонетики (помнишь, тетя, я говорил тебе про звуки в вагоне и ты сказала еще, что Ларионов хорошо бы это понял). Книга состоит из 250 страниц самого мелкого шрифта, но вот беда:—ничего решительно не понимаю — самые технические выражения. Стоит 50 копеек (дешево).

2) „Индо-германе или сайване" А. Вельтмана (замечательный филолог)—очень интересная книга (не разрезанная даже), где описывается первоначальный язык наших представителей в Европе. 168 страниц громадного формата—и что она стоит? 25 копеек (а у Вольфа 1 р.50), совестно давать так мало.

3) „Очерк древнейшей истории прото-словен" (не сказано чье сочинение) изд. 1851 г. (не разрезанная), 134 страницы большого формата—25 копеек.

---

[1] „Язык и ухо. Акустико-физиологические и патологические студии, д-ра Оскара Вольфа".

4) „Deütsches Erklärendes Fremd wörterbuch von Johann Heyse“[1] очень хороший словарь с корнями слов, 950 страниц самого мелкого шрифта в два столбца большого формата—1 рубль. Материалы мои состоят теперь из восьми больших тетрадей: извлечения—из трех тетрадей.

„Об одном прошу Вас, мои миленькие,—если Вы увидите Софию Григорьевну, спросите ее, если можно, следующие грузинские слова: отец, мать, сын, дочь, брат, сестра, человек, женщина, земля, огонь, вода, солнце, луна, царь, князь, бог, дом, и также числительные от 1 до 10.

„Оленька обрадовала меня двумя грузинскими словами, а лакомо и сладко узнать еще с десяточек: так и текут слюнки...“

XXX

Мистер Ходжетц

„25 февраля 79 г.

„Милая Женя! Письмо это пишется тебе в веселом, лучше—приятном состоянии духа. Только два часа тому назад я приехал от милуши Ходжетца, вспотев и устав, — я просидел у него три часа.

„Начну с начала. В понедельник 19 числа я пошел к Любови Антоновне: к счастию, она меня не ждала на масленицу, а потому, конечно, я не поступил невежливо, не пойдя к ним тогда. У Любови Антоновны сидела сестра ее Мария Антоновна (как фамилия—не знаю)[2]. Опять как-то обидно выразились про тетю Надю: „Отчего ты мало растешь? Тебе нужно побольше есть, верно, у тети Нади голодно тебе?“ и для чего фраза эта сказана: я уверен, что Любовь Антоновна думает, что я больше люблю ее, чем тетю Надю и, пожалуй, даже тебя, милая тетя или дядя. Вчера, пришедши из гимназии, я, приготовив уроки, усердно занялся филологией и закончил описание туранской семьи языков (что впоследствии составит, надеюсь, отдельное сочинение) и начал разбирать семитическую семью.

„Сделал очень много открытий в продолжении недели—нашел корень для слова писать (от pente, санскр. panc—пять,

[1] „Немецкий толковый словарь иностранных слов, Иоганна Хеизе“.

[2] М. Л. Любощимская.

собственно прикладывание пальцами—при чем доказательство). Сегодня, усердно поработавши с 7 до 12 часов дня, в час я поехал к Ходжетцу. Он принял. Сперва был немного холоден: „Я отдал все ваши тетради г. Фортунатус; впрочем не я сам; я передал их meinem bestem Freünde Herr[1] Стороженко (замечательный филолог). Он был в восхищении от нескольких страниц вашего сочинения; ваша личность так заинтересовала его. что он сказал: „Может быть, молодой человек больше меня знает по этой части, но нужно дать его сочинение посмотреть или г. Фортунатус или же Буслаеву; но Буслаев очень закоснелый в своих убеждениях и рассорился со многими товарищами по случаю разности во мнениях; а Фортунатус—это, будто, первый филолог в России и первоклассный в Европе“... И они решили передать Фортунатусу, другу Стороженко, что и было сделано две недели тому назад. Ходжетц увидит сегодня Стороженко и напишет мне обо всем. Это утешительно... но что дальше... Я хотел итти: „Nein, bleiben sie aber, ich möchte mit sie etwa sprechen,“[2]—сказал Ходжетц. Я спросил его, не может ли он мне дать книжку какую-нибудь почитать. „О, ja!“—сказал он и начал показывать мне подряд все свои многочисленные книги—великолепные книги. Он сам много пишет, и последнее его сочинение (напечатанное) об исландском языке состоит из 3 томов, толщиной с мой словарь Георгиуса (латинский); тут мы стали с ним говорить, и говорить, и говорить, о том, о другом, одним словом, мы побывали во всех странах мира, сидя друг против друга.

„Он стал меня понимать и услышав одно из моих производств: „Ja, wirklich,—крикнул он,—ich, armer Kopf, habe an dies nicht gedacht! Das ist eine Idèe“[3]. В другой раз: „Max Müller weisst es nicht“[4] (он в ссоре с М. Мюллером теперь, бывши прежде его большим другом—все из-за мнений: М. Мюллер не простил его за маленькую критику). Он показывал мне около 10 грамматик разных германских языков, около 12 Библий на

---

1 Моему лучшему другу господину.

2 „Нет, погодите, я хотел бы с вами поговорить“.

3 „Ой, правда,—воскликнул он,—моя бедная головушка об этом не подумала. Это—идея“.

4 „Макс Мюллер этого не знает“.

разных языках, но покамест ничего не дал из них—они ему нужны для его сочинений; одним словом я очень многое у него видел (например, Шекспира 10 изданий сряду и т. д.). Я взял впрочем, у него две английские книги (одна по английскому языку, другая по шведскому). Далее, мы начали толковать с Ходжетцом о числах, месяцах и т. д.

„Слова в Апокалипсисе: „Я есмь альфа и омега“ (т.-е. α и Ω—начало и конец) Ходжетц толкует: „Я есмь любовь и мудрость“.—Вот что значит наука...

„Я сказал ему все свои воззрения на египетский язык. Он во многом не соглашался, но сказал, что я очень и очень много знаю“.

„По мнению Ходжетца, я создал новую теорию о языке.

„Видно, меня бог любит, видно судьба и вы, мои красавчики, меня бережете. Он два-три раза спрашивал, который мне год: „Nein, es kann nicht sein... Nur 15 jahre!“ [1] (Не думай, что я для похвалы себе написал это, но я разделяю свои чувства с самыми близкими мне существами).

„Милая Женя, вот чего добился твой брат, вот куда кинула судьба его; но в душе я хладнокровен, более хладнокровен чем снаружи; я судьбу и вас, тетя и дядя, благодарю за это—но я тут не при чем.

„Надеюсь, что через 4 недели мне можно будет вас расцеловать, вас обнять и разделить с вами мое счастие—ведь я мал, я молод и оказывается, что я кой-что сделал.

„Следовательно, я не тратил даром бумагу и время, когда отыскивал грузинские слова, когда рылся в „Иллюстрации“ за египетскими словами, которые привели меня к тому заключению, что Иосиф и его братья Библии суть ничто иное, как гиксос Египта—это семиты завоеватели, и Ходжетц сказал: „Es kann sein.[2] Он предупреждал меня, что говорит тогда только, когда вполне уверен в безошибочности своего мнения.

„И сколько раз я благодарен Наталии Васильевне Трескиной—она сказала мне про Ходжетца! Теперь мне нужно поработать, т.-е. поразобрать разные слова на разных языках, и мое сочинение совсем готово. Наш русский учитель обещал

[1] „Нет, не может быть! Только 15 лет“.

[2] „Это может быть“.

мне принести во вторник „Корнеслов русского языка—Шимкевича“.

Следующие затем письма Лели дышали все тем же счастием. Он прислал мне целый список названий растений на шведском языке, выписанных из шведского словаря, данного ему Ходжетцом.

„Это язык Линнея, замечательного шведского ученого“,—пояснял он мне, давно изучившей его биографию у Фигье[1].

„Вообще, ботаника только тогда интересна и не суха, когда она заключает сравнительное изучение названий растений и сравнительный взгляд на то или другое растение древних людей“, писал Леля... „Я сейчас не могу тебе выслать названия на исландском языке, а также венгерском и др.“. Он советывал мне собирать эти названия „собственно арийской семьи языков, т.-е. германские, кельтские, санскритские, в чем, конечно, всегда будет помогать ей брат. Надеюсь, что она не потеряла санскритских названий“... Я менее всего считала ботанику сухой наукой. Но делали ее увлекательной, по моему мнению, не эти „названия“, придуманные нашими праотцами, и не выводы, так поражавшие Лелю, например, что немецкое Rittersporrn—перевод шведского Riddarsporn, а само растение—чудо красоты, изящества, и те перелески, лужайки, лощины, берега степных речек, где их собираешь. Конечно, надо розыскать их прозвания, надо сорвать их, т.-е. лишить жизни, засушить и приклеить к гербариуму, но прелесть ботаники совсем не в этом! Рвать цветы стало мне даже казаться столь же жестоким, как и поэтические наслаждения охотников и рыболовов; даже чудные букеты потеряли в моих глазах прелесть: то была агония живых, чудных созданий. Но сушить себе голову над тем, какие прозвания этим цветам придумывали другие, чуждые народы—право, не стоило. Леля же теперь на все смотрел сквозь призму своей филологии.

„Извините меня за то, что я всегда пишу про филологию, уж я думаю—вам надоело само это слово“,—сознавал он сам, хотя это не мешало ему все-таки писать целый трактат по поводу того, что филология облагораживает историю, религию и литературу.

[1] „Les savants illustres“.

„Язык может сделать меня поэтом и отчасти сделал, это—язык перенес меня в отвлеченный мир, язык познакомил меня с мыслями человека; филологии вовсе не свойственна сухость, филология—это наша жизнь, жизнь древнего нашего предка Ария, жизнь и нас—идеалистов XIX века“.

„Что же открыла мне филология: мне теперь много и много ясно, много и много стало понятно; я проследил за древнейшею жизнью человека, и я часто переношусь в блаженные времена Адама, идеального ходжетцева человека, я переношусь мысленно за 6 тысяч лет до Р. Х., и все становится так ясно, что ни история ни религия не могли так ясно объяснить мне о сотворении мира и человека, а существование Адама и Евы неопровержимо, потому что я знаю, что они значат—рождатель и рождательница, муж и жена“.

„Ты любишь историю, Женя: скажу тебе еще одно мое наблюдение по римской истории. Кто был Romulus и Remus,—эти баснословные близнецы, вскормленные молоком волчицы у берегов Тибра и воспитанные простым пастухом? Ромул и Рем олицетворенное соединение небесной, божественной и земной, царской власти. Рем и Ромул, будучи сыновья Марса и Rea Silvia, дочери латинского царя Нумитора, они суть основатели города, основатели простой государственной жизни; имена этих двух близнецов суть не что иное, по моему мнению, как слова, означающие вообще человека (от корня ram—рождать, rome—Romo, египетское romi—то же самое, и Romulus это—то же, что библийский Адам, но как далеко время Ромула от сотворения мира, а посему, каким украшениям подверглось сказание древних ариев о первоначальном человеке! Второй римский царь—это Numa—устроитель законов, религии и т. д. Numa—это ни что иное, как индейское manu,—индейский законодатель, и слово numa есть слово однозначущее, будучи близко словам, как numen, nomen,—параллельно тому, что manu близко сербскому meno—имя. Итак, расказ об основании Рима ничто иное, как видоизменение древнего предания о рае и Адаме“.

Положим, отказаться от волчицы, вскормившей основателей Рима, казалось мне совсем неуместным. И с какой стати основание Рима может стать видоизменением легенды о легко-

мысленном поступке ветренной прародительницы нашей, красавицы Евы, на основании каких-то филологических соображений,—еще менее было мне понятно. Оставалось складывать подобные письма в ящик и ожидать свидания на Пасху, чтобы выяснить все эти мудреные открытия.

Постоянно возвращаясь к своей филологии, Леля все реже писал нам о своей гимназии и, вероятно, уходя от ее интересов, сам все менее и менее интересовался ею.

Так он писал:

„Думаю, что не нужно иметь много общего с товарищами, и я не буду с ними ни особенно дружиться, ни ссориться, как то было у Креймана. Буду ограничиваться внешними обхождениями—это будет гораздо умнее". Что, впрочем, не мешало ему сильно горевать о некоторых своих товарищах. Так с Салтыковым он перестал даже говорить.

„Салтыков не терпит более ничего, всякое слово о нравственности для него противно. Хин тоже. Он недели две не ходит в класс и говорят, что он уже заболел от вина. Как это ужасно слышать!

„Ах ты, моя миленькая тетенька и дядя, теперь я понимаю, что значит семейное начало—это благотворное добро. Ужасно слышать еще, когда говорят мальчики против своих родителей, бранят их и т. д."

Но в общем он был доволен своими товарищами, так же как и воспитателями и преподавателями. Подробно останавливаясь на вопросе об удалении одного из последних, он пишет:

„27 февраля, во вторник, мы, ученики 4 класса, 2 отделение, узнали, что преподаватель русского языка, этот славный человек—Василий Алексеевич Лебедев, наш старший учитель, классный наставник, почему-то покинул 4 гимназию. Василий Алексеевич этот, будучи нашим классным наставником, очень ограждал нас от всех придирок надзирателей, подслушивавших, доносивших, придиравшихся к нам; сколько мудрых советов он нам преподал, сколько полезных наставлений, высказанных в тоне отца, передал он нам—это был наш любимый человек, учитель, во всей гимназии; и вдруг он уходит!

„Конечно, нужно было чем-нибудь выразить сочувствие к этому лицу, нужно было чем-нибудь отблагодарить его отеческую к нам привязанность.

„Пойдемте к В. А. Лебедеву на квартиру, в будущее воскресение“,—крикнули все: но потом решили еще чем-нибудь отплатить за все Лебедеву; решили купить ему на общие классные деньги кубок—серебрянный; но я постарался разубедить их от этого: кубок—будучи, во-первых, дорог (около 150 р.), во-вторых, кубок, как подарок, приличествуя между равными лицами, между сотоварищами, сослуживцами, не приличествует быть даваем учениками учителю.

„Я убедил предложить В. А. Лебедеву какого-нибудь русского автора в роскошном переплете с вырезанными словами: „на память В. А. Лебедеву от признательных учеников“ и т. д. Хотя я по настоящему новичек, хотя и самый малый в классе, но, к моему удовольствию, совет мой был принят, и мы решили купить Белинского, все 12 томов; отдать их в переплет и поднести Лебедеву. Выбран был полномочный всего класса Хин, и ему поручено собирать деньги у класса и купить все. Нас всего 19 человек в классе, и вот каждый из нас даст сколько может, я завтра дам 2 рубля — нужно набрать около 40 рублей. Итак, теперь уж все решено, но это все величайший секрет от гимназического начальства и, вообще, от всей гимназии, во-первых, потому, что мы не знаем, почему В. А. вышел из гимназии, может быть, он вышел по случаю неприятностей, тогда подарок будет своего рода демонстрацией; во-вторых, не позволяется в гимназии иметь деньги. Меня это очень обрадовало потому именно, что я из этого мог заключить, что я имею хороших товарищей (не то что у Креймана), чувство благодарности, будучи в них так высоко развито, что они сами без всякого внешнего побуждения решились отблагодарить чем-бы то ни было своего учителя. А ведь чувство благодарности — есть чувство великое.

„Далее, я получил хорошие баллы: из латинского, у этого Кордасевича, который, я думал, будет помехой моего поступления в гимназию: 5, 3, 5; обе пятерки я получил за грамматику, причем ему очень понравилось именно то, что я начал с того, что сличил некоторое синтаксическое правило латинского с греческим и провел между ними параллель. Экстемпоралия греческие и латинские пишутся неимоверно плохо: например, из латинского было 3 единицы, 12 двоек, две тройки

и эти две 3—первому ученику и мне; опять повторяю, не думайте, что я этим хвалю себя или хочу оправдать—напротив.

„Теперь до свидания с вами осталось не много, очень даже мало; к счастию, всего 20 дней, и, если бог даст и вы, я выеду 24 марта, в день роспуска. Теперь о моих занятиях.

„Добрая красавица, в твоем хорошем письме ты мне пишешь, чтобы я не так усидчиво и много занимался, так как одна мораль без физики—это не годится. Но физическое развитие у меня к несчастию занимает $^5/_7$ всей недели; разве в гимназии можно усидчиво заниматься, то и дело—то гулять, то ходить—не разберешь. А то, что физика делает успехи в моем организме—вот неопровержимые доказательства: я очень вырос и голубая курточка мне уже не по росту, как это говорит сама тетя Надя, находящая, что я очень вырос. Далее, каждый вечер субботы до сна, часов в 10 возимся с Володей".

Но Лелю беспокоила судьба его тетрадей, отданных Фортунатову.

„Не знаю, как уже быть с моими тетрадями; это все дорогое для меня в руках некоторого Фортунатова, и до Ходжетца самого не доберешься, чтобы разузнать, по крайней мере, что да как.

„Пережду еще это воскресение (а то, пожалуй, наскучу Ходжетцу), а там, что бог даст; во всяком случае, тетрадям своим я не дам пропасть, а если долго ответа не будет от Фортунатова, я буду действовать самостоятельнее, попрошу его через Ходжетца возвратить тетради и с ними пойду лично к Буслаеву, спрятав всякий конфуз в карман, как говорит тетя Надя; тем более, что мне нужны тетради, ведь мне нужно работать, у меня теперь материалов набралось очень и очень много, а девать некуда—тетрадей-то, сущности-то и нет.

„Мундирчик у меня новый; хорошенький, хорошо сидит, черного цвета с блестящими пуговицами"...

К сожалению, должна сознаться, что в ответ на радостное письмо Лели, вызванное вторым свиданием с Ходжетцом, я, вероятно, опять ему послала свои нравоучения, потому что 4 марта он писал нам:

„Сегодня получил я все ваши письма, письма, за которые очень и очень благодарю вас, но твое письмо, милая Женя,

в конце бросило меня в краску. Я очень и очень интересуюсь знать, почему и чем именно не понравилось тебе выражение—„вот чего добился твой брат“. Странно... Не читала-ли ты на второй странице моего письма к дяде и тете то место, в котором я прошу вас не думать, что я себя хвалю тем, что пишу то, что мне всего ближе к сердцу, не выбирая выражений, не сочиняя фраз безукоризненных. Человек, милая Женя, должен любить себя, он должен весь предаться себе, иначе он не человек, в нем тогда нет ни самолюбия, ни честолюбия, когда он себя не любит. Но что значит любить себя? Это вовсе не значит любить себя так, чтобы пренебрегать любовию к другим; я должен себя обнадеживать тем, что я для чего-нибудь пишу, я должен быть уверен, что я не пишу понапрасну, и что уже я что-нибудь сделал, раз я занимаюсь филологией. Но раз сам Ходжетц сказал, что я создал новую науку—не имею ли я права похвалить себя, сказать себе: „вот чего ты добился“. Тетя же, дядя же, ты—Женя, Оленька, будучи самыми для меня близкими (после себя) существами, я делю с вами все мои чувства—чувства самые близкие и посему пишу, что вот, Женя, чего добился твой брат; отнюдь не подумай, что я имею в душе все то же самое. Я сознаю, что лишь $^{1}/_{1000}$ теперь у меня готова, и, сделав только $^{1000}/_{1000}$, я сделаю все“...

XXXI

Н. И. Стороженко и В. Ф. Миллер

11 марта 1879 г.

„Милые дядя и тетя. Многое, что мне вам написать, дорогие мои, многое и важное; все решилось, исхода не вижу,—и хорошо, и дурно“.

„Начну, конечно, с главного. Придя вчера к тете Наде, я нашел себе письмо от сына Ходжетца (24 лет), писавшего мне по поручению отца своего, что г. Стороженко будет меня ждать в 11 часов, 11-го числа, в это воскресение, и чтобы я зашел сперва к ним, чтобы вместе отправиться к Стороженко.

„В 10 часов я был у Ходжетца, в 11 вместе с Ходжетц-сыном—у Стороженко. Стороженко—профессор, читающий лите-

ратуру; Стороженко—замечательный литератор, очень много писавший. Я, кажется, никогда не видел человека более симпатичного. Он обласкал меня и начал говорить сперва про мое сочинение; он отдал его Миллеру. „Всеволод Федорович,—сказал он,—так отозвался после того, что прочел все ваши труды: „Николай Ильич!—Вы думаете, что это он сам писал? Никогда! Откуда это заимствовано—определить не могу, но 15-ти, даже 25-летний человек, уже кончивший курс, не напишет так; или же наш мнимый (какой мошенник!) филолог был под руководством какого-нибудь очень опытного человека, впрочем, кто бы это ни написал, но вот резолюция этого: значительный пробел насчет славянских языков и в некоторых местах уже слишком натянутые сравнения и сближения; кроме того, в 2-х местах автор приписывает собственной мысли недавно открытые сравнения и производства". „L'auteur semble deux fois découvrir l'Amérique",[1] прибавил Стороженко... Ну, не разорвало-ли это мне сердце?

„Николай Ильич прибавил: „Э, милый друг, что там ни говори, а я сейчас увижу, вы ли это написали?" И он начал гонять меня по славянским языкам, по персидскому, зендскому кельтскому, санскритскому... и пошел, пошел (сам он филолог, но, когда был молод, хотел заняться славянскими языками, чтобы читать про них в университете; впоследствии же, когда открылась литературная кафедра, он бросил языки); всякое свое мнение я сопровождал доказательством, и Николай Ильич сказал: „Я вот уж 40 лет, как вращаюсь среди ученого мира, знаю все проделки литераторов и др., а потому выслушайте меня: я знаю, что это вы сами написали, это очевидно; я отдал ваши тетради на рассмотрение Миллера, потому что Фортунатов слишком строго относится к филологии и за малейшую ошибку готов выругать человека; Миллер же известен более холодным характером; Миллер—первый санскритолог в России и черезвычайно щепетильный человек... Но берегитесь, милый друг, заикнуться о печатании ваших трудов; он спросит: „Чего-же вам у меня-то нужно,—ступайте печатайте!" А кроме того, вот вам мой добрый совет: не печатайте в журнале—все пропало, такая критика поднимется! Когда вы подрастете,

[1] „Автор точно дважды открывает Америку".

то через 4—5 лет вам покажется, что ваше сочинение иногда не совсем точно, не совсем полно—ведь вы умнее станете через 5 лет; а, если уж печатать, печатайте отдельной брошюркой и выставьте года ваши—это главное. Теперь поезжайте к Миллеру, он вас ждет—посмотрим, что скажет филолог".

„Мы с ним говорили около двух часов еще о многом, очень многом—и он оказался, во-первых, ученым, во-вторых, умным, в третьих, в высшей степени симпатичным. Говорит он ужасно скоро, но умно, осмысленно; он дал мне читать „Сравнительную мифологию" М. Мюллера, а подарил „О лингвистических категориях" Тулова (славный человек!)".

„Англичанин[1] отправился также со мной (ему надо было по соседству с Миллером зайти к профессору Ковалевскому).

„Мы приехали к дому Миллера и разошлись. Миллер имеет большой собственный дом, но 4 комнаты, которые я видел, буквально завалены книгами".

„Миллер очень красивый человек, лет 40; встретил меня в передней (я имел карточку Стороженко) с вопросом:

— Это тот молодой человек, который, кажется, посвятил себя изучению языков?

— Вы немного ошибаетесь,—сказал я,—я занимаюсь языками, но не посвятил себя им.

„Он повел меня в кабинет и начал:

— Милостивый государь. Я читал ваше (!) сочинение, но оно написано без малейшей теории (отчасти верно, так как я никогда не потел над языками, и только в последнем сочинении у меня появилась теория).

— То есть, в каком смысле теория?—спросил я.

— Вы много заимствовали откуда-то,—сказал он,—и смею вас уверить, что в этом сочинении ваших собственных мнений совсем нет... 15-летний юноша, еще 6 лет до совершеннолетия, не может так писать, как вы, один слог это может доказать; а ведь вы не свыше одаренное (не помню хорошенько, как он тут выразился) существо.

„Я ужасно вспыхнул:

—На каком это основании,—сказал я,—можете вы так думать. Вы заглазно, даже не познакомившись со мной, состав-

[1]Т. е. сын Ходжетца.

ляете уже обо мне мнение... Поговорите со мной и тогда сделайте заключение.

— Ну, —сказал Миллер,—один дух святой знает, как явилось все это на бумаге (он показал на тетрадь). Вы желаете, чтобы я с вами говорил?—Начинайте же с того—перечислите то, что вы читали из филологии.

„Я назвал Макса Мюллера, назвал Афанасьева, назвал Dumont, Masperot, Fick, Гильфердинга, Перевлесского, Буслаева и т. д.

— Но,—сказал я,—ни одного мнения не позволил я почерпнуть, ни одного из их мнений, кроме главных, общепринятых; а мои источники—это были словари и, вообще, всякая книга, в которой хоть два или три мне пригодных слова.

— Ну, молодой человек, вы начинаете меня интересовать. Позвольте мне спросить вас, какое вы имеете право критиковать мнение М. Мюллера, Боппа, Тайлора, и т. д. о словах manu и marta?

„Я прочел с чувством свое рассуждение.

— Ну, ни одного верного мнения у вас нет (слова Стороженко оправдались).—Эх! эх! на кой вам черт разбирать санскритские слова (видно, это его собственная специальность!), на кой вам шут записывать и писать? Это похвально, молодой человек, похвально, но смешно...

— Милостивый государь,—сказал я,—а вы зачем занимаетесь? Мне ни теплей, ни холодней знать, какой корень для слова marta или manu, но я изучаю жизнь, понятия древних людей; мне ни холодно, ни жарко—Адам есть ли семитическое или арийское слово, но понятие об Адаме—вот что интересно.

— Да вы, видно, философ,—сказал Миллер с усмешкой,—хи, хи, ха! Теперь слушайте: теория всюду нужна.

— Я с вами согласен,—ответил я.

— И так слушайте: бросьте все на время; возьмите санскритскую грамматику, сначала—выучите ее; возьмите зендскую грамматику, потом, далее, литовскую, готскую и, наконец, дойдите до других языков.

— Милостивый государь!—начал я,—я начинающий; я начал изучение языков с пяти персидских слов, найденных мною в грамматике Востокова, а теперь у меня одних санскритских

слов пять тысяч. Я обратился к г. Ходжетцу с просьбой наставить и научить меня,—а вы обходитесь со мной, как будто я получил право на одинаковую степень учености с вами.

— Так вы, видно, моим протеже хотите быть?—сказал Миллер, пощелкивая пальцем.

— Очень вас благодарю за то, что вы бы меня хотели взять под ваше покровительство, но есть пословица: Chacun pour soi et Dieu pour tous, [1] и, может быть, вы бы были затруднены тем, что я ваш протеже. Подобно необузданному коню, мчась до сих пор по обширной равнине филологии, я трудно могу быть обуздан. (Я говорил так, чтобы скорее отвязаться от несчастного протектора). Скажите мне одно: сочинение мое представляет ли научный интерес?

— Ваше сочинение,—продолжал Миллер,—фантастично, и вы проводите совсем новые мысли и теорию, которых свет не производил. Повторяйте мысли Мюллера, Боппа—вы не ошибетесь.

— Извините, Всеволод Федорович,—прервал я,—повторяй я чужие слова—это не интересно—ни читать, ни полезно для науки. Если же я провожу новые мысли—наука от этого обогатится.

— О, философ!—воскликнул Миллер,—позвольте узнать, в каком вы классе?

— В 4-м.

— И другие науки не страдают от вашего фантастического наблюдения над языками?

— Нисколько.

— А вот вам еще мой совет: киньте все к черту, возьмите латинскую и греческую грамматики, зубрите, зубрите, а тогда начинайте писать.

— Всеволод Федорович,—сказал я,—я не пришел к вам за этим советом; уж я давно знаю, что я должен зубрить и зубрить, что должен поступить в университет, не за этим пришел я к вам... повторите еще раз: мое сочинение представляет ли научный интерес?

— Ваше сочинение фантастично.

---

[1] Каждый за себя, а бог за всех.

— Очень благодарю вас за то, что вы были столь любезны, что просмотрели мои труды и потолковали со мной; благодарю за ваши советы.

— А вы, верно, уходить хотите? Постойте, постойте, вот вам нужно достать такую книгу (он вынул сочинение Шлейхера) и тогда пишите. (Это, в самом деле, великолепная книга, но, верно, дорогая).

„Я записал заглавие.

— А теперь, пока не кончите университета, ничего не затевайте писать...—И этот нахал осмелился взять мои тетради и швырнуть их на пол!!

„Я поднял их и сказал:

— Прощайте, Всеволод Федорович.

— Прощайте,—сказал он, и я вышел.

„Ай да русские ученые! думал я... Все обстоятельнее расскажу, когда приеду на Пасху. Не думайте, что меня наука разочаровала теперь, вовсе нет. Напротив, я еще усерднее буду всем заниматься. Ведь это ужасное нахальство бросить книгу под стол—он после этого невежа, все что хотите! Без всякого такта, без всего говорил Миллер, и кто его разберет, какой имели характер его слова. И в какое неловкое положение относительно Ходжетца и Стороженко поставила меня эта встреча и знакомство с Миллером. Стороженко не филолог, а меня обласкал, показал, что хорошо, что дурно, а Миллер забросал словами. Говорят, Миллер этот осрамил двух студентов публично, на лекциях окритиковав их сочинения, очень ему не понравившиеся.

„Неправда ли мое похождение с Миллером фантастичное?“

„Воскресение 18 марта 1879 г.

„У нас на этой неделе происходила так называемая пересадка, то есть общий вывод за учение с января по март и назначение первыми, вторыми, третьими учениками; я, наверное, буду или пятым или четвертым-третьим учеником (мне до этого дела очень мало); я отчасти рад тому, что у меня прихрамывал греческий, а отчасти и латинский, иначе, наверное, был бы вторым, если не первым учеником; если бы я хотел, я бы мог получить гораздо лучшие баллы, но, милые родители,—не хочу я быть выскочкой между товарищами. Я знаю—что я знаю; я

знаю, что перейду в 5-й класс знаю, что считаться буду хорошим учеником, и знаю, что товарищи не будут смотреть на меня, как на выскочку, не будут смотреть на меня, как на кандидата, потеющего и домогающегося места первого ученика (как то было у Креймана). Мне не холоднее, не теплее, из греческого 3 мне или 4; я знаю, что я знаю, более мне не нужно ничего, так как я имею то убеждение, что учусь древним языкам не для гимназии, как это все учатся, а собственно для себя".

XXXII

Пасха 1879 года

Еще до отъезда, в первое воскресение после афронта у Миллера, Леля отправился к Стороженко (18 марта).

„Он принял меня очень радушно и первым делом спросил:

— Ну, говорите, что с Миллером? Поговорив с ним на этой неделе, я заметил, что, должно быть, что-то такое вышло у вас с ним неладное.

„Я ему рассказал все как было: он всплеснул руками и сказал: „Так-то принимают юношество наши профессора!" Потом начал говорить мне—отнюдь не отчаиваться, что Миллер сам не знал, что хотел сказать, одним словом утешал меня. Я старался его уверить, что я мало даже обратил внимания на все то, что сказал Миллер, и он сказал: „Если так, молодой человек, то рассудим сами... Миллер, как ученый, нам годится. Советую же вам сходить после Пасхи к Миллеру, попросить его продиктовать, какие вам нужны книги для того, чтобы составить себе самое ясное понятие об языке. Мы вот с вами рассмотрим этот списочек и на лето я постараюсь снабдить вас нужными книгами из университетской библиотеки".—Какой любезный!... Мы начали рассматривать его библиотеку и великолепнейшие книги. Я очень долго говорил с ним, подробнее расскажу, когда приеду. Уж не стану писать, как он меня хвалил—все передам в Губаревке. Стороженко дал мне на неопределенный срок замечательный труд Julius Jola „Die Sprachwissenschaft". „Не выпускайте ее из рук,—сказал он,—пока не усвоите себе ее; держите ее хоть до августа, так как я приобрел ее собственно для вас". Вот любезность и желание до-

бра другим! Притом Стороженко, по отзыву Ходжетца-сына, очень интересный человек во всех отношениях: говорите с ним о театре—он театрал, о литературе—он литератор, о политике—он политик, о филологии—он филолог, историк; говорите обо всем—он все. Мне бы очень хотелось говорить еще о большем, но скоро увидимся, осталось всего 139—138 часов до отъезда. Одним словом, Стороженко мне много сделал. Он говорит, что хорошо, что я познакомился с ним, „отчасти потому, что,—говорит он—в Москве, например, есть одно чудовище—профессор Петров, говорящий на 100-120 языках. Если бы он увидел мое сочинение, он бы во всем похвалил меня и, отвергая всякую систему, не нашел бы слабой стороны моих записок".

„У нас зашла речь о новом учителе—Яковлеве (знакомый Стороженко); он сказал, что Яковлев этот знает грамматически 15 языков и говорит на 8 языках, что он очень умный, ученый и в высшей степени способный человек.

„Например, Стороженко в молодости давал уроки славянских языков и Яковлев взял у него 4 урока польского языка и более не приходил. Стороженко продолжает: „Я справляюсь у Яковлева, что он не приходит на 5-й урок (Стороженко, как учителю, это было неприятно, ибо лишается урока), а он уверяет, что уже умеет говорить". Потом мы коснулись других учителей гимназии и предметов гимназического курса, и, дойдя до латинского и греческого языков, он начал: „Вообще, преподавание древних языков у нас в России бестолково: все мы смотрим на эти языки, как на какую-то тайну, все берутся за них с предвзятой мыслью, что они трудны в высшей степени, что они поглощают все способности мальчика". (Помнишь, мы слышали в вагоне вечером про классическое воспитание, тетя, а именно рассуждение какой-то барыни).

„Если бы мы,—продолжал Стороженко,—изучали латинский и греческий языки так же, как изучаем французский и немецкий, было бы гораздо лучше и умнее, было бы доступнее и полезнее. Возьмите Германию, как там учатся великолепно, никому не трудно, никому не тягостно, и к греческому и латинскому присоединяется еще еврейский язык. (Когда я был маленьким, учитель говорил мне: не фантазируйте (то-есть, не

сравнивайте с другими в этом случае) над языком; учитесь что задано, з у б р и т е (!) что нужно. И для меня уроки латинского и греческого казались самыми скучными".

„Я испытываю то же самое. Я смотрю на классические языки, как, вообще, на все языки,—а учителя смотрят иначе (я и плох); я смотрю на алгебру так же, как учителя (я и хорош). А глядеть одинаковыми глазами на греческий и латинский языки, столь интересные, одинаковыми глазами с учителями, этого я не могу и, как только я стану зубрить (!), как советует, например, Кремер, мне становится противной столь интересная греческая грамматика.

„Если вы, милые родители, желаете, я получу на будущую пересадку 4 из греческого, но что толку-то. Признаюсь, что мне это очень легко..."

Леля писал об этой четверке потому, что перед роспуском учеников на пасхальные каникулы происходила пересадка, т.-е. общий вывод за учение с января по март, и в древних языках он получил тройку.

Так как дядя с тетей были совершенно с ним согласны и вовсе не гнали его быть первым учеником, то и оправдания его даже были излишни. Важно было, что после стольких перерывов, Леля, наконец, был доволен своей гимназией, преподавателем, учителями и, в особенности, учениками-товарищами.

Поэтому и настроение его, когда он на страстной приехал домой, было иное, нежели в прошлые годы,—веселое, довольное. И можно себе представить, с каким интересом и вниманием мы выслушивали его рассказы о знакомстве с профессорами. Стороженко являлся нашим идеалом, а Миллер...

Пасха в этот год была ранняя, в самую распутицу. Но это не мешало нам с большими приключениями пробираться в Вязовку с вечера к заутрене и возвращаться частью пешком, частью в дрожках, после ранней обедни. Солнце уже всходило и „играло", то есть светилось как-то необыкновенно, уверяли все, утверждая, что так играет солнце только в пасхальное утро. „Для тех, кто спит по утрам",—пробовала я охладить пыл Марии Дмитриевны, тоже тащившейся с нами. „Играло" ли солнце—не знаю, но утро было восхитительное. В оврагах шумела вода, вымокшие поля чернели, лед по дороге прова-

ливался. Везде пробивалась травка. Темный лес зацветал. Ольхи и ветлы уже были покрыты цветущими сережками, а в небесах, бледно голубых, но бесконечных, звенели жаворонки.

Мы даже не разговлялись, потому что было 5 часов и в доме спали. Но тем с большим удовольствием вспоминали мы всегда это утро за пасхальным столом, когда тетя в 9 часов вышла к нам христосоваться и пить кофе с пасхой и куличем. А потом начались поздравления всего двора, раздача кумачевых рубашек и ситцевых платков взрослым, красных деревянных яиц со сластями—детям. Уже часа в 2 приехал из Вязовки причт служить молебен, и явился с визитом—парадный, подкрахмаленный сосед М. Леля успел меня запереть в башню с Кити, а сам вышел его занимать. Визит был, к счастью, короткий, но беспокойный, потому что Огонек нещадно ржал у крыльца и, еле сдерживаемый кучером, выбивал передними ногами целые ямы.

М. попросил у дяди сдать ему какой-то покос в лесу, на что дядя был согласен. Марья Дмитриевна после того весь день многозначительно качала головой, и особенно гримасничала в сторону Кити, которая заговаривала о том, будто по закону и в 16 лет нельзя выходить замуж, и ни один священник не станет венчать. Заговаривала она нарочно, чтобы сердить старушку, которую она подозревала в намерении содействовать сыну, с которым она в последнее время стала в лучших отношениях, потому что теперь дядя был им недоволен, и бедный упрявляющий уже подыскивал себе другое место.

Как ни было грязно по дорогам и в полях, но по полянам в парке уже становилось сухо. Везде показывались желтые лютики, дымки, пострелы, баранчики, и мы с Лелей особенно любили спускаться в Дарьял, крутые склоны которого сплошь были покрыты лиловой дымкой. Усевшись на длинную ольху, вывороченную еще осенней бурей, Леля начинал нам декламировать из Гомера, по-гречески, наизусть. Мы с Оленькой слушали его очень внимательно, но, если он слишком увлекался и затягивал дело, Оленька перебивала его каким-либо из своих французских восклицаний, которые должны были положить конец совсем не увлекательному для нас времяпрепровождению.

Собирание сморчков и шампиньонов, которых было уже пропасть в парке, являлось делом более полезным и увлекательным.

Единственное облако, тогда омрачавшее нашу мирную жизнь было опять нездоровье дяди.

Совершенно неожиданно, в то время, когда я вела его на страстной в кабинет, он стал на меня склоняться. Лакей Сидор подхватил его и с трудом довел до зеленого дивана в кабинете. Дядя не мог уже владеть левой рукой и ногой. Вызванный доктор определил нервный удар; Леля был в отчаянии, не хотел ехать в Москву, чтобы, не отходя, ухаживать за дядей. Но удар был очень легок, и дядя быстро поправился, чувствовал себя даже совсем хорошо, хотя ходить не мог, но так как ушибленная нога его все еще не поправлялась, то объяснялось это еще и его первоначальной болезнью, то есть, ушибом ноги. Так что, когда прошла святая, Леля, уже успокоенный, стал собираться в Москву и уезжал с радостным нетерпением свидеться с своими профессорами и познакомиться еще с новыми.

XXXIII

Странная встреча

Первые же письма Лели из Москвы[1] были отчаянные: „Ах, душеньки мои, как нехорошо, далеко от вас, далеко от Губаревки! Еще не доехал я до Москвы, и уже ужасные неприятности!..“

И Леля начинал с подробного описания своей дороги.

Сначала все шло хорошо. Провожавший его до Курдюма приказчик Невский, с которым он всю дорогу толковал о бухарском языке, усадил его в некурящий вагон 3-го класса. Леля ехавший в Москву первый раз один и в 3-м классе, находил, что отныне он иначе и не будет ездить, так как ехать было отлично. В вагоне было опрятно, не тесно. Спалось прекрасно. Все разговоры публики вертелись на впечатлениях, вызванных последним покушением 2 апреля, при чем лица становились ожесточенными; казалось, были готовы разорвать Соловьева.

[1] От 8—11 апреля 1879 г.

В Козлове в вагон вошло несколько турок, и Леле доставило громадное удовольствие говорить с турецким офицером по турецки и по арабски. Оказалось, что какие-то турецкие купцы из ненависти (!), пользуясь его незнанием русского языка, направляли его в Одессу через Петербург и Варшаву. Леле удалось ему разъяснить, как сократить маршрут, и уже из Ряжска повернуть на Киев.

Подъезжали к Москве, как вдруг на ст. Фаустово в вагон вошли двое молодых людей и сели против Лели на свободной скамейке. Один—белокурый с длинными волосами, другой—кудрявый брюнет; вид студентов: у обоих связки тетрадей и польская газета, которую они принялись читать, тихо разговаривая между собой. Но вдруг, недалеко от ст. Перово белокурый обратился с вопросом к Леле:

— А вы в Москву?

— Да.

— Вы в 4-ой гимназии?—продолжал он, читая на моем кепи М. 4 Г.

— Да,

— А в каком классе?

— В 4-м.

— Хорошо у вас учат?

— Да.

— А вы с 1-го класса в гимназии?

— Нет. Я поступил в этом году в январе.[1]

Белокурый и черный встрепенулись.

— Позвольте, — сказал последний, — вы прежде воспитывались в пансионе Креймана?

— Да.

— Ваша фамилия Шахматов? И ваша статья о языках была под анонимом помещена в этом году в одном польском журнале?

— Моя статья?..

— Да это нам и нужно!..—воскликнули молодые люди,—пойдем скорее, известим Казимира Игнатьича!

И, хотя поезд был на полуходу, подъезжая к ст. Перово, они выскочили из вагона и устремились в вагон 2-го класса,

[1] Могу себе представить, как надувались у Лели губы при таком допросе!

где верно сидел Казимир Игнатьевичь, не сам ли Прогульбицкий? Все у меня внутри замерло".

Леля вспомнил, как Прогульбицкий, отец его крейманского товарища, год тому назад, упорно выпрашивал у него его тетради с теоремой о звуках; как, не желая их продать ему „даже за 10 рублей", он дал их на подержание, разрешая ему и выписывать из них, что ему заблагорассудится... и не получил этих тетрадей обратно.

Вспомнил, что К. тогда советовал ему совершенно забыть эти тетради, только, чтобы не иметь дела с Прогульбицким. Теперь эта странная встреча! Как-будто его искали, выследили, не зная даже его в лицо. Леле вдруг вспоминалась драма, много нашумевшая тогда: загадочное убийство юноши в Мамонтовской гостинице. И, — не в силах ожидать возвращения молодых людей, Леля схватил свой небольшой багаж и спешно прошел в соседний вагон, где и просидел до самой Москвы.

В Москве он благополучно доехал до Бронной.

„Уютно, хорошо, чай, самовар, распаковка гостинцев,— писал он,—но Прогульбицкий все отравил!.. Мне страшно. Ведь, мне еще нет 15 лет. Тяжело, тяжело... и для чего я вас оставил?!"

Нервное состояние подсказывало ему всякие ужасы: его тревожило здоровье дяди, то-есть, нервный удар, за которым мог последовать и другой. Ему казалось, что тетя с дядей им недовольны, за что-то (!) сердятся на него и он горько плакал, „заливался слезами", вспоминая свое прощание с нами в Губаревке. Опять начиналась у него эта щемящая сердце тоска, опять он готов прервать учение, сорваться с своей школьной скамьи, чтобы оставаться дома, в семье. Но нет! Теперь „мне было бы стыдно перед самим собою". „Около 7—8 тысяч воспитанников разных учебных заведений в таком же положении. Чувства любви, привязанности, лени... должны уступить чувству долга. Неужели же я не имею достаточно твердого характера, чтобы поступать так же, как они, т.-е., не проситься домой".

„Я мужчина, я русский, и никакой Прогульбицкий, никакой Казимир Игнатьевич ничего мне сделать не может!"—подбодрял он себя и отгонял свои опасения. Но тревога его еще не

кончилась. Когда он, недолго спустя, уже весело возвращался в субботу к тете Наде из гимназии, весело представлял себе, как он на другой день пойдет к Миллеру и Стороженко, к тете Любе и к Трескиным, он вдруг был изумлен, когда тетя Надя передала ему письмо, только что полученное утром 14 апреля с почты. Адрес был написан безграмотно: „В Москву. Его благородию Александру Шахматову, на Польшой Пронной, мебл. комн. Андреева, № 20 или 17, средний дом“.

Письмо было написано тремя различными почерками и подписано Ипатом Ипатовичем Ильёвицем, а в скобках — Прогульбицкий. Оно начиналось словами: „Узнав о местопребывании вашем в Москве“... Значит его разыскивали? Далее, шло сообщение от имени Прогульбицкого, что весной была напечатана в одной польской газете анонимная статья его, Лели, взятая из его тетради, и „статья эта произвела фурор в кругу варшавских ученых“. Гонорар за эту статью, 180 рублей, он, Прогульбицкий, желает ему передать, но не давал своего адреса, а назначал ему свидание на завтрашний день, воскресенье, на Сербском подворьи, при чем стращал его неприятностью, если он на это свидание не придет, подчеркивая, что вовсе не шутит, а желает его видеть, чтобы с ним познакомиться и представить варшавским ученым, приехавшим познакомиться с ним. Рекомендовалось захватить, если есть еще какое-нибудь из сочинений, и, в особенности, никому ничего не говорить.

„Варшавские ученые приехали знакомиться со мной! Ведь это немыслимо, это глупо! И он ставит себя посредником между мной и мнимыми варшавскими учеными!—возмущался Леля.—Воображаю, как он получил 180 рублей за мое сочинение! Это не может быть, тем более, что то сочинение вовсе не было так хорошо, чтобы вдруг произвести фурор в кругу варшавских ученых. Просто думает, что я прельщусь на эти рублики. Вот ошибся в расчете, гадость такая!“—Далее автор письма, приглашая на свидание в Сербское подворье и затем к себе, прельщал его: „Мы будем говорить с вами об идеальном научном мире, и о мире, нас окружающем... Надеюсь, что вы изменили ваши мнения о жизни, которые вы мне высказали в марте 1878 года“.

Леля еще более взволновался. Он никогда ему не „высказывал“ своих мнений, потому что никогда его даже не видел, но, когда однажды, во время переписки по поводу покупки его тетрадей, он получил записку Прогульбицкого со словами: „Я не ищу принципа повиновения, я не ищу ни начала, ни власти и т. д.“, Леля ответил ему: „Я ищу принцип повиновения, я ищу семейства и общество, где нигилизм, социализм, наконец индиферентизм не пустили еще отрасли и отпрыски своего пагубного учения“...—„И я также был глуп в марте месяце, — продолжал Леля в своем следующем письме,[1]—излагать свои мнения о жизни, свои воззрения на ряду с его воззрениями, дать свои тетради, вообще, связаться с незнакомцем, неизвестным! Вот моя ошибка, и не будь она, не было бы этого несчастного письма... Заискивать в мальчике лестью гнуснейшей, вроде того, что варшавские ученые съехались смотреть на меня! Что мне делать? Как мне относиться к этому?“—допрашивал Леля, проливая горячие слезы от сознанья своей ошибки и бессилья в ней разобраться, понять, почему он мог обратить их внимание, ученик 4-го класса, „мальчишка 14 лет“.

Чем более он перечитывал это несчастное письмо, тем более оно казалось ему загадочным: и троякое различие почерков и беспрестанное перечеркивание, и недописанный адрес „Варшава у....“, и троякая подпись фамилии Ильёвица, стращание и пр. „Вообще, если не ошибаюсь, у меня очень расстроены нервы. Вы, мои драгоценнейшие существа, беспрестанно мелькаете перед моими глазами. Ах! если бы не существовал Ильёвиц и пр. Тетя! у меня льются слезы, слезы горячие, и я целую бумагу, которая в среду вас увидит“.

Конечно, Леля довел себя до нервного расстройства.

„Ну, к чему так изводить себя?“—ворчала я, когда эти письма дошли до нас,—ну что могут с ним сделать? Я бы непременно еще в Перове выяснила вопрос, а так как лучший способ защиты самому нападать, еще сама тогда же бы напала: как-де вы смеете печатать мое сочинение? Посмели бы мне после того назначать свидания в подворьях! Нет, я не могла и не хотела сочувствовать этими слезам „14-летнего мальчишечки“.

[1] От 17 апреля.

Тетя с дядей отнеслись к волнениям Лели более сердечно. Была немедленно послана телеграмма и целый ряд утешительных писем, хотя тетя тоже совсем не одобряла бегства Лели.

Счастье большое, что Леля переживал эти волнения у Михалевских, принявших в нем живейшее участие.

„Душеньки мои, красавчики,—писал Леля все в тех же бесконечно длинных письмах—я не трушу, право не трушу, я мужаюсь, но нервы мои как-то не зависят от меня в этом случае. У меня ум здоров, он работает, и сегодня утром я написал один пассаж, чуть ли не лучший из моих сочинений по содержанию о природе согласных звуков“.

Кроме того он написал еще 14-ую главу нового сочинения о фонетике, сложение и вычитание гласных, мнение Боппа о звуках, неверность этого мнения и снова, как выразился Миллер, произвел теорию, которую свет не производил: основные звуки человеческого языка считаются: а, и, у; а по мнению Лели; а, и, й. Но и отвлечение филологией не помогло; „Мне все вспоминаются отчаянные крики одного ребенка, которого я видел в вагоне, ехав сюда: ребенка 3-х лет, который лишился матери, и он, будто понимая эту потерю, свешивался на шею няни и отчаянно, нервно кричал: маама, маама!, а я кричу—теетя, дяядя! Ведь вы так далеко от меня!“

Как нарочно, наши письма к нему опоздали почему-то, и это также изводило его. Ему казалось даже, что теперь разлука с семьей ему еще тяжелее, чем у Креймана, „так как я стал уже побольше: притом увеличась физически, моя духовная к вам любовь тоже увеличилась“.

Разбираясь в вопросе, почему другие, „мне подобные существа“ не так мучаются в разлуке со своими родителями и семействами, он утверждал: „Я уверен, что никто из них не любит так свое семейство, как я. Только под кровлей родного дома я могу проводить спокойно время“... И далее: „Я, вообще, люблю всякое семейство, люблю эту семейную, блаженную гармонию! Я уважаю и обожаю семейные начала, на которых зиждется семья. Отчего я так любил ходить к Трескиным? Они мне не родня, ни братья, ни кумовья, но дух трескинского дома, гармония его построения, уютные вечера—

вот что прельщало меня. А как же после этого не любить вас, мою семью дорогую, а ты, красавица, еще спросила на Пасхе, отчего я люблю тебя?! Потому у меня и неуживчивый характер. Никакая гимназия, никакое училище не могут быть для меня уютны“...

Расстройство нервов у Лели дошло до того, что, когда милые товарищи его в гимназии заговорили при нем „о людских гадостях“, вопрос всегда доводивший его до дурноты, теперь он упал в обморок, „что меня очень и очень пристыдило и ужасно осрамило“. Не менее пристыдило его при Михалевских его „смех и плач ни с того, ни с сего, точно бабья истерика, а, главное, ничем не могу удержаться, этого со мной раньше никогда не бывало“.[1]

XXXIV

Заграничная статья

„22 апреля 1879 г. Воскресение.

„Милые мои родные! Все я переживаю интересные минуты своей жизни и сегодня я провел такой день, который кой-что порешил в моей жизни, так как я был у Стороженко и Миллера и, кроме того, что многое от них узнал, услышал я про один факт, составляющий, может быть, продолжение моей печальной истории прошлых дней. Но начну с начала.

„В среду я пошел в гимназию, которая, конечно, живо рассеяла меня и вытолкнула все мои мысли о нигилизме, социализме и т. д. Уроки идут хорошо, т.-е. как следует. Из греческого—3, французского—5, закон божий—4, история—4, география—4 и из русского сочинения—5+. Сочинение было продолжением разбора„ Размышления по случаю грома“ и было также полно объяснений, восклицаний поэта: но что меня удивило—это то, что за 5+стояло 6+и далее (откуда все это?). Меня это очень удивило, и я спросил Сергея Ивановича (учителя), к чему это он написал?

„Не стану писать ответа этого Яковлева, но он заставил меня покраснеть (знаешь, так хвалил), так вот и неделя вся пролетела; особенных случаев не было, но за многими из наших

[1] Письмо от 17 апреля.

гимназистов следит будто тайная полиция, причем двое из товарищей моих сказали: „Эх, как бы Т. не попал, тогда и нам беда!..“

„Вот, прихожу я в субботу и получаю давно желанное ваше письмецо, получаю отпечаток вашей мысли по случаю моего письма от 8 апреля.

„Суббота прошла быстро, уроки приготовил, о фонетике пописал и дождался, наконец, $10^1/_2$ часов утра воскресенья, когда я пошел к Николаю Ильичу. Ты, милая тетя, пишешь, чтобы я ему сказал про мою историю, но извини, я этого не сделал, полагая, что, во-первых, слишком мало знаю воззрения и мысли Николая Ильича, а, во-вторых, что я, интересный, может быть, для него в отношении науки, может быть, не имею никакого интереса в отношении чего-нибудь другого. А потому, мне кажется, что твои и дядины наставления в отношении жизни для меня гораздо полезней Стороженкиных, и мне было бы глупо проверять твои, тетины или дядины слова у совершенно чужого человека, которого соединяет со мною одна лишь наука.

„Итак, я пошел к Стороженко. Славный человек—все тот же любезный, тот же интересный, тот же умный, ученый Стороженко, так любезно принимавший меня до Пасхи. Сначала мы заговорили про гимназию:

— Я справлялся, — говорит он, — у учителей, вы — пятый ученик?

— Да.

— И что же, дается вам математика?

— Да, у меня было 4 за пересадку.

— Θαυμάζω θαυμάσιον—сказал Стороженко по-гречески (фай, фай, все похвала: слова эти значат: „удивляюсь удивительному“),—а я думал сначала, что ваше занятие языками может вам повредить в отношении других предметов, но, напротив, все учителя, которых я спрашивал, самого о вас лестного мнения, а Сергей Иванович (Яковлев), думавший, что я вас не знаю, обещал даже привести вас ко мне; он от вас в восхищении. Не краснейте, молодой человек, чего же,—тем лучше, не провалитесь на экзамене.

„Мы с ним поговорили немного о языках и, оказалось, я совлек его с пути истины.

„Недавно я видел Миллера, и сказал он мне про вашу, по его словам, оригинальную теорию о звуках, о которой вы мне уже сообщали и которой я стал сторонником; Миллер чуть ли не до убийства дошел, даже бранится: „это глупо! бестолково!“—Мне так хотелось вас призвать, пособить против ярого поборника своих идей. Неприятны такие люди в разговоре...

„После этого я опять показал ему два новейшие мои исследования на бумаге, и, наконец, он спрашивает:

— Вы знаете, что за многими из гимназистов IV гимназии следит тайная полиция и что сделано в пятницу вечером два ареста?

„Так у нас зашел разговор и насчет слова нигилизм; он сообщил мне следующее: что нигилистами называли в средние века субъектов, отрицавших существование духа святого: в русской же литературе оно явилось лет 20—30 тому назад, впервые употребленное Тургеневым неправильно для обозначения какой-то личности в романе „Дети и отцы“[1]. Особенного ничего ни он, ни я не говорили, но он сказал, чтобы я шел к Миллеру, он будто ждет меня третье воскресенье и будто желает сообщить мне кой-что о моем сочинении. Я пошел (все пешком), было, к Миллеру, но пошел дождик и я зашел домой позавтракать.

„Позавтракавши, я отправился к буйному Миллеру (ужасно далеко—дальше IV гимназии, но по тому же направлению).

„Прихожу, Миллера дома нет. „Через $^1/_4$ часа придет“,— сказала горничная, и я вошел в зал. На столе лежали журналы, газеты, и я рылся, нет ли номера польского журнала, где будто моя статья. Видел я там новый филологический журнал довольно интересный, но, видно, мало материала, будто нечего писать: вдруг разбираются фамильные названия, и как бестолково.

„Через 20 минут раздается хозяйский звонок, и горничная бежит отпирать двери, говоря:

— Этот барин звонит.

„Входит Миллер.

— Ах, вы меня дожидаетесь?—спросил он: Сейчас, сейчас.

---

[1] „Отцы и Дети“.

Через 2 минуты я пошел с ним в кабинет, и он сел так близко против меня, что, кажется, вот-вот укусит. Сначала Миллер начал смутно:

— Я, знаете, когда вы в прошлый раз приходили ко мне, не обратил должного внимания на ваше сочинение и принял вас не очень хорошо, но я был тогда семейно огорчен. Все же тогда же я приказал в своей конторе списать некоторые места вашего сочинения, чтобы на досуге поразобрать их. Я тогда, сознаюсь, поторопился в высказывании мнения насчет вашего сочинения, но сохранил до сих пор то же об нем мнение.

— Что же, что оно фантастично?

— Нет, не в этом собственно сила, а в том, что вы слишком много вами заимствованного выдаете за свое; кроме этого, ваше сочинение очень хорошо по содержанию, право хорошо, но иногда отсутствие теории, неправильное высказывание того, другого мнения вашего. Вот что вредит гармонии всего, общей гармонии ваших мнений. Например: вы иногда говорите, что мнение Мюллера неверно — глядь, далее, будто желая поправиться, вы говорите: впрочем, и то и другое мнение верно.

— Я что-то не помню, где это я так себе противоречил.

— Где? Да вот на 21 странице (уже наизусть знает!), вы говорите, что manu не значит мыслитель, но рождатель, а далее вы утверждаете, что manu может значить тоже и мыслитель и рождатель.

Я объяснялся 15 минут сряду, он спорил, горячился, бросил две спички под стол, но, наконец, сказал:

— Да, я понял, но вы плохо объяснялись в сочинении вашем.

Мы еще кой-о-чем говорили про мое сочинение, и я услышал похвалу со стороны Миллера.

— Всеволод Федорович, — сказал я, — можете ли вы мне дать списочек книг, необходимых мне для чтения и для понимания филологии?

— В этом я могу затрудниться, — сказал Миллер, — так как у нас с вами различные взгляды, но предлагаю вам следующее: филология разделяется на учение об элементах, иначе фонетика, учение о формах языка, образующих слова, учение о существующих в языке словах и, наконец, филология — философия,

т.-е. психология, история, номология и т.-д. Возьмем первый отдел; вы имеете, кажется, некоторое понятие о звуке; я даже знаю, что вы имеете свою собственную насчет этого теорию, при чем очень смешную и оригинальную теорию, которая может показаться заманчивой умам не подготовленным или не знающим.

— Отчего же она смешная, что в ней странного? спросил я.

— Ха, ха, ха! Что в ней странного? Какая у вас основная мысль?

— i + ü = a.

— Вот она самая и глупость! Я в Австралии, что ли, или в диких лесах Америки, где птицы поют и щебечут: вдруг ü + i = a. Неужели какой-нибудь Митяй или Миняй Гоголя, когда он произносил слова б а б а, сознавал, что сочетание звуков б а б а б ü i б ü i? Помилуйте, это не логично складывать и вычитать звуки между собою; вы воздвигаете в Пантеоне нашего знания новый храм, новый источник прений и пересудов, ибо вот уже Николай Ильич и другой еще мой знакомый отстаивали эту вашу теорию (вот лестно и приятно слышать!). Но мне интересно знать, что побудило вас признать звук a = ü + i?

— Всеволод Федорович, — заметил я, — когда мы говорим, мы не складываем, не вычитаем звуков видимо, но сами не сознавая этого мы делаем это вычитание или сложение. Возьмем звук i; он произносится (и т. д. тем-то и тем-то), возьмем звук ü, он произносится (и т. д. тем-то и тем-то), возьмем звук *a*; для произношения его наш язык делает те же движения, наш звук тот же timbre, как при произношении i и ü вместе, — а из этого *a* = i + ü.

„Миллер слушал.

— Что же у вас есть дальнейшие следствия этого основного вашего предположения?

Я прочел ему случившийся у меня черняк двух, трех теорем о звуках.

„Миллер слушал.

„Когда я кончил, он сказал:

— Одолжите мне пожалуйста эту бумажку — я покажу ее Фортунатову (замечательный филолог), а, пожалуй, и Буслаеву.

„Я дал ему; вдруг Миллер покраснел, он вспыхнул:

— Помилуйте, как это вы выдаете эту теорию за ваше мнение, неужели вы настолько бесчестны, чтобы уверять меня и себя, что вы написали это? Вы говорите, что $a = 5$, ü = 3, i=2, вы это доказываете научно, но точно так же, как доказал уже в этом году один господин?

— Как его фамилия?

— Фамилию его я не знаю, но в одном берлинском литературном журнале была выписана, как замечательное проявление в науке, из одного польского журнала, издаваемого в Кракове, выписка о теории звуков. Я выписал из этого журнал следующее.

„И он начал читать что-то по польски, беспрестано повторяя zwuki, oboiudo—и т. д.

„Ты вообрази себе, куда ушла моя душа от волнения... я насилу сидел: это моя, думал я, статья! Я же испортил ею все, она повредила мне! Нет,—думал я,—я сейчас расскажу все Миллеру.

„Это непростительно. Никто не будет сомневаться в моей глупости и бесчестности, если я не скажу сейчас же всего! Миллер читал тихо и плавно, видимо любовался польским слогом.

— Отлично написано. Вы поняли?

— Нет, — отвечал я, встрепенувшись, я не понимаю по польски.

„Он перевел мне по-русски следующее:

„Прежде чем доказывать, что слово люди родственно санскритскому lud, нужно себе уяснить почему *ю*, т.-е. в этом случае ü + i = a и т. д.

„Я великолепно помню, что я писал то же в тетради, данной Прогульбицкому, почти что слово в слово.

„Это так меня волнует, что просто ужас, но я ничего не сказал, предварительно желая получить ответ от вас на это: нужно говорить или нет.

„Тут Миллер даже меня назвал бесстыдником; это срамно и т. д. Я отбояривался и сказал: может быть, автор этой статьи у меня списал, но не я у него и успел уверить, насколько мне кажется, Миллера, что мнение это мною не заимствовано.

„Мы помирились, вдались снова в рассуждения, и Миллер пригласил меня в воскресение посмотреть, если я ему не верю, напечатанную немецкую газету.

„Миллер сказал, что он как-то стал меня понимать, а также, чтоб я непременно приходил в будущее воскресение.

„Я напишу все подробно в среду и вы получите письмо 29-го, в воскресение. А теперь, неужели не придавать этому значения?

„Миллер притом сказал мне, что виделся с Сергеем Ивановичем, Апполинарием Николаевичем и т. д. учителями, и что все они меня расписывают в похвалу.

„Все это странно и смешно!

„Нет, спина Гагурихи[1] лучше... и в Губаревке, только в Губаревке хорошо,— тетенька, как мне опять неприятно. Когда это кончится все!!..

„Пишите мне пожалуйста, миленькие. А завтра гимназия, Кордасевич! Прощайте! Как быть?

„Я изливаюсь тете Наде, будьте спокойны.

„Болезнь прошла совсем.

„Ах, Прогульбицкий! Досада!"

Затем шли поцелуи, поклоны, а в приписке стояло:

„Как вы посмотрите на все, но только не гневайтесь на меня.

Замечу, что визит мой кончился отлично, и Миллер шутил даже, угостил чаем, написал про книги, одним словом, как бы опять опомнился и сказал, что постарается отыскать имя автора статьи".

XXXV

Анонимный автор N. Z.

„24 апреля 1879 г., вторник, вечер.

„Милые и дорогие мои тетя, дядя, Женя и Оленька. Итак, Всеволод Федорович утверждал, что это не мое сочинение и показывал, какие он имеет к этому причины. Он восклицал:

[1] Рыжей верховой лошади в Губаревке.

— Неужели двое лиц, ничем не соединенные, ничем видимым, одним и тем же не побужденные, могут произвести два совершенно подобные творения, могут произвести две одинаковые теории. Неужели вы, живя в Москве или Самаре (Саратове), и он, живя в Кракове или Лемберге, не будучи знакомы с друг с другом, могли написать совершенно одинаковые сочинения, в основных мыслях? Или вы, или он заимствовали друг у друга. Иначе объяснить невозможно!"

„Миллер говорил это с силой и с полною уверенностью в своих словах.

„Мне, как я вам прежде писал, не хотелось излагать мою историю с Прогульбицким и я решился при посредстве чего другого разуверить его в чрезвычайно обидном обо мне мнении.

— Всеволод Федорович! Сперва нужно уяснить себе, с какой целью я бы мог списать у чужого лица статью о чем-нибудь, чтобы выдавать ее за свою? Неужели уже с таких ранних лет меня воодушевляет фальшивое желание незаслуженной похвалы? Неужели уже с этих пор обман может служить мне побудителем к нечестному поступку и притом к самому глупому и бессмысленному? Неужели я имею такое низкое о вас, господах профессорах, мнение, неужели ваше знание для меня кажется так ничтожным, что осмеливаюсь представлять вам, Всеволод Федорович, и Николаю Ильичу чужие мнения под своим именем. Неужели я не опасался бы, чтобы вы тотчас же не обнаружили и не обличили бы меня в обмане? А далее, списав мнения у авторитетов, даже по вашему мнению не могущих ошибаться, неужели я стал бы после этого спрашивать, верны ли мои предположения или мысли списанные у другого знающего, авторитетного лица. Вы читали эту статью в феврале 1879 г., я писал свою в мае 1878 г., что вам могу доказать. А теперь, если вы, может быть, желаете знать, что побудило меня утверждать, что а равно 5, 3 равно — й, і равно 2, вот вам: и я показал на бумагу (мои слова почти что слово в слово мною запомнены), и я начал распространяться о звуках и о фонетике, сначала с физиологической, философической, наконец, математической и даже психологической точки зрения.

— Однако,—заметил Миллер,—признаюсь откровенно, вы гораздо более меня знаете насчет звуков и их природы, и я не могу экзаменовать (наблюдать) и критиковать все ваши мнения. Но теперь опять за старое: скажите, как вы смотрите на самого себя? Полагаете ли вы, что вы великий гений, великий, безграничный, рано развившийся и окрепший ум, или же вы признаете себя равным со всеми прочими вас окружающими субъектами, или же вы просто не помышляли, или же вы никогда про это не мыслили, не комбинировали?

„Я отвечал, подумавши:

— Признаюсь вам, что я про это довольно часто думал, но всегда останавливался на том, что я равен по уму меня окружающим смышленым существам; но умы бывают разного качества: одни развиваются рано и рано теряют свой блеск, одни появляются поздно и поздно погибают, одни умы практические, другие—поэтические. Но сущность почти что всех умов равна. Я же, причисляя свой ум к каким желаю категориям, равен многим другим,—а гениев и великих людей рождается мало, так как все стремятся к тому.

— Но как же вы это объясните: вы, 15-летний мальчик, вдруг пишете и творите теории по самой трудной, запутанной и неразработанной науке, теории, притом почти всегда верные; вы, 15-летний мальчик, пишете и рассуждаете о том, о чем и наш профессорский ум не привык свободно изъясняться. Где это было видно прежде? А так как этот факт может быть противоречащим законам логики, я должен убедиться, что эти мнения не ваши, что они не вами произведены и сотворены. Или вы читали какую-нибудь особенную книгу, о которой не ведает ученый мир, или вы имели опытного наставника в ваших трудах?

— Я читал много книг, но наставников у меня не бывало никогда.

— Какие вы книги читали? напишите-ка на этом клочке.

„Я написал и утирал пот, проливший от горячего спора с Миллером.

— Вам никак холодно,—сказал с усмешкой Всеволод Федорович, и он приказал подать чаю. (Чай был заварен уже, и самовар стоял на столе). Мы пили чай, мы разговаривали,

и Миллер ужасно повеселел и сказал мне, наконец, самое лестное обо мне мнение, которое писать здесь излишне. Оказалось, что он много говорил с моими учителями обо мне, и все до одного (даже Кордасевич) особенно хорошего обо мне мнения (а в особенности Сергей Иванович). Миллер, вообрази себе, извинился предо мною за немного грубое обращение.

— Но я думал,—говорил он,—что вы глупый фантазер, которых я ненавижу.

„Скоро раздался звонок и вошли к Миллеру учитель истории (в других классах) профессор Михайловский и учитель русского (в других классах) Преображенский. Поздоровавшись и простившись, я получил непременное приглашение в воскресение и ушел.

„Что вы на это скажете? Мне чрезвычайно не нравится, что похвала высказывается мне прямо в лицо, а то все хорошо, гладко и утешительно.

„Итак я возвратился домой (ужасно далеко), и притом чрезвычайно устал.

„А теперь маленькая просьба. Вышлите мне пожалуйста немного денег на марки и иногда на извощиков в отдаленные места, а то, если я буду пользоваться 10 рублями тети Нади, ее казна оскудеет. Денег мне нужно не более 2 или 3 рублей.

„Поехал я, как следует, в гимназию, и ужасно много теперь работы. Вот мое положение: встаю в $5^1/_2$ часов, ложусь в 11, а иначе нельзя: кроме приготовления к экзаменам, на шее уроки, а ко всему присоединяется то обстоятельство, что нас, т.-е. 4-го класс 2-го отделения, ежедневно суровый инспектор [1] оставляет без завтрака, решительно за ничто. Ему все кажется, что мы шумим, хотя только легко жужжим, и каждые 11 часов дня раздается его звучной голос: „Стоуять бейз зуавтруака". А готовиться нужно: первый экзамен 14 мая.

„Роспуск 7 июня или 6. Учителя ужасно навалили уроков, не успевали, знаете, раньше... Итак я очень много занимаюсь, особенно будет страшен экзамен латинский—не Кордасевич будет спрашивать, а злой инспектор (выгнанный за буйство из Катковского лицея), который припомнит, может быть, наши завтраки. Его обыкновение—никого не пропускать, ниже

[1] Я. И. Гринчак.

8-го ученика. Надеюсь, что время пройдет скоро. Но тороплюсь кончать—много очень уроков, а к тому же очень устал..."

Тетя телеграфно советовала Леле „все откровенно рассказать Миллеру". Но Леля не хотел согласиться с этим советом. „Вдруг Миллеру пришла бы фантазия,—пояснял он,—оправдать меня на будущее время в глазах ученого мира, пришло бы желание следить за Прогульбицким и, схватив его по обвинению в социализме, добиться от него. как и почему он поместил эту статью!"

Покончив с этим вопросом, Леля приступил к описанию своего третьего свидания с Миллером в то утро 29 апреля. Миллер встретил его в передней с газетой „Критическое Обозрение"—его редакции. Предоставляю Леле продолжать:

„— А!—сказал он—это вы... Садитесь, филолог, садитесь ученый, садитесь, философ! Я обещался показать вам немецкий журнал, вот он; Всеволод Федорович развернул газету, заглавие которой „Neue Berlinische Litteratur und Kritik-Zeitung". Журнал был от 17 марта, и я собственными глазами прочел статейку какого-то N. Z. озаглавленную: „Neue Erfindung in der Orbit der Lingvistik uder Phonetik". Передам содержание статьи по-русски: в одном из Краковских „Litteratur und Culturjournal" была помещена статья eines Schriftstellers, dessen Name nicht angegeben ist (анонимная статья, как говорили на жел. дороге), в которой автор рассматривает разные слова, большей частью славянские, а также немецкие, санскритские и т. д., и, разбирая их коренное значение, разрабатывает воззрения древнего света; статья очень хорошо написана, и притом каждое мнение свое автор сопровождает доказательством. Эти доказательства особенно важны для фонетики (и далее то, что мне Миллер читал в прошлый раз по-польски).

— Что же,—спросил Миллер,—что же, как прикажете объяснить себе это двоякое проявление одного и того же мнения?

— Это время разрешит,—сказал я,—но не мы с вами—вы утверждая, что я заимствовал, я—отрицая это.

— Извините, я вполне уверен вами, что ваше мнение появилось на самостоятельной почве, но этою немецкою газетою я объясняю, почему я осмелился ранее предположить, что это списано вами.

„Миллер после этого снова стал указывать хорошее и дурное в моем сочинении, стал указывать непонятные для него мнения и т. д. Прошло 1/2 часа.

— Польша, — сказал Миллер, — уже гордится этим открытием, произведенным на польской почве; я читал в Pester Lloyd читал в „Варшавском Дневнике" эту похвалу себе, и поляки будут уверять, что мнение это о фонетике принадлежит собственно им, неизвестному польскому ученому; Россия должна также погордиться, и я, молодой человек, если вы мне это позволите, помещу про это статью в „Московских Ведомостях" (рецензию ее), а ее самою в „русский филологический журнал. Вы согласны?

„Что мне было отвечать? Я молчал 30 секунд, а Миллер продолжал:

— Чтобы ни говорил вам Стороженко, что не нужно писать, будете раскаиваться, — не обращайте на это внимание. Напечатайте, пожалуйста, при моем, если желаете, содействии все ваши сочинения, дав им некоторую другую оболочку. Что же вы согласны?

„Что бы вы ответили? Мне до Рождества и до свидания с профессорами хотелось очень печатать мое сочинение, но теперь, я стал немного поумнее и мотивирую свое нежелание писать публично тем, что недостаточно знаю уже написанное по этому предмету; что не изучивши старого, нельзя писать новое; нужно быть скромнее в этом отношении, и всякое честолюбие, всякое желание показать себя должно побороть той мыслью, что я это еще плохо написал, что я недостаточно это разработал, не зная еще старого.

— Нет, — отвечал я, — я чувствую себя слишком слабым, чтобы с такими недостаточными сведениями вступить на поприще писателя. Но, если это мое открытие может быть полезно в области языкознания, будьте так добры напечатать это анонимно — или выдать это за свое мнение.

— Нет, это не годится, — заметил Миллер, — анонимно писать не следует, а выдавать это за свое мнение я не могу, не будучи даже сторонником его. Но про это, будьте спокойны, узнают Буслаев, Фортунатов, Колосов и другие, и все узнают это под вашим именем.

— Господи!—думал я тогда, думаю и теперь—я это видел во сне; слышать от Миллера, сурового при первом знакомстве, такое обо мне мнение—это непонятно, непостижимо!

— Вы слишком скромничаете, но это хорошо.

„И снова мы перенеслись (София Григорьевна поет) в ученый мир, слова и звуки стали раздаваться по комнате Миллера. Он пришел в экстаз, он чуть не уронил стакан с холодным чаем:—„i-i-i-i,—кричал он, не равняется а-а-а-а и ü-ü-ü-ü; странно, а-а-а есть звук чистый“ и т. д.

— Нет, печатайте, печатайте. Если вы не желаете, я сам напечатаю под вашим именем.

„Но я отказывался. Он спрашивал, куда я поеду на лето. Узнав, что в Саратовскую губернию, он попросил меня дать ему материалов в его журнал о саратовском наречии, об обрядовых песнях и т. д. Я обещал, и вот, мне будет работа на лето.

— На это я согласен,—сказал я, и т. д. и т. д. Долго с ним говорили про многое.

— Останьтесь пообедать, в 7 часов приедет Буслаев, Фортунатов и еще несколько ученых.

„Но я отказался: не приготовил уроков, не написал письма, и, вообще, хотелось домой.

„Теперь, как вы думаете, мне приятны эти похвалы, или нет? И да, и нет. Да, потому что я, как всякий человек, должен также любить поощрение, а нет...“

XXXVI

Из майских писем

Похвалы Миллера не могли оставить Лелю равнодушным, и в двух письмах от 1 мая он возвращается к этому приятному посещению его 29 апреля.

„Он так громко кричал и-и-и, а-а-а, о-о-о и т. д., что горничная прибежала посмотреть, не случилось ли что?“

К тому же Миллер дал ему список необходимых для чтения летом книг и, вообще, выказал много „энтузиазма“. Когда Леля писал эти письма у тети Нади, приехала к ним Софья Григорьевна Трирогова, мечтавшая попасть в оперные певицы, так как у нее оказался громадный контр-

альто, который она успела обработать за границей и в Америке; она весь вечер пела, и звуки ее голоса, и драматизм, который она умела вкладывать в передаваемые ею романсы, очень растрогали тогда Лелю. Он описывал „экстаз“, с которым она пела дядины романсы. „И как не расчувствоваться, не растронуться, когда слышится „В эти минуты“ [1]... и т. д.“

„Много хорошего на свете! Одни „Звуки“ чего стоят—они и меня, не знающего ничего в музыке—могут расчувствовать, могут пробудить во мне любовь к изяществу... И Миллер в воскресенье пришел в экстаз,—и Кордасевич (!) приходит в экстаз, и я, по всей вероятности, прихожу в экстаз, слушая это пение низкого, драматического голоса Софьи Григорьевны“.

Но в конце Леля возвращается к своей обычной песне:

„Никак не могу побороть в себе желание вырваться скорее в Губаревку и мне так завидно всем вам, что, если б можно, бросил бы всякий экзамен, всякое ученье, чтобы побыть в Губаревке теперь в мае! Как я думаю там хорошо, так здесь дурно в Москве. (Не сердитесь на меня, милые!) Не сердитесь, если есть за что, на меня, милые родители... Ах, финима... как мне грустновато“...

Бедный, бедный мальчик! За что ему было такую каторгу переживать? Москва, жара, грохот мостовых, раскаленные камни, духота; а мы с Оленькой такие счастливые! Да все похвалы Миллера не стоят одной хорошей прогулки в лесу.

„Хотя на носу у нас экзамены,—писал Леля 1 мая,—хотя теперь самое жаркое время для учения, все же урвать и найти минуту для того, чтобы поговорить с вами, составляет не только мою потребность, но и обязанность в отношении к вам. Скажу откровенно, Женя, что твои советы насчет моего приготовления хотя и верны, и справедливы, но излишни, так как я проникнут таким желанием во что бы то ни стало перейти в 5-й класс, что успел уже с 9 часов вчерашнего дня позабыть обо всем и зубрить (что в 4-ом необходимо делать).

„Ты говоришь, что филология это свежий воздух для больного, ему же могущий послужить во вред, но я не того мнения и, благодаря моему знакомству с законами языка, я успел вызубрить латинскую этимологию в 3 дня, славянскую

[1] „Звуки“, романс дяди на слова Огарева.

грамматику в 2 дня; кроме того я повторил арифметику и алгебру, повторяю геометрию.

„Сегодня 1 мая, все стремятся в Сокольники, жара невыносима, уже духота и пыль.

„Выдержу ли я экзамен? Вот вопрос.

„Товарищи мои, даже 15—10 ученики смотрят очень равнодушно на приближающиеся экзамены, и, притом, так уверены в своих способностях и силах, что еще не начинали готовиться; встают в 6 часов, как всегда, ложатся в 9, как всегда. Завидно смотреть на них, если думать, что в самом деле у них такие великие способности, но досадно и далеко не завидно будет видеть их печальные лица, их заглазные угрозы учителям, когда придут экзамены, когда двойки и единицы будут свидетелями их великих способностей. Я выразил сегодня Сергею Ивановичу свои опасения насчет того, что побаиваюсь экзаменов, но он обнадежил меня словами, что ни один учитель не захочет ставить мне дурного балла, так как я был 5-м учеником, а теперь буду 3-м, а также по той причине, что я филолог (?). Странно и досадно, как ни старался я скрывать это от гимназии, все учителя знают про мои занятия; но это значит, что филология не есть прохладный ветерок, вредный для больного, напротив, это моральное занятие, нужное для развития моего ума, на ряду с ужасной его гимнастикой, с ужасным salto mortale при изучении латинских глаголов или алгебрических формул и правил. Будьте спокойны, что теперь, исключая 2—3 часов в воскресенье, я не трогаю моих тетрадей и книг, но всякое новое греческое слово или древне-славянская формула доставляет моему уму ничем не ограниченное пространство для филологических наблюдений, а эти внутренние наблюдения я не в силах сдерживать, да и зачем, неужели нельзя ни есть, ни пить по той причине, что скоро экзамен? Миллер дал мне 2-ую серию лекций Макса Мюллера по-немецки на лето, но просмотреть даже не успел я этой книги. Он дал мне список полезных для меня книг, всего 3 (на лето хватит, если я их добуду, очень толстые). Одна из них есть „Compendium zur Vergleichender Grammatik“ von Schleicher[1], но она дорога, 7 или

[1] Сокращенная сравнительная грамматика Шнейлера.

8 рублей; другая—не помню какого автора, сочинение о фонетике, а третья—Макс-Мюллеровы лекции.

„Теперь, как в гимназии, так и у Миллера и Стороженко я беспрестанно слышу приятные для меня фразы, беспрестанную похвалу знающих людей (например, сегодня Сергей Иванович по секрету просил меня дать ему один список восходящих и нисходящих звуков, список, о котором он слышал от одного господина—он знаком со Стороженко, или Миллер сказал: „Эх хотел бы иметь такого сына!")

„Скажите мне: прав ли я был отказать Миллеру насчет печатания моего сочинения? Ну скажите, про себя: должны ли быть приятны все эти похвалы? Что касается собственно до меня, то я смотрю на них двояко: всякий человек любит получить похвалу, любит поощрения и только самый самоуверенный и избалованный счастием отвечает на похвалу: „Да, я сам знаю, что это хорошо". Я, будучи человеком, ничего человеческое не считаю чуждым себя (homo sum et nihil humanum a me alienum puto) и, конечно, мне приятно всякое поощрение (в особенности, с вашей стороны), но, вместе с этим, что-то другое—высший управитель моего существа говорит мне: „Нет, Леля, ты не должен рано привыкать к похвалам; ты избалуешься, слушая их; ты, слыша похвалы, или рассмотри, не скрывается ли под ним лесть (вроде Прогульбицкого), или же смиренно сознавайся, что ты не достоин их. Сам зная и сознавая, что я не могу испортиться от похвал, я сам, вместе с тем, опасаюсь за себя и беспрестанно мучаюсь, помышляя—„а вдруг избалуюсь!" Когда я был у Креймана—я не опасался впасть в заблуждение меня окружающих детей; я не опасался, увлеченный их примером, делать то же, что они, но всегда происходила во мне борьба, т.-е. одна сторона моя жила беспечно, другая тряслась за нее; вот это-то состояние и было невыносимо, и я, как трусишка, убегал от общества моих милых товарищей!"

Все это пустяки, возражала я, а вот утомляться так не следует, особенно как он писал в письме своем от 10 мая:

„Вообще, я что-то не в порядке, голова у меня не в уборе, перед глазами мелькают алгебраические формулы, геометрические фигуры; наряду с вами, моими возлюбленными, шагают

страшно латинские глаголы, греческий Ксенофонт вместе с вами, моими возлюбленными! И к несчастию все мне думается: а если не выдержу экзамена, тогда что?“

Вот уж напрасная тревога, вот уж зряшное мучение! Не выдержит экзамена, будучи 3-м учеником! Ведь и учителя ему это повторяют и товарищи. А меня особенно тревожили слова одного из семи братьев Кормилицыных, товарища Лели. Он передавал Леле, будто его дядя, Стороженко, говорил про него, что он будет величайшим ученым, или сойдет с ума (!)... удрученный работами по учению и своими занятиями. То-то вот и есть. Не удивительно, что я косилась на филологию! Стороженко понимал, что это слишком много, а так как приходилось из двух зол выбирать одно, я и почитала филологию во время экзаменов—вредной. Тем более, что только в 4 часа утра, когда Леля уже принимался за зубрение, воздух был свеж и приятен, но тогда он не мог равнодушно смотреть в окно на зелень гимназического садика! Слишком это напоминало ему Губаревку и то, чего он был лишен.

„Усердно тыкаю тогда в латинскую грамматику“. В этом вопросе он встречал во мне полное сочувствие, доходившее до негодования и страдания за него. Поэтому, когда в следующих письмах повторялись жалобы его, и он мысленно, с грустью продолжал витать в Губаревке („вот хорошо, я думаю, будет 20 мая! Лестница [1] готова, все в цвету, сад в порядке—просто не насмотришься“), я уж помалкивала и только серьезно мечтала о существенной реформе всей учебной программы, так губящей молодежь.

„Уж извините за мои глупые письма и жалобы... впрочем не беспокойтесь обо мне; в сущности, я здоров, только глупые нервы у меня слабы. Надеюсь, что вас еще не разгневали мои жалобы—что же делать, если я это чувствую. Тетя Надя старается развлечь меня; добрая она какая, но у меня засело что-то такое и так мне хочется вас видеть... ой-вай, финоматечка“[2]...

„Так мне хочется теперь как-нибудь выразить на бумаге поцелуй, а главное—что невозможно—мою внутреннюю к вам любовь“.

---

[1] Резная лестница на бельведер взамен старой.

[2] Опять ласкательные прозвища.

13 мая он писал:

„Сию минуту я получил женино письмо, но я что-то не понимаю и удивляюсь, отчего вы недовольны моим поведением, отчего Женя удивляется моей фразе к Миллеру: „Печатайте, выдавая это за свое мнение". (Она была немного глупа эта фраза). Конечно, нельзя ясно выразиться, находясь за 800 верст но мне очень бы хотелось объяснить вам все это. Тетя, по всей вероятности, помнит, как я на Пасху говорил ей, что мешает моему желанию печатать свои сочинения; не правда ли, красавица, ты помнишь это? Притом тетя была совсем согласна со мною, точно так же, как Кулаковский, а именно, я не могу писать хорошо, не изучивши того, что написано до меня, а писать дурно и находить потом беспрестанно ошибки, уже в напечатанном сочинении, это вовсе не стоит, и никакого нет интереса писать таким образом; то же говорил мне Стороженко. А теперь Всеволод Федорович советует печатать, но он сказал это таким тоном, будто он, будучи на моем месте, не напечатал бы также и не возражал, когда я изъяснял причины моего нежелания печатать. Что касается до скромничания, лучше остаться скромным дураком, чем нескромным; лучше остаться в дураках, скромничая, чем лезть вперед, поднимая нос и т. д. Я сознаю, что глупо сделал не оставшись обедать [1], но, если бы вы были в Москве, я бы остался обедать, а, так как вас не было, я ушел (все объясню летом).

„Теперь я познакомлю вас с одним для меня с материальной стороны очень приятным событием, случившимся в пятницу 11 мая: я пришел после праздников в гимназию, все готовились к экзамену; вдруг в 1 час пополудни мне говорят, что ко мне приехала какая-то дама; вхожу в приемную и оказывается, что это тетя Наталья Антоновна. Любовь Антоновна уехала уже в деревню и поручила ей проездом отдать подарок—портмоне (довольно красивое) и в нем 15 рублей (хорошо и кстати для книг); сама же она оставила мне бюварруло. Мы с ней говорили около $^1/_2$ часа: о Жене, Оленьке (получающих самое модное воспитание), о вас, красавчиках, о тете Натали, тете Мари и т. д. 20 мая я буду писать тете

[1] Когда Миллер звал его остаться обедать.

Ивановой письмо с благодарением; звали очень к бабушке[1], проездом у ней побывать.

„Не правда ли, можно будет 7 июня ехать одному в Саратов? 15 рублей довольно хорошо получить: из них я истрачу, во всяком случае, не более 10, так как мне нужно купить только капитальное сочинение Августа Шлейхера (8 или 9 р.). М. Мюллера, принадлежащего Миллеру, я все-таки возьму, так же как Витней-Иолли, принадлежащий Стороженко.

„...Товарищи все говорят, что на моем месте они и готовиться бы не стали—кого же переведут, если первых переводить не будут?"

XXXVII

Экзамены в 5-ый класс

Экзамены начались 14 мая. Об них довольно пространно писал Леля в письме своем от 20 мая, которое и привожу здесь почти целиком:

„Милые мои родители, Женя и Оленька!

„Хорошо, когда можно отвечать на частые письма родителей, хорошо, когда получаешь от них частые вести... и притом твое письмо, Оленька, очень меня поразило своею чистотою, каллиграфией и орфографией—видно, что у тебя экзамен на носу, что у тебя в виду второе испытание. Ты спрашиваешь меня, даже два раза, выдержал ли я экзамен по математике. Хотя почти все, что мы проходили из алгебры и геометрии совсем ново для меня, все же мои математические заслоны открылись с недавних пор, и я довольно силен по математике. Были заданы очень трудные задачи.... В продолжение 6 часов решал я их и притом 6 часов без выхода, так что на 7-м часу (в 4 ч. дня) вышел я голодный, вспотевший и уставший. Но 5 на экзамене получить хорошо, а тем более для меня из математики, которая так хромала в Крейманской гимназии, которая для меня была неприступной и непонятной наукой.

„Во вторник, от 9 до 2, был экзамен по русскому: было задано сочинение на тему „Заглохший сад". Я описывал в нем, конечно, сад никогда не существовавший и, собственно, описывал разницу между чувствами, которые имеет всякий человек,

[1] Мария Павловна Бистром.

входя в заглохший сад и в сад, усердно поддерживаемый. Сочинение вышло на 12 страницах довольно мелким почерком. Балл наверное не знаю, но один надзиратель уверяет, что сам учитель сказал, будто мне 5, чему, конечно, приятно верить. В середу от 9 до 12 был не совсем удачный экзамен французский: получил 3 и к тому, что очень неприятно, вышло так, что Попов (племянник дяди Григория Николаевича[1]) просил меня прислать ему записку с заданным переводом (тайно от учителя). Попов же не имеет малейшего понятия о французском, а на экзамене с помощью моей записки написал на 5 или на 4, а я, написавший ему на 5, самому себе написал на 3, так как под конец очень устал (это очень мне смешно и неприятного очень в этом мало)...

„В четверг от 11 до 5 был экзамен по латинскому языку. Был задан громаднейший перевод, но бог миловал, и я сделал, кажется, всего 3 ошибки. Балла еще не знаю. В пятницу от 12 до 4 было письменное испытание по греческому, насчитал у себя 4 или 5 ошибок. Балла не знаю“.

В субботу в 3 часа Леля с неизменной Аришей отправился домой. Михалевских он не видел целых 9 дней, „и признаться, соскучился (вообразите, как же я должен по вас скучать)“...

Воскресенье, 20-го, был день его ангела, и тетя Надя позаботилась справить ему этот день: она подарила ему хорошую толстую тетрадь „для будущих сочинений—моих моральных наслаждений“ и почтовую бумагу с конвертами. Но тем больнее ему было сознавать, что он так далеко от нас в этот день.

„Ах, если бы мне быть под кровом родительского дома, ах, если-бы мне наслаждаться всем, что представляет расцветающая весенняя природа! писал он опять жалобно,—а здесь—ни цветочка, кроме казенных, бульварных цветочков, ни свежей травки губаревской! Я фиалок не видел, а, главное, вас, вас моих дорогих и милых, нет вас, моих родителей!.. Нехорошо быть впечатлительным. Материалисту гораздо лучше живется на свете, чем таким существам, которые все ищут наслаждений моральных, все ищут наслаждений к кругу семейства, под отеческим кровом, а в другом месте они—мученики“... „И пирог

[1] Челюсткина.

был за завтраком и пили мед, вместо шампанского за обедом, одним словом мы справили именины...

„В 4-м классе был ученик Камаев: он так зубрил перед экзаменом, что недавно уехал на Кавказ лечиться—у него сделалась грудная чахотка—от усидчивого труда, по определению докторов.

„И в 8-м классе экзамены теперь. С нашими гимназистами вместе держат креймановские ученики и все, кроме одного, уже успели нахвататься двоек, тогда как гимназисты выдержали все на 4 и 5: вот частные заведения. Но, вместе с тем, Поливановцы в 3-й гимназии, говорят, отличаются и великолепно выдерживают экзамены...

„Эх, кабы я вас обнял теперь, как бы я на вас поглядел и расцеловал бы вас моих родных, моих лучших, лучших утешителей: сколько дум передать вам нужно, скольким поделиться, сколько поведать и дяде, и тете, и сестрам! Ведь я ничего не говорил вам про мои отношения к ученикам, к тому, к другому, к товарищам и т. д. Вообще, ах, если бы время скорее прошло, если бы все окончилось счастливо! Надеюсь, что вы не очень на меня сердитесь за мой несчастный, жалобный тон"...

Кроме наших поздравительных писем Леле к этому дню, и Михалевские получили от нас письма: мы звали их на лето в Губаревку. Об этом шла речь еще с весны: Леля ужасался, что они должны провести все лето в Москве, и не раз писал нам по этому поводу. Нас же очень радовала возможность их приезда, но тетя Надя все высчитывала убытки, которые причинит ей эта поездка. Теперь наши письма были слишком убедительны: тетя доказывала, что поездка эта явится только большой экономией в бюджете тети Нади, Оленька звала Адель для здоровья и нерв, а я соблазняла Володю охотой, которую он так страстно любил. Вместо уехавшего Шмита, теперь управляющим у нас был малоросс Кирилл Касьянович, тоже охотник, и будущий товарищ Володи по охоте.

Тетя Надя все-таки сдалась не сразу, но Адель с Володей стали так просить ее, что к концу дня „радостный" отъезд был решен.

Таким образом праздник Лели стал для него действительно праздником, радостным днем, потому что чувство благодарности

его к ласке и вниманию тети Нади заставило его очень желать заплатить ей сторицею—приятно проведенным летом в Губаревке.

Следовавшая за сим неделя была удачная, судя по письму Лели от 24 мая.

„Милые мои родители.... Написав вам письмо в воскресенье, поговорив после этого еще с тетей Надей об ее радостном отъезде из Москвы, спокойно проведши ночь, на следующий день пошел я в гимназию на зубрение. Повторив все, как следует, и, кроме того, доучив то, о чем я понятия не имел, предстал я во вторник пред лицо экзаменаторов (наш учитель Каменский, ассистент Шапошников и директор) [1] в 2 часа.

„Вынул я (экзамен был по математике) три билета. Конечно, я немного побаивался, конечно, испугался, когда меня вызвали; отвечал я довольно хорошо; круглый балл из математики (письменные 5 и устные 4+)—5.

„В среду, т.-е. вчера, встал я в $3^1/_2$ часа, иначе не успел бы повторить всего. Русский экзамен сошел очень хорошо, и наш добрый Сергей Иванович сдержал свое слово—он поддержал меня на экзамене. Когда очередь дошла до меня, директор вызвал меня, но Яковлев сказал: „Его можно перевести и без экзамена, он отлично идет по русскому языку и лучше меня знает язык церковно-славянский“ (это было сказано в полголоса). „Я знаю,—отвечал директор,—я это знаю, но нужно же поставить ему балл за устное испытание“—и меня заставили рецитировать стихотворение Пушкина „Клеветникам России“.— Стихи я знал плохо, но сказал с интонацией (что очень любит директор) и мне поставили 5, что вместе с баллом за письменное испытание (5) составило круглый балл для русского 5. Это очень меня обрадовало, очень воодушевило, тем более, что я один из своего класса получил 5 на экзамене русском и этим принес пользу славному Сергею Ивановичу, так как у нас учителей судят по тому, сколько у него учеников перешло в следующий класс с 5,—и Сергей Иванович встретившись потом со мною сказал: „Очень вас благодарю. Мне можно вами похвастаться“.

---

[1] О. Г. Гебель.

„В четверг имел быть экзамен по закону (божьему), которого я очень боялся, не зная из катехизиса 9—12 члена... Уже 2 недели тому назад учил я эти члены, учил литургию, которой не учил с тех пор, как у тебя учился, а вчера вечером и сегодня с 4 часов утра повторял все, что нужно из закона божия (экзаменаторами были учитель наш священник Александровский, ассистент Ильинский и страшный инспектор). Попались мне 4 билета очень трудные, меня спрашивали целых полчаса и поставили 4.

„Следовательно, я почти уже перешел в 5-ый класс, так как из латинского на письменном экзамене у меня, по всей вероятности 4 (Кордасевич сказал мне, что я хорошо написал), а из греческого, наверное, 4.

„Ровно через 13 дней буду я подъезжать к Губаревке. Увижу поля, холмы родные, увижу вас, моих миленьких“... И хотя Леля упоминал о том, что будет еще писать в субботу 26-го и позже, так как распускали только 6 июня, эти письма его не сохранились. Остается только добавить, что экзамены были им сданы благополучно, хотя его сильно огорчило, что многие из его товарищей провалились, и из 19-ти учеников у одного Яковлева перешли в 5-ый класс всего 6 человек.

Когда 5 июня ему минуло 15 лет накануне отъезда в Губаревку, он мог себя считать одним из счастливейших смертных.

И дорога в Губаревку была тоже радостная, ехали вместе с Михалевскими; одна Ариша с Моськой была оставлена в Москве, но и ей стало гораздо лучше, так как перебралась на лето в большую квартиру Корбутовских.

Мы их ожидали с большой радостью. Лето 1879 года прошло более чем когда-либо приятно и, скажу, поэтично. Приятельница моя Кити среди лета покинула нас. Не помню совсем под каким предлогом. Дружеские отношения ее с нами продолжались еще много лет спустя. Также покинула нас Мария Дмитриевна, уехав жить к зятю. Но сейчас с нами были наши друзья детства Адель и Володя, и жили мы с ними тогда так ладно, так согласно! Наши общие переживания были обвеяны непередаваемым и неповторяемым обаянием первой дружбы и первой любви...

XXXVIII

Переезд в Саратов

Первое письмо Лели из Москвы[1] было обвеяно грустью, хотя он в дороге с Алешей рассеялся, опустошая кулек и ящик с провизией, и очень радушно был встречен тетей Надей. Утром, проснувшись, он почувствовал ужасное сжимание сердца и желание скорее нас видеть в Москве. Болезнь дяди его особенно угнетала, и он просил дядю скорее приехать и, непременно, хотя до марта, пожить в Москве. Он стал уже подыскивать нам квартиру, когда губаревские письма сообщили ему, что мечты наши о переезде вновь останутся мечтами! „Я знал почти наверное,—писал он нам 8 сентября, — что меня ожидает такой ответ, а все же теплотою веяло на сердце, когда „авось приедут" заменяло мои грустные мысли. Конечно, это неудобно, конечно, затруднительно ехать с больным дядей, а все же как было бы хорошо тебе, моя красавица, и насчет тебя, и насчет Жени, и насчет Оленьки, насчет ее учения... Но что говорить о том, что не может сбыться!... Сколько печального и грустного отделяет меня от Рождества, от поцелуев ваших! И вспомнить: мне после завтра нужно будет долбить „Метаморфозы" Овидия, несчастного Цезаря, алгебру и геометрию, а вы наслаждаетесь семейным счастьем, и самые горькие минуты утешительны для вас, так как вы переносите все семьей, так как вы в семье. А я нахожусь в собрании эгоистов, где всякий думает только о своем благополучии, своем удовольствии, где нет ничего уютного, теплого, семейного, кроме моей кроватки, лежа на которой, я вижу во сне вас и семью...

С болью читаю я теперь об этих постоянных страданиях Лели из-за разлуки с семьей: если мы, действительно, не могли переехать всем домом в Москву (за отсутствием средств, конечно), так почему же мне тогда не приходило в голову хоть на гроши, да переехать в Москву и устроить ему этот семейный уют?... Нет!... Помнится, мне тогда казалось, что Леля, главным образом, тосковал о тете и дяде. К ним были все

---

[1] От 30 августа 1879 г.

эти обращения любви, ласкательные прозвания, которые я здесь не привожу, чтобы не надоедать. Опасения за здоровье дяди особенно тревожили его. Мы не могли его радовать добрыми вестями: после 4-х месяцев леченья дядя все еще почти не ходил. Леля первый воспротивился бы моему намерению в такое время уехать от дяди и от тети, так беззаветно ухаживавшей за ним. Но как был бы он счастлив разделять с нами все эти заботы, „этот уход за дядей! Катать его в креслесамокате по дорожкам, читать ему вслух, играть в шахматы, вести с ним длинные беседы... И так еще хорошо было в Губаревке в сентябре. Невольно вспоминали мы прошлогоднюю осень, проведенную вместе. Леля не раз возвращался к ней, грустно перебирая заданные уроки: французский синтаксис, русская словестность, Ксенофонт, Овидий; учителей: страшный Кордасевич, еще более страшный Вислоцкий, учитель греческого языка, Кейзер—немецкого языка, Ниберг—математики, Михайловский—истории; товарищей, из которых только 7 человек из 20-ти перешли в 5-ый классе, остальные „изменили знаменам классицизма“ и поступили в военное училище, не выдержав переходных экзаменов.

Только в письме от 16 сентября тон Лели был уже покойнее и веселее: он получил от нас несколько писем зараз.

„Все пошло опять хорошо; письмо, как, вообще, всякая о вас весть, подобно дегтю, замазывает скрип моей однообразной жизни, колеса ее... Вечером все рассеялись, все развеселились.—Приятно возвращаться домой к тете Наде, поведать за самоварчиком les malheurs et les bonheurs du jour [1], повести семейный разговор про вас, моих миленьких, моих хорошеньких. Приятно заниматься дома, дома все хорошо!“.

Но с этого времени, вообще, Леля сам замечает перемену в своем характере. Он упоминает об этом впервые в письме к тете (от 16 сентября). „Ты сама, моя милая красавица, заметила, что болезнь дяди как-то ослабила мою восторженность во время первой удачи в моих филологических сочинениях, я сам нахожу это, но стараюсь оправиться... Не знаю, мне кажется, что ты столького во мне не знаешь; почему я создал себе такой характер из веселого мальчика? Почему

[1] Несчастия и радости протекшего дня.

я не сближаюсь с некоторыми людьми?"... О доле явившейся в нем замкнутости заговорили и тетя Надя с Адель, любившие, вообще, разбирать чужие характеры. Они определяли его характер „неуживчивым":—„Конечно, грустно слышать, что я ни с кем не уживаюсь, но это—единственная моя сторона, которую я никак не могу пересилить; а, вместе с тем, есть натуры, в которых нахожу так много хорошего, симпатичного, что я никак не могу не сблизиться с ними!" Неуживчивость или, вернее, необщительность Лели чудилась тете Наде в том, что он, наученный горьким опытом у Креймана, теперь гораздо осторожнее, даже неохотнее, сходился с товарищами своими и мало про них рассказывал. Только в последнее время он подружился с двумя мальчиками:—Еселевым и Салтыковым, „подружился в тесном смысле слова, именно в том, в котором я понимаю этот термин: друг—понятие, совсем противоположное с понятием о товарище, которых всегда можно найти на свете много".

Останавливаясь на их характерах, Леля замечает, что, хотя говорят, будто сходятся противоположности, его друзья—совсем не являются ему противоположностью. Оба—серьезные мальчики. „Один из них доблестнейший христианин, другой, напротив, отрицающий многое, но проникнутый самым кротким благочестием, самым чистым и ясным образом мыслей; последний—буян, вспыльчив, задорен, первый—смирен и кроток, но оба они серьезны, оба—поэты, и если это приличествует мальчику (после белинских барышень)—идеальны". К сожалению, Еселев в это время серьезно заболел, и болезнь эта, оказавшаяся смертельной, сильно огорчила Лелю: „Его благородная душа возбуждала слишком много сердец благоговеть перед ним, и весь класс с грустью вспоминает о нем"...

Поневоле Леля писал нам: „Я стараюсь, мои милые, писать вам веселые письма, но это никак не выходит, я стараюсь не жаловаться, но не могу это не делать"... Невеселыми были тогда его гимназические впечатления. Инспектор, „свирепый Гринчак", вопреки всякой справедливости, своевольно прогнал отличного учителя истории Яковлева, оставив его с женой и 4-я детьми без уроков и без куска хлеба и, вообще, проявлял капризы свои на все лады. Он заменял в то время директора

Гебеля, который затеял свадьбу; он женился на богачке, дочери Эйнем, и получил за ней в приданое несколько домов в Москве.

Главным образом, Леля не мог, как весной, с головой, с увлечением уйти в свои любимые занятия: „Я чувствовал и в Губаревке и здесь—большой недостаток, ничего не пиша, ничего не сочиняя, кроме маленьких мемуаров и записок",—писал он.

Наконец, письма наши успокоили его хоть в вопросе о нашем переезде. Он должен был помириться с тем, что мы не переедем в Москву, но его успокоил и помирил с этим наш внезапный переезд в Саратов и то, что тетя поместила Оленьку в частную гимназию Ульрих. Переезд наш, действительно, произошел совершенно внезапно.

Дядя, тяготясь всяким передвижением, решительно не хотел двигаться из Губаревки, из своего чудного кабинета, где он пользовался полным комфортом, и заявлял, что будет один зимовать в Губаревке. Из-за того болезненного состояния, в каком он находился после паралича, а также из-за отсутствия доктора в деревне и правильного лечения я даже не мечтала больше зимовать в Губаревке, а сознание, что Оленьке пошел 13-ый год, и она не учится, до того тревожило нас, что тетя, согласившись остаться зимовать в Губаревке, настояла на том, чтобы хоть Оленьку поместить интернатом к Ульрих. У тети Натали тоже подростали Сева с Гришей, и их надо было учить, в ожидании, когда дядя Володя, переехавший в Петербург, их перевезет к себе. В Саратове существовал пансион, приготовлявший в гимназию, и тетя Натали решила переехать в наш саратовский флигель. 16 сентября в воскресенье, в солнечное и теплое утро, тетя с тетей Натали довольно неожиданно собрались в Саратов, захватили детей и обещали, не отпуская лошадей, вернуться через два дня обратно.

Когда их коляска скрылась за рядами изб в деревне, я вернулся в кабинет к дяде, одиноко сидевшему у окна: „Ну, а что мы с тобой тут будем делать?—обратилась я к нему,—как время без них коротать? Тошные книжки читать? Разве ты думаешь тетя усидит здесь, в деревне, отдав Оленьку, малышку нашу, в пансион?"—Я шутила, но слезы давили мне

горло: еще новые терзанья Оленьки из-за разлуки с семьей! Одна—среди чужих саратовских тохтершулек! [1] Леля не выдерживает, а где уж ей!..

Дядя помалкивал, слушая мою воркотню, и вдруг, совсем неожиданно, сказал: „Давай, сделаем тете сюрприз. Переедем в Саратов, сейчас же. Соберешь ли весь дом в два дня?“

„В один день соберу! Чего не сделаешь сюрприза ради“,—отвечала я и, вскочив с места, немедля послала за Кириллом Касьяновичем и столяром Сергеем.

„Немедленно собираться в дорогу!“—объявила я всему штату прислуги, и немедленно были принесены сундуки, ящики, корзины, сено, рогожи, веревки, бумага... Быстро, спешно укладывали посуду, хрусталь, лампы, зеркала. Один Кирилл Касьянович ходил, заложив руки в карманы, и повторял, что уложить весь дом невозможно ранее 4-х дней. Но уже к 5-ти часам все ящики были заполнены и забиты Сергеем Кирилловичем.

К крыльцу подвезли 15 подвод, на которые люди стали устанавливать и увязывать мебель, ящики, пианино, стеклянные шкафы и пр. Не прерывали работу и с наступлением вечера. Поднялась полная луна, озаряя подводы у крыльца и людей, суетившихся вокруг них.

Дядя в своем кабинете разбирался в книгах, отбирая те, которые он хотел взять с собой, а Дмитрий [2] их укладывал в принесенные важи с кареты. Помнится, как, несмотря на всю суету, спешку и радость людей из-за переезда в город, в глубине души мне было невыразимо грустно. Только мысль о радости тети и Оленьки сгоняли это тоскливое состояние, точно предчувствие, томившее меня... Добро бы ночь была дождливая, да темная осенняя, какая бывает иногда в сентябре, а то светлая, золотистая, тихая, ароматная от прелого листа в лесу.

А что ожидает в Саратове? Но прочь эти глупые мысли: обрадуется тетя, столько времени желавшая этого переезда. Обрадуется Оленька, с таким страхом, но как овечка на заклание, покорно поехавшая зубрить арифметику и... латынь:

---

[1] От немецкого „Tocherschule“.

[2] Камердинер.

гимназия Ульрих, предпологалось, будет классической! И ей, бедняжке, придется зубрить латынь!

Мы с дядей поужинали уже после 11-ти часов, когда уставшие люди разошлись на отдых, а Дмитрий на подносе, по походному, принес нам в кабинет холодный ужин и яичницу-глазунью, наскоро сготовленную на щепках, так как повар Василий был слишком занят укладкой своих сковород и кастрюлей.

На фоне общей радости печальным штрихом оставался лишь Кирилл Касьянович. Он привык, являясь по вечерам за распоряжениями к дяде, пить с нами чай и вести немудреные беседы, вспоминая свою Малороссию. Мы заставляли его читать Гоголя, и он приходил от него в восторг. Ожидавшее его одиночество, понятно, очень огорчало его. Теперь, когда он зашел к дяде за последним распоряжением, и дядя велел послать утром в Вязовку за почтовыми лошадьми к 12-ти часам, а карету подвести к крыльцу для укладки с утра, пораньше, бедный Касьяныч сначала морщась, печально опустил голову и помолчал, а потом стал так упорно улыбаться, что я не могла не спросить его, о чем он смеется.

— Да так, Евгения Александровна, — ответил он, — вот я прочел, что у Василисы Кашпаровны [1] была карета времен Адама... Это что-то неестественное... Я не думаю, чтобы Адам ездил в карете...

Дядя взглянул на него так, как смотрят на людей в безнадежном состоянии.

На другое утро, опять солнечное и теплое, все наши подводы с людьми двинулись в путь. Двинулся и штат тети Натали — Маша с няней. Также и кот Жирофле, и собаки: Зимка, Анашка, Дизраэли. В час дня двинулись и мы с дядей. В другое время я бы, наверное, хныкала за каждым деревом, но теперь я не прощалась ни с кем и ни с чем, обещая вернуться с обратной тройкой тети завтра же. Мне казалось, что я переживаю чувства главнокомандующего, выигравшего сражение, подняв так быстро целый дом, а в карете я везла главный трофей — дядю, который еще накануне так упорно отказывался ехать: то-то обрадуются наши в Саратове! По-

[1] Героиня повести Гоголя „Иван Федорович Шпонька и его тетушка".

нятно, каково было их радостное удивление, когда мы еще засветло въехали во двор.

Тетя уже успела определить Оленьку к Ульрих, она была уже принята в 3-ий класс (древние языки там еще стояли только в проекте!). Приняли и мальчиков „приготовишками" в пансион Навашина. Приезд наш был, как нельзя более, кстати, и на другой же день Кириллыч со всеми людьми приступил к устройству дома. В несколько дней заброшенный сарай, каким стал наш большой дом, превратился в такой уютный и красивый дом, что стал не хуже того, каким он был до нашего отъезда за границу.

Все перипетии этого переезда были мною подробно описаны Леле, и, получив это длинное письмо, он отвечал, что поступление Оленьки в классическую гимназию Ульрих, особенно радует его: диплом классической гимназии более значит, нежели диплом гимназии или института; при теперешнем классическом направлении министерства, воспитанница Фишер может преподавать в 3-х низших классах мужских гимназий.

„Quelles billevesées!"[1]—воскликнула с возмущением Оленька, услыша, что ей, может быть, предстоит преподавать в мужской гимназии. „Я думаю, что это поступление произведет на Оленьку чрезвычайно большое впечатление, очень для нее полезное; она, по крайней мере, увидит, что значит правильное, систематическое учение", — продолжал радоваться Леля поступлению Оленьки к Ульрих и не менее—нашему переезду в Саратов. С рушившейся мечтой видеть нас в Москве, он тогда и помирился, а как только он свиделся со своими профессорами, ему снова стало легче и веселее на душе.

XXXIX

Житие Феодосия

Не застав Стороженко 8 сентября, он отправился к нему в следующее воскресенье; принятый любезно и обласканный им, он прежде всего обратился к нему за советом, какую предпринять работу. Стороженко дал ему давно желанный

[1] „Какой вздор".

ответ, а именно обещал ему написать Кирпичникову (составителю грамматики), прося его познакомить с Буслаевым, — то, о чем Леля мечтал еще с прошлой зимы. Потом советовал ему пойти к Миллеру, который познакомит его с Фортунатовым. Буслаев и Фортунатов — корифеи филологии, и оба направят его дальше, хотя они и совершенно различные по характеру: Буслаев, хотя и в настоящем смысле ученый, — человек очень увлекающийся и поэтический: он благодарен за всякое указание на ошибки, за всякую критику, — Фортунатов же совершенно противоположен, сухой, математически точный и никогда не увлекается. Затем, много говорили о новых сочинениях по литературе, филологии, истории, и Стороженко дал ему прочесть 1-й том „Летописи древне-русской литературы“.[1] В следующее затем воскресенье (23 сентября) Леля отправился к Миллеру.

Миллер принял его очень любезно, стал расспрашивать про летние занятия, и очень удивился, что Леля выучился читать по санскритски, ибо, говорит он, — студенты 2-го курса не могут одолеть трудность чтения санскрита.

Узнав, что летом Леля занимался Нестором и славянскими языками, он посоветовал ему взять рукопись XII в. „Житие Феодосия“ и, разобрав язык XII в., сравнить его с церковнославянским, настоящим русским и другими языками. Единственное в своем роде, это сочинение будет очень интересно и поучительно и для самого Лели. Леля был доволен. Неудивительно, что он снова деятельно занялся своими книгами и тетрадями, кончил греческую фонетику и принялся за латинскую.

„Ах, как утешительны эти занятия!“ — восклицает он.

„Ах, как приятно иметь такую привязывающую, утешающую, моральную работу! Все забываешь! Забываешь о своем существовании, о существовании мира, переносишься в отвлеченнейший мир“... Недавно я набрел на мысль о законе, по которому меняются понятия, по которым происходит умножение, разветвление понятий, закон, так занимавший некоторое время нынешних философов языка. Мне и удалось его набросать вчера на нескольких страницах и, скажу откровенно, сам в восхищении от своего наброска. Вот мои утешения, вот та

[1] Тихонравова.

духовная пища, которой должен питаться человек, чтобы забыть грустную действительность и заменить прошедшее и будущее некоторыми свободными минутами морального упоения...“

„Грустная действительность“, на которую намекал Леля, было недоразумение, омрачившее дружеские отношения его к Михалевским, недоразумение, о котором он сообщал нам в предыдущих письмах.

Но, к сожалению, я все еще не отучилась читать ему мораль, как только в письмах его появлялись жалобы. Выражение „грустная действительность“ вызвало во мне опять осуждение брата моего, теперь — столь для меня прискорбное и непоправимое! „Меня сердит чопорность твоих выражений немецкой учености конца XVIII в.“,—стояло в моем злополучном письме (да не в одном, а в двух!), и я выражала свое неудовольствие на то, что он опять жалобился.

„Скажу только одно, — писал он мне, оправдываясь, в ответ, — а я это часто повторял еще в прошлом году, что когда я пишу вам письма, то изливаюсь в них и далеко не приискиваю красоту выражений и т. д. Я думаю, когда тебе что-либо неприятно, тяжело, всякие разнообразные мысли приходят на ум, например, когда мы были маленькими и должны были идти на дядин латинский урок, нам становилось так тяжело на душе, что жалели, что мы не Зимка и Бутузка, попадавшиеся нам при переходе из дома в дядин кабинет. Точно так же и мне, но в этот раз они не только пришли, но и выразились на бумаге—где же тут учености XVIII в.? Если бы я знал, что тебя будут шокировать такого рода выражения, я бы их избегал, но не зная этого, я писал что думал („о грустной действительности“). Впрочем, довольно насчет этого, но уясни мне только пожалуйста, как могут относиться слова о пророке Иеремии к моему тогдашнему письму?“

Увы, я не нашла ничего лучшего, как привести ему тогда в назидание насмешливое четверостишие о плаче пророка Иеремии. Конечно, не равнодушие к переживаниям брата вызывало эту литературу, а неисправимая черта характера—скрывать боль, не признавать ее, быть Муцием Сцеволой даже в пустяках. Именно потому, что недоразумение Лели с Михалевскими

больно задело и меня, я старалась его убедить, что это пустяки, что „грустной действительности" не должно быть, что жалобиться не к чему, и хватила уже далеко, упомянув про четверостишье о плачущем пророке. И мне было особенно стыдно прочесть конец этого (длинного) ко мне письма от 7 октября: „Что можно вам (!?) сказать о себе—грустная действительность не позволяет мне говорить тебе о моих чувствах, так как сравнение с писателем конца XVIII в. не всякому приятно". Все эти последние слова были подчеркнуты в его письме. Я тихонько всплакнула про себя из-за этого письма. Ведь то же чувство побуждало меня и в детстве его уговаривать быть „garçon", т.-е. мужественным, а не огорчать я его хотела.

К счастью, Леля скоро отвлекся от „грустной действительности". Миллер принял его очень любезно, между прочим сказал, что следовало бы ему, как можно более наглядно обучаться из разговоров с профессорами, и сам предложил ему написать рекомендательное письмо, к Филиппу Федоровичу Фортунатову, все, конечно, в очень любезной форме. И через неделю (30 сентября) Леля отправился с этим письмом к Фортунатову.

„Я забыл сказать в прошлом письме,—писал он,—что Миллер, а это очень важно—сказал: „Ах, если бы теперь можно было определить вас вольнослушающим в Университет на лекциях по субботам и воскресеньям вечером! Но, впрочем, этого нельзя при теперешних порядках и при таком способе воспитания, как теперь". Фортунатов сказал то же, но еще с большим ударением и сожалением. Какие это все хорошие люди, и, главное, говорил мне сегодня Стороженко, как меня хранит и как руководит господь".

Смутное начиналось время, и в учебных заведениях отражалась эта смута. Всем ученикам, пансионерам и приходящим были выданы билеты, которые следовало преъдявлять чинам полиции и членам Педагогического совета; они должны были следить за учащейся молодежью на улицах. „Неужели мы, ученики гимназии, будущие благородные деятели в государстве,—возмущался Леля, [1]—стоим на таком низком счету в глазах общества, что должны отдавать отчет в нашем пове-

[1] Письмо от 23 сентября 1879 г.

дении полиции? Замечательно! Объявляя это постановление Гебель сказал странную речь: „Господа-тос гимназис-тос, вы не должны-тос зевать на улицах-тос, смотритесь по обе стороны, не встретится ли вам какой нибудь учитель“... В самой гимназии тоже были перемены. По случаю свадьбы Гебеля и двухнедельного отпуска его, Гринчак, энергично принявшийся наводить порядок, прогнал всех дядек, гардеробщиков, поваров, экономов, все они с криком и гвалтом были изгнаны, пища пансионеров была улучшена и белье, в последнее время рваное, было заменено новым. Много внимания, конечно, было уделено и гимназической дисциплине. Всем ученикам было выдано по три пары сапог, так что Леля счел возможным продать татарину свои сапоги и ботинки. Выручив за них 1 рубль 35 копеек, Леля решил итти с ними на толкучку или к Сухаревой приискать там „Историческую грамматику Буслаева“ и „Житие Феодосия“.

Следуя совету Фортунатова, Леля принялся заниматься по его програме, т.-е. сравнивая греческую фонетику с славянским, санскритским, латинским языками. Дело подвигалось у него быстро. „А еще бы не идти скоро, когда всю неделю я дышу и думаю только о том, как бы дождаться скорее субботы и своих книжек“, — писал он, и очень волновался, что месяца через полтора он будет уже готов приступить к Феодосию, а достать экземпляр этого сочинения было негде. В Москве не было ни одной городской библиотеки, частные же были наполнены исключительно беллетристическими сочинениями. „То ли дело, дядя, наш родной Лейпциг,—восклицал он даже,—его всем доступная, богатая Университетская библиотека или Мюнхенская, с величественной лестницей!“

В конце октября сочинение по греческой фонетике было закончено. Он хорошо ее усвоил, так что мог бы совершенно свободно уже начать Феодосия, но все старания розыскать Феодосия были тщетны. Не нашлось его ни на толкучке, ни на Сухаревке. Не нашлось в Учительской библиотеке и „Чтений общества любителей древности“, где эта статья была помещена в 1858 г. Не нашел ее в своей обширной библиотеке Михайловский, учитель истории, и обещал спросить о ней иеромонаха Пантелеймона. Миллер, несмотря на все свои ста-

рания, также не мог достать этой статьи в университете, потому что весь год журнала „Чтения“ был взят кем-то на долгое время; в утешение он подарил Леле сочинения Франца Миклошича (славянскую грамматику), необходимую при разборе Феодосия и посоветывал еще попытаться сходить в Румянцевский музей.

Товарищи, друзья Лели, „даже химики и физики“, принимали также большое участие в этих розысках и вызывались ему помочь в скучном переписывании этой статьи. Особенно трогателен был один из этих физиков-химиков—Филитис. Это был очень умный, развитой и добрый юноша, лет 18-ти. Нередко разговаривая о печальном нравственном состоянии многих из товарищей, Леля и его друг давно уже решили заключить союз для оказания нравственной помощи тем мальчикам, которые „только что испортились или уже испорчены“.

Теперь он предложил Леле сходить с ним в Голицынский музей, и Леля в письме от 28 октября подробно описывал свой неудачный поход с Филитисом. Библиотека Голицынского музея оказалась немного более дядиной в Губаревке: те же французские и латинские классики и чуть ли не в таких же переплетах. Русская литература совершенно отсутствовала. Не говоря о Несторе, Остромировом евангелии и т. п., даже Пушкин и Карамзин отсутствовали. Леля был возмущен. Филитис также первый отправился с Лелей в Румянцевский музей, хотя в этот день чувствовал себя нездоровым, и на глазу был ячмень, так что он натыкался на прохожих.

В письме от 14 ноября Леля подробно описывал свой поход с Филитисом в Румянцевский музей и разочарование, которое постигло их и там, когда после целого часа ожидания им объявили, что „Чтения общества любителей древности“ имеются только с 1860 г. (!) „Вот бедный я мальчик!“—восклицал он с отчаянием. Все же им удалось разыскать в Румянцевском музее, так называемый Киевский Патерик, где между прочим, помещено житие Феодосия, составленное Нестором. Леля с Филитисом тотчас же стали его списывать, но в продолжение трех часов успели переписать только $4^1/_2$ страницы (большого формата), а их всего 50. И это бы не смутило их, но вдруг они узнали, что читальня открыта только по будням

а в воскресенье заперта. „Как же мне быть? Бедный я мальчик!“—опять восклицает Леля. Филитис обещал достать Патерик у инока Пантелеймона. Но с музеем дело удалось: они получили разрешение работать в музее по вторникам и средам, после уроков. Переписка Патерика продолжалась.

Сверив его с двумя подлинными отрывками, которые удалось достать, Леля пришел к убеждению, что в Патерике многое изменено, переделано и даже пропущено, так что раздобыть „Чтение общества любителей древности“ являлось непременным условием успешности работы.

В начале декабря Леля обратился к Стороженко с просьбой помочь ему в этих поисках. Стороженко, как всегда любезный, обещал достать этот 1858 год, где была и его кандидатская статья об английских писателях, но и он, отвлеченный своим переездом на другую квартиру [1], не смог достать этой статьи. Зато, он дал Леле много ценных советов, рассказал историю самой рукописи, перечислил все сочинения насчет нее. Самого же Феодосия достать так и не удалось, пока не выручил Миллер. Он достал, наконец, Леле „Чтения общества любителей древности“, но и то, только после рождественских каникул. А пока Леля утешал себя, читая хорошие и серьезные книги.

Он перечислял в своих декабрьских письмах—и филологические книги об осетинском языке, которым заинтересовался тогда весь филологический мир, доказавший его индо-европейское происхождение; и английские книги о Гомере и „Илиаде“ такие интересные, что удалось их по смыслу понять от доски до доски“ (по английски). Затем увлекали его сочинения Смайльса „Характер“, „Бережливость“.

Заинтересовали его религиозно-нравственные книги: „Поучения Тихона Задонского“, „книга поучительная и побуждающая рассуждать душевно об религии... Читаю я теперь „Поучения архиепископа Тихона Ростовского“, очень поучительная книга насчет природы, бога, христианства и т. д. Кроме того, я еще раз прочел „Введение в богословие“ митрополита Макария, так что я образовываю себя духовно и много, много прибавил хорошего к тому, что высказывал тебе летом“.

[1] Садовая, д. Кобылинской, против Вдовьего Дома.

„Среди недели я читал сочинения Григория Богослова, где он, между прочим, говорит, что он надеется, что бог не поставит ему в упрек то, что он так ревностно изучает языки, так предался филологическим занятиям, почитая науку на втором месте после бога“.

Но появление новых книг филологических не радовало его: сообщая о негодовании (подобном негодованию Александра Македонского) его физика, ужасно рассерженного открытием 4-й материи (лучевой), профессором Кругсом в Париже, он добавлял: „И я тоже не радуюсь новым книгам филологическим! Мне тоже ничего не останется!...“

XL

В 5-м классе

Учебные занятия шли своим чередом. Задавались сочинения на темы: „Характеристика Коробочки“, „Характеристика Митрофанушки“. О первом он писал: „вышло, если не ошибаюсь, довольно хорошо“... О втором:—„ужасная скука“.

„Уроки идут хорошо, в особенности, математика. Вот странно... Этот предмет, который так хромал у Креймана, теперь поправился“. Вероятно, сам-то учитель математики (?), „с которым я стал жить очень дружно“, хорошо относился к нему и сочувствовал его занятиям, потому что предложил ему взять для пособия при составлении сочинения о Феодосии—„Краткий словарь“ Востокова и „Историческую грамматику“ Буслаева. Но „свирепый“ Кордасевич и „сердитый“ батюшка сильно огорчили его, когда он однажды, чувствуя себя нездоровым, с головной болью, продолжавшейся 3 дня, отказался отвечать за их уроком. Они поставили ему по 2, что сразу изменило вывод четверки на тройку, и при пересадке из 3-го ученика он стал 9-м. Такая несправедливость, совершенно незаслуженная, долго не давала ему покоя. Неудивительно, что следующие за сим письма [1] вновь были невеселые. К тому же в гимназии произошел инцидент, сильно

[1] Ноябрьские.

возмутивший всех: мальчик 2-го класса бросил во время гулянья горсть снегу в фонарь, и, хотя фонарь не разбился, мальчик был изгнан из гимназии директором: „Но заметь, Жени, что в другую гимназию вследствие этого ему поступить нельзя и он лишен образования вследствие детской шалости... Этакая глупость!..“

„Осталось немного — около 7 недель... Я стараюсь, как можно реже думать о близком с вами свидании, чтобы избежать скуку, тоску и безъинтересное считание дней, как то было в прошлом году“, — писал Леля, и почему-то ему в это время особенно нравились слова Полежаева: „Не кропите меня, вы росинки дождя... я увял, я увял“, и проч. Он сочинил на эти печальные слова („Я блаженства не знал... никогда, никогда!“) довольно завывательную музыку, которую позже я подобрала на фортепиано, но тогда он писал, что „ноты на это прислать не могу, так как Адель никак не удается наиграть за мной. Она уверяет, что музыка очень нехороша, но она только немного грустная“ [1].

Отношения с Михалевскими, после бывшего в октябре недоразумения, опять вполне наладились. Но у них, у дамского персонала, конечно, была страсть разбирать чужие поступки и характеры. Разбирали и судили и присутствующих, то-есть Лелю. „Всегда меня обвиняют в педантизме, даже сегодня, когда я торопился к Страстному монастырю для свидания [2]; но, мне кажется, что так следует поступать, — нужно всегда взнуздывать себя, сидеть в известной рамке, а то, что это за человек — подует ветер сюда — сюда наклоняется, туда — наклонишься туда; этак скоро можно сломаться. Неправда ли, красавица, тетюшенька. Ты тоже думаешь так, Женя?“

Постоянно тревожил его вопрос о товарищах. Попытка его с Филитисом спасать „гибнущих“ редко достигала цели.

Так, на свидание, назначенное ими одному из гибнущих мальчиков — Салтыкову, в квартире Филитиса у Красных Ворот, в одно воскресное утро, — Салтыков вовсе и не пришел, хотя у него „и доброе сердце и некоторый ум, и мы с Фили-

---

1 Письмо от 28 октября 1879.

2 С Филитисом 4 ноября.

тисом собирались того, знаешь, красавица, наставить (громкое слово, конечно)", — конфузливо поясняет Леля.

„Мой Хин совершенно пропал, вот 2 недели, как он не ходит в гимназию и совершенно, так сказать, запился; удивительно — ему всего 16 лет. И Попов тоже... Я делаю все, что могу, для него и добился того, что он стал готовить уроки и сел около меня, так что баллы его из латыни и греческого экстемпорале улучшились. Я делаю это потому, что мне его жалко и мне тяжело видеть его ужасное положение. Заметь при этом, что он очень начитанный мальчик, и что он получил довольно разнообразное умственное воспитание, зато нравственности в нем совсем нет: в нем нет силы воли, экзактности, прилежания — как же он жалок!"

Любимый Лелей Еселев так и не поправился и скончался; „Салтыков совсем испортился; теперь я с ним даже не говорю — он не терпит более ничего, всякое слово о нравственности для него противно"...

„Ах... теперь я понимаю, — заканчивал Леля это печальное письмо,[1] — что значит семейное начало — это благотворное добро. Ужасно слышать еще, когда говорят мальчики против своих родителей, бранят их и т. д."

Вопрос о влиянии семьи на подрастающее поколение все более и более его занимал, и в одной из его длинных бесед с Стороженко он возвращается к этому вопросу. Стороженко удивлялся, откуда 16-летним мальчикам могли взбрести на ум нигилистические мысли? И они оба решили, что это от того, что „семья расшатана, от недостатка семейной влаги,—как он говорит, — семейно-нравственного полива, без которого мальчик высыхает". Незадолго перед тем, поступив в Общество распространения полезных книг, Стороженко особенно интересовался вопросами влияния семьи и поддерживания нравственности в детях и, встретив в Леле отклик на этот вопрос, читал ему отрывки из французских книг о семье, а также нравственные сказки для детей, которые он собирался издать летом, сказки преимущественно древние, из итальянских житий святых, сказки очень трогательные, дышавшие большой нравственностью.

[1] От 13 декабря.

К счастью, в этом самом же письме Леля сообщает о возникновении у него дружбы с Кузнецовым, мальчиком 16½ лет, классом старше его.

„Я раньше писал, что он занимается химией, а теперь прибавлю, что математику, естественные науки, физику и, в особенности, астрономию редко кто знает так хорошо, как он. Он прочел все, что ты читала насчет этого у дяди, и нарочно занимался самостоятельно французским языком, чтобы понять французских естествоиспытателей. А, главное, что́ очень странно поставить наряду с естественной историей, он настоящий христианин, во всем решительно“...

Николай Дмитриевич Кузнецов, впоследствии очень известный юрист и богослов, популярный в Москве присяжный поверенный, подружившись с Лелей в ноябре того года, остался его другом на всю жизнь, и судьба впоследствии сталкивала их вместе не раз.

Мы ценили и любили его, единственного товарища и друга Лели по 4-ой гимназии, не раз приезжавшего к нам в Губаревку.

Декабрьские письма Лели уже были полны нетерпения и ожидания радостного свидания на Рождество: „Осталось очень, очень немного, одна неделя, — 8 дней. Ах, как приятно будет вас увидеть“ — писал он мне 13 декабря. Впрочем, еще и в ноябрьских письмах он писал: „Жду не дождусь Рождества“, и постоянно мысленно переносился к нам: „Как я думаю — уютно у вас, мои красавчики. Когда я возвращался сегодня из бани, я все время думал, как вы теперь собираетесь к обеду, зажигают лампы... Теперь же вы все уютно сидите в дядином кабинете. Как это привлекательно... Я избегаю прошлогодних жалобных писем, а все же грустно на сердце... А у вас - то, у вас как хорошо, просто вспомнить сладко. Один дядин уголок чего стоит“, — вспоминал он, зная из подробных писем наших все мельчайшие подробности нашей жизни, действительно уютной и прекрасной, если бы не была испорчена опасениями за здоровье дяди. Последнее обстоятельство постоянно тревожило Лелю. „Что дядя?“ — спрашивал он в каждом письме.

„Что дядя? Я думал, что это такая легкая болезнь, а она все длится, — писал он 17 ноября. — Ах, как бы я обнял его и

вас всех, как бы расцеловал и полечил немного. Все так и думаешь про вас, все ежишься, удерживаешься от грустной думы; и утешаешь себя тем, что думаешь, сам с собой, конечно: вот и вот меня видит тетя или дядя — вот и вот то хорошо, то дурно. А вспомнишь Женю — и!... Сколько я с ней буду говорить, будем снова знакомиться и знакомить друг с другом наши взгляды, вырабатывающиеся на самых разных почвах.

„А вспомнишь Оленьку и живо представятся наши споры и сцены, доходившие до кулачков, и жалко станет, что я иногда удостаиваюсь быть названным гадким братом, и раскаиваешься, и собираешься на будущее время вести себя получше. Ведь я уже 4-мя месяцами буду старше, когда приеду в Саратов. И так до будущего воскресения, милые родители, а то еще совсем раскиснешь, когда вспомнишь дядин диванчик и семью, расположившуюся около больного".